

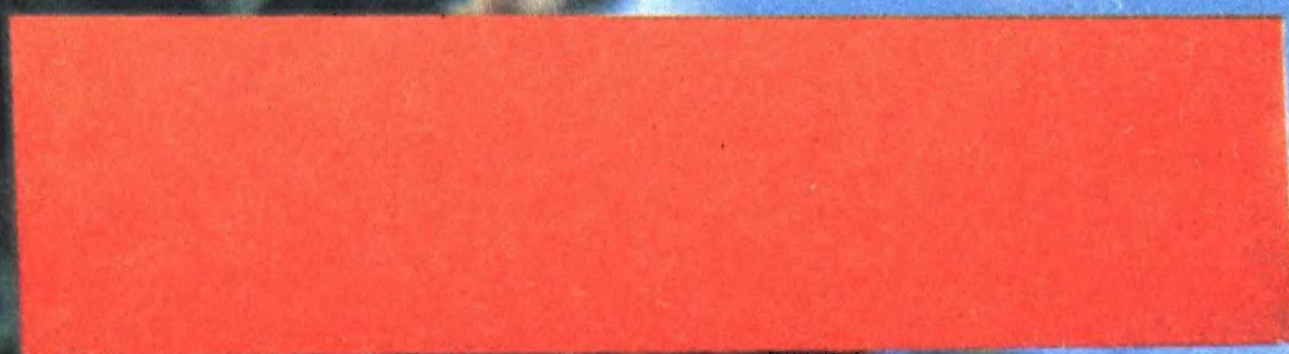
ISSN 0132-2036

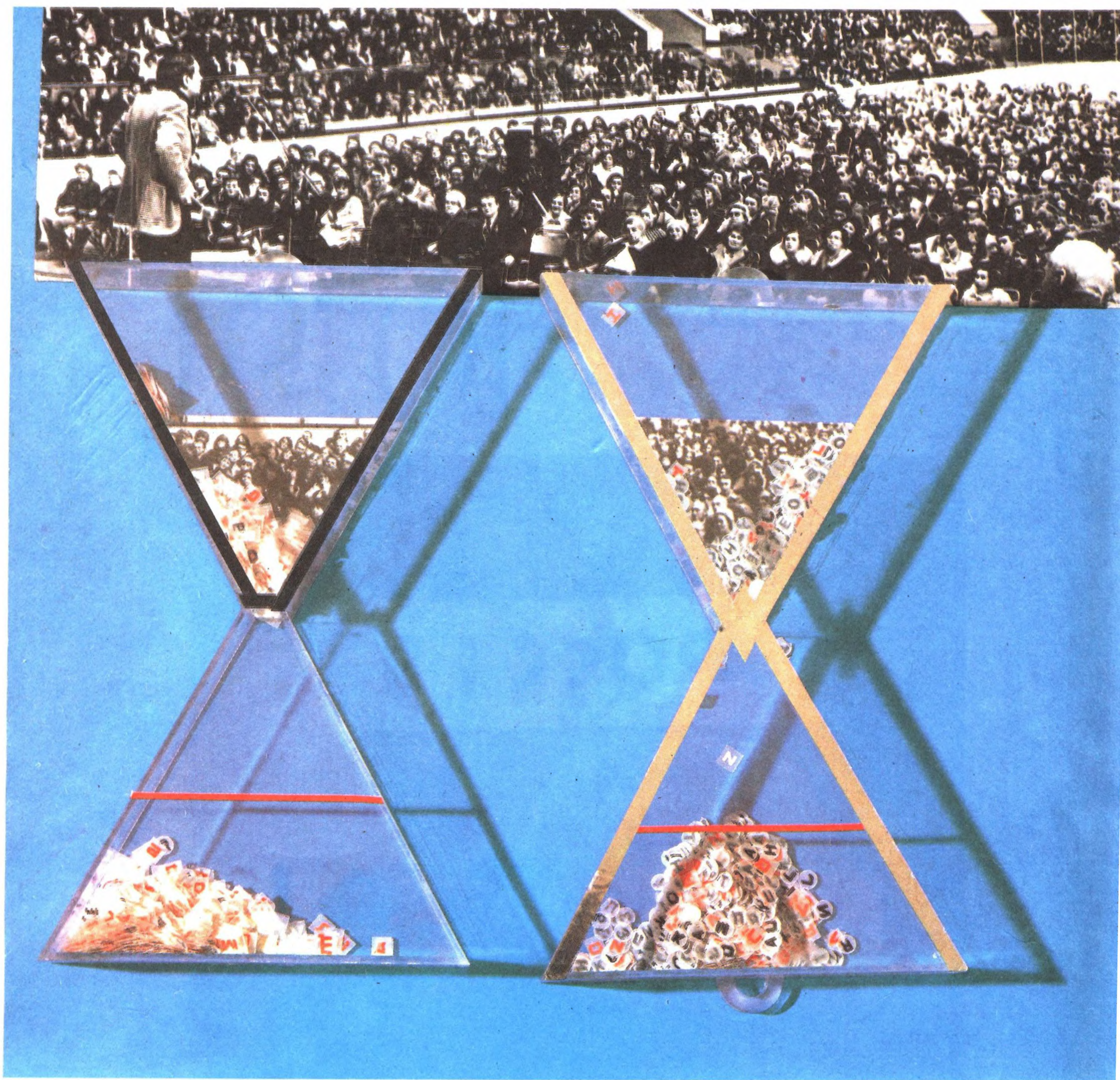
ЮНОСТЬ

10 '91

РОССИЯ

РОССИЯ





*«Лужники. Воспоминания о XX веке». Видеом. 1991 г.
На первой странице обложки — «Поэзия — Россия». Видеом. 1991 г.*

ВИДЕОМЫ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ



(437) 10'91

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ**

**ВЫХОДИТ
С ИЮНЯ
1955 ГОДА**

Редакционный совет:

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ

Анатолий АЛЕКСИН

Аркадий АРКАНОВ

Юрий БОЛДЫРЕВ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Георгий ИГИТЯН

Игорь ИРТЕНЬЕВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Алексей КОВЫЛОВ

Александр ЛАВРИН

Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ

Игорь ОБРОСОВ

Мария ОЗЕРОВА

Юрис ПОДНИЕКС

Юрий ПОЛЯКОВ

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Виктор РОЗОВ

Александр СЕРЕБРОВ

Евгений СИДОРОВ

Виктор СЛАВКИН

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

Лев ТИМОФЕЕВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Юрий ЩЕРБАК

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

Глеб ЯКУНИН

Главный редактор

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Татьяна БОБРЫНИНА —

редактор отдела прозы

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —

редактор отдела культуры

Натан ЗЛОТНИКОВ —

консультант главного редактора

Олег КОКИН — главный художник

Михаил КУРКОВ —

коммерческий директор

Виктор ЛИПАТОВ —

заместитель главного редактора

Константин МИХАЙЛОВ —

редактор отдела публицистики

Эмилия ПРОСКУРНИНА —

редактор отдела рукописей

Анна ПУГАЧ — редактор

отдела международной жизни

Юрий САДОВНИКОВ —

ответственный секретарь

Александр ТКАЧЕНКО —

редактор отдела поэзии

Александр ХОРТ —

редактор отдела сатиры и юмора

Ирина ХУРГИНА —

редактор отдела писем

Издательство «Правда»
Москва

Я знаю трех москвичей, которые 19 августа сдали авиабилеты в Нью-Йорк. И кто не знает, что на следующий день из Парижа к нам прилетел потомственный москвич Мстислав Ростропович. В тот же день, выступая на митинге у забаррикадированного «Белого дома», Елена Боннэр говорила, что могла бы жить в Вашингтоне и Бостоне и у черта на куличках, но хочет жить в Москве.

Как прекрасен был в эти три дня мой город! Посочувствуем тем, кто в своем углу испуганно затаился, выжидая, чем все это кончится, — долгие десятилетия нас стращали, унижали, растлевали. И будем надеяться, что понятия чести и совести, залапанные партийными демагогами, обретут в свободной России былую первозданность. 19 августа каждому москвичу был указан — порывом души, друзьями, парнем с мегафоном, наконец, на Манежной площади — спасительный путь — путь к «Белому дому». И с Сашей Ткаченко мы пошли по улице Герцена, где со стен домов уже взывали к москвичам ельцинские листовки. И милиция — о чудо! — оберегала их. Баррикады в тот день еще только строились.

Тащили на площадь все, что плохо лежало окрест, — так что было чем заняться.

Быть может, труд действительно поспособствовал обезьяне сделаться человеком. Ибо свидетельствую, что в тот день, на строительстве баррикад у «Белого дома», злополучный «гомо советикус» осознавал себя сыном России. Но было очень много совсем молодых парней, которые, уже глотнув было свободы, но ощутив подозрительный привкус этого дозированного, выданного властью имущими целебного зелья, разуверились настолько в любой политике, что вчера еще даже Ельцина знать не хотели. Эти парни все подходили и подходили к «Белому дому», и рядом с ними было легко и спокойно.

А поздно вечером, уже после раболепствующего «Времени», я увидел пресс-конференцию, которую давал, безостановочно шмыгая носом, новоявленный и. о. Президента СССР со своими сумеречными соучастниками, но поднялась в зале совсем почти девочка и, не скрывая презрения, спросила Янаева: неужели не понимают они, что совершили государственный переворот, который порождает сравнение то ли с годом 17-м, то ли с 64-м? И поинтересовалась мотивами запрещения своей «Независимой газеты» и остальной порядочной прессы. Янаев дергался, пытался что-то сказать, но это был уже — на глазах всей страны и мира — тяжелейший нокаут.

В предыдущий день Тане Малкиной, вставшей со своими сверстниками на защиту Москвы, своего «Белого дома», исполнилось 24 года.

О том, как она отмечала свой день рождения, читайте на следующей странице.

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ



ТАТЬЯНА МАЛКИНА: «У МЕНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЛУЧИЛСЯ»

Я работаю в отделе политики. Мы мним себя, естественно, искусственными политиками и этим летом разрабатывали различные версии дальнейшего развития страны. В одной из версий фигурировал вице-президент страны Геннадий Янаев. А так как он больше смахивает на бармена, то я, как любитель экзотики, сказала: давайте Янаевым я займусь. И в течение двух месяцев с удивительным упорством разговаривала с его секретарем Владимиром Николаевичем Орловым. Я требовала интервью. Орлов уже узнавал мой голос. «Да, да, — говорил, — обязательно, как только окошечко появится, я сам вам сразу же позвоню». Я разговаривала с ним то льстиво, то требовательно, спрашивала: разве Геннадий Иванович избалован вниманием порядочной прессы? Уже в августе позвонила ему: «Сколько можно, в конце концов? Неужели у Геннадия Ивановича не найдется полчасика между обедом и завтраком?» А в ответ последовало: «Обижаете, Танечка. Зачем полчасика? Интервью для «Независимой газеты» — это часа полтора, к нему надо готовиться...»

А тут я на неделю уехала отдыхать, полежала на пляжу, оторвалась от всего, возвратилась как раз в пятницу — накануне — и в каком-то паническом состоянии говорю начальнику своему: «Димка, чего работать, не знаю». А он сам, мне кажется, не знал, но не хотел признаваться и решил меня строго спросить: «А Янаеву ты звонила?» Но я только открыла рот, чтобы сказать, что сейчас позвоню, а он: «С другой стороны, кому он теперь нужен. Черт с ним». Могли ли мы предположить...

А восемнадцатого, в воскресенье, у меня день рождения случился, который я всегда праздную два дня, потому что квартира наша малогабаритная. Отпраздновала в воскресенье со всякими мамами, папами, школьными друзьями, но хотелось видеть всех и с работы, а денег на ресторацию не было, да потом это скучно — идти в ресторацию, и мы

наделали с мамой кучу еды, тачку приготовили — огромную матерчатую тележку на колесиках — и я договорилась с Лешей Зуйченко, который живет не так далеко от меня, что он будет транспортировать меня в редакцию с едой и питьем.

Мама, птичка ранняя, тачку нашу упаковывала, когда заговорило радио, и она сразу стала будить меня: «Таня, вставай, там такое случилось, там переворот...» И в десять минут седьмого я уже сама будила весь наш отдел.

Но не отменять же из-за этих мерзавцев день рождения! И вот едем мы со всей этой едой и питьем в метро, а Зуйченко читает «Коммерсант» и хохочет. Это совершенно дивная история — гороскоп «Коммерсанта» гласил: «Если вы решили начать новую жизнь с понедельника, сделайте это 19 августа: лучшего дня для любых новых начинаний не найти...» Гороскоп был явно подогнан под Союзный договор, который должен был подписываться во вторник, и поэтому вторник был назван одним из самых благоприятных дней месяца: «20 августа многие смогут одержать победу над конкурентом, причем фортуна будет наиболее благосклонна к новым политическим лидерам, принадлежащим к оппозиции, а также к предпринимателям, имеющим отношение к военно-промышленному комплексу...» И теперь, при резком повороте событий... А вообще настроение было нормальное. Мы с Зуйченко порешили: ну три дня будет длиться это безобразие — не больше. Потом еще подумали и так решили: или послезавтра все это кончится, или никогда.

Вваливаемся мы с этой тачкой в редакцию, народ кричит «Ура!» и размещает пищу в холодильник. Было девять утра, никто нас еще не запретил, и мы стали делать завтрашний номер. Сдача материалов заканчивается в два часа, но, если оставлена дырка, кое-что можно впихнуть и до семи. Я обзванивала демороссовские телефоны, и в Моссовете мне помог Дима Чегодев — прочитал Ельцина. Мы давали материалы ГКЧП, а Третьяков, редактор наш, написал соответствующий комментарий. И ельцинские указы запихать успели...

И решили, что надо звонить Янаеву.

А почему нет? Владимир Николаевич Орлов — уже мой друг, и я действительно ему позвонила. «Теперь-то вы мой должник, — говорю, — понимаете?» Он согласился — да, да, должник, но Янаев сейчас очень занят. Спрашиваю, когда перезвонить. Через часик. Орлов по-прежнему такой же любезный, такой же противный. Звоню через часик, он мне еще через часик. А еще через часик он сказал, что еще никто не знает, но сегодня будет пресс-конференция. Попросил подождать у телефона и пошел уточнять время. «В пять часов, — сказал. — И вы обязательно приходите».

И я пошла вместе с Карауловым. Взяли с собой только что отксеренную пачку обращения «К гражданам России» и по дороге везде клеили, танкистам раздавали. В пресс-центре МИДа была давка. Бестолковые, но могучие вышибалы специальный пропуск требовали. Меня уже почти задавили, но тут Караулов каким-то образом протолкнул меня внутрь.

Я не знаю человека, который вел эту пресс-конференцию, но он, бедненький, совершенно не представлял, кто сидит в зале! Игнатенко-то, ведя горбачевские пресс-конференции, всех знает в лицо, знает, кому предоставить слово, а этот понятия не имел, кому дает возможность задать вопрос. Передо мной сидела чудесная барышня из «Ньюс уик», и он именно ей сразу дал микрофон. И она спросила: где Горбачев, чем он болен? Ну Янаев начал так размеренно говорить, что Горбачев действительно серьезно болен и находится в Крыму на отдыхе и лечении. Я записывала на диктофон через наушники и слышала, что немецкий — заключительный — перевод идет с небольшим опозданием. Так вот, Янаев сказал «на отдыхе и лечении», по рядам прошел легкий, но ощутимый шелест, и воцарилась тишина в ожидании очередного вопроса, и в этой тишине в наушниках после «на отдыхе и лечении» по-немецки раздался идиотский смех: хо-хо-хо... И мы с Карауловым, конечно, дико заржали. Человек, который так идиотски рассмеялся, сидел где-то сзади, а мы-то в третьем ряду... И эти уроды на сцене стали высматривать, кто тут гогочет. Караулов сказал: «Все, молчи». И этот смех, телезрителями, естественно, не услышанный, как мне кажется, определил настроение всей пресс-конференции.

Да и вообще, если бы не Караулов, меня бы вывели из зала, прежде чем я задала бы свой вопрос. Происходящее казалось мне таким злым бредом, что я постоянно корчила рожи, какие-то реплики подавала, веселя окружающих иностранцев. Караулов кормил меня орехами из своей сумки, но я не успокаивалась, и тогда он внушительно сказал: «Веди

себя, vedi себя». А мной владело бешенство, не ненависть, не злоба, а именно бешенство. Бывают негодяйские негодяи, кондиционные, но их поведение вычислению поддается, анализу, то есть понятно, что они могут сделать. А тут переведешь глаза со Стародубцева на Тизякова — один другого краше. Да и все так нехороши, что хушь плачь, как говорил Зоценко. А наша специфика такова, что чем абсурднее, тем больше шансов на выживание. Так думала я в тот момент, хотя не так давно, побывав у шахтеров, и стала социальной оптимисткой.

Но вняла совету Караулова, кокетливо подмигнула ведущему, изобразила на лице доброжелательность и, получив микрофон, задала Янаеву свой вопрос. Зал оживился. Караулов меня похвалил: «Молоток». А Янаев, как и следовало ожидать, чепуху какую-то понес. Начал с того, что о претензиях к газетам ему не хотелось бы распространяться. А что касается утверждения, что это государственный переворот, то он не может со мной согласиться, потому что все было вполне конституционно. Что же касается аналогий, то любые аналогии здесь опасны. Шелест какой-то прошел по залу. Я ощутила симпатию близидящих журналистов, ужасно смутилась и вцепилась в Караулова. И когда мы возвращались в редакцию, он мне сказал: «Танька, эти козлы, пожалуй, искалечат нашу жизнь».

Приехали, а мне говорят: «Сиди отдыхай». Номер, дескать, не выйдет. Оказывается, в «Известиях» нас уже начали набирать, а потом прекратили. Всего-то я поработала, думаю, в любимой «Независимой газете» полгодика... Была в ужасном горе, но, вспомнив, что у меня есть всякие вкусности, решила, что надо кормить народ. Мы сдвинули столы и как вывалили всю еду — пока я на пресс-конференции пребывала, народ еще кое-что подкупил — и разложили ее красиво, такой кайф. Меня все поздравляли, подарки вручали замечательные и цветы. Мы уже выпили все шампанское за мое здоровье, когда вошел мрачный Третьяков. Мы тут же сунули все в холодильники, бутылки с водкой куда-то упрятали: решили, что теперь у нас сухой закон. Впрочем, в трое последующих суток, которые мы провели в редакции, бутылки две все-таки выпили — холодно было, хотя родители и подвозили теплые вещи, и напряженно.

Мы собирали информацию, делали листовки, «Общую газету» и свою собственную в мини-варианте, которую набирала Библиотека иностранной литературы. Из нашего отдела постоянно находились в редакции лишь трое — кто-то на улицах был, а четверо — в «Белом доме». В ночь, когда ожидался штурм, мы требовали, чтобы они через каждые полчаса звонили и говорили, что происходит. Ведь вместо «Эха Москвы» кто-то вещал в эфир с абсолютной липой, а «Свобода», хотя и давала правдивую информацию, но несколько смещала эмоциональный акцент и, если бы я не знала, что на самом деле происходит, а только «Свободу» слушала, то сошла бы с ума от ужаса за любимых и близких и вообще за судьбы отечества. И как раз в то время, когда началась стрельба и люди погибли, наши из «Белого дома» перестали звонить — два с половиной часа не звонили. И как только Зуйченко позвонил, я обозвала его всеми словами, какие только знала. А он в ответ: «Соображаешь, что говоришь? У нас затемнение было, попробуй в темноте найти телефон...»

В ту ночь, а точнее, в четыре утра, мы звонили Стародубцеву и Тизякову. Они жили в гостинице «Октябрьская», но их телефоны, к несчастью, я записала крест-накрест: напротив стародубцевского — тизяковский, и наоборот. Но прежде чем сообразить это, я по два раза буданула и того, и другого, и каждый из них сказал сдавленным голосом, что я не туда попала. А на третий раз, когда я уже действительно набрала номер Стародубцева, трубку снял, очевидно, его секретарь. Голос у него был молодой и вполне наглый. Он поинтересовался, а кто спрашивает Василия Александровича. «Независимая газета», — сказала. «Не понял», — сказал он. Тогда я по складам произнесла: «Не-за-ви-си-ма-я газета». Он спросил своим наглым голосом: «Девушка, а вы знаете, сколько времени?» — «Конечно. А вы знаете, что происходит на улицах?» — «Нет. А что?» — «Витебская дивизия идет по направлению к российскому парламенту. Мне срочно нужен комментарий члена ГКЧП!» Тут он опешил и наконец сказал, что Василий Александрович сейчас занят. «Когда же он освободится? Когда мне позвонить?» — Я совершенно уже распоясалась, и народ вокруг валялся, и когда мне было сказано, чтобы позвонила в полседьмого, я еще возмущенно воскликнула: «Так долго ждать?» У нас от смеха животы болели.

Представляете? Хунта?! Путчисты! А Янаева мне теперь даже жалко — кэмзошник убогий (он же родом из КМО), поддавалящик. У меня просто руки и ноги отнимаются, когда я думаю, что миллионы обласованных советских людей, вполне возможно, так никогда и не узнают, что же происходило на самом деле в эти три дня там — наверху. Не могу понять, и какого рожна им понадобилось дважды показывать по телевидению эту пресс-конференцию. Ведь ее давали в записи, и даже самый глупый из них мог сообразить — надо взять ножницы и здесь, и здесь чикнуть. Впрочем, в тот вечер на заседании Совмина Тизяков похвалялся, что пресс-конференция прошла нормально — ненужные вопросы удалось погасить!!.

А Тизякову в ту ночь я больше уже не звонила, мы ограничились вендеттой по-корсикански. Позвонили в «Белый дом» и раздали их телефоны всем зарубежным агентствам, в первую очередь японцам. Потому что, если японец звонит, отвязаться от него невозможно. Даже если сказать ему — пошел туда-то, он непременно перезвонит и скажет, что не понял, куда идти, попросит: будьте так любезны, уточните...

Уже под утро, когда я попыталась немного поспать, пристроившись на столе главного редактора, — Третьяков выкладывался больше, чем любой из нас, и к концу вторых суток мы просто отправили его домой, чтобы хоть немного восстановился, — так вот, в половине седьмого меня стали будить, говоря, что ты, дескать, должна звонить Стародубцеву. А я, как потом рассказывали, так и не смогла встать и в полусне отбивалась: «Уйдите, я никому ничего не должна».

А утром двадцатого мы решили позвонить в пресс-центр КГБ. И опять я звонила. Народ наш такого мнения, что голос у меня — по телефону особенно — детский и что таким дурашливым голосом можно все, что угодно, спросить. И вот в то утро, когда кто-то сказал Третьякову, что Крючок подал в отставку, я позвонила в приемную КГБ. Представляюсь. Слышу напряженную тишину. И говорю, что нам поступила такая странная информация, что Крючков вроде как в отставку подал... «Да вы что! — услышала. — С ума сошли. Гнусная дезинформация». А через час прибежал кто-то и сказал, что в КГБ происходит что-то: Крючков вроде бы заблокирован в своем кабинете. И я вновь звоню: «У нас новая информация. Скорее нам поясните — мы в страшной тревоге. Говорят, что Крючков заблокирован в своем кабинете». Снявший трубку возмутился было, а я: «Но понимаете, такая информация. Надо же ее как-то из первых рук...» Он опешил — не ожидал такой наглости и сказал: «Минуточку». То ли удостовериться пошел, то ли консультировался, что отвечать. И наконец я услышала: «Что за идиотские слухи! Он сидит и нормально работает — пьет чай».

Так дивно мы жили.

А двадцать первого — в тот день, когда стало ясно, что уже ничего не ясно, мы заслали номер. Его увезли в типографию «Известий» часов в пять, потом пытались еще что-то дослать. Даже дали такое сообщение, что в 19.19 президентский самолет вылетел вместе с Горбачевым из Крыма. И страшно гордились, что в самый последний момент успели поправку сделать — сообщили, что сегодня утром, то есть двадцать второго — в день выхода номера, ожидается возвращение в Москву Горбачева.

Мы не расхотели — ужасно хотели увидеть газету, поддержать ее в руках. И в три часа ночи привезли!..

Я вышла на улицу Кирова (за эти дни я лишь однажды оставляла редакцию — встречала двадцатого бакинский поезд, с которым бабушка моих друзей возвращалась домой, в Ригу, и она огорчилась, что я не могу взять отгул и помочь ей перебраться кизил, который она купила в Баку и который потек...) и сразу поймала такси, хотя живу черт знает где, куда и в мирное дневное время ни за какие деньги, ни за что угодно никто не повезет. И повалилась спать, прижимая к груди сигнальный номер. Утром мама сказала, что я улыбалась во сне и что такое со мной случилось только в старшей группе детского сада.



ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

Фоторепортаж
Владимира Сварцевича,
Валерия Милосердова,
Дмитрия Хрупова.

САТАНЫ?





ЛИЦА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

Поколения 90-х нет? Мы первыми бросим камень в человека, который скажет так после 19—21 августа 1991 года. По телевизору объявили, что возвращается прежняя жизнь, и поколение мигом сбежалось к Дому Советов РСФСР — защищать жизнь новую. Защитники баррикад у «Белого дома» России отвечают на три вопроса «Юности»:

1. Как ты пришел на баррикады?
2. Что изменили в тебе эти три дня?
3. Как ты собираешься жить завтра?



Андрей СКВОРЦОВ (Чебоксары),
студент психфака МГУ,
23 года:

1. Это был эмоциональный шок, и я понимал только, что нельзя сидеть и крутить молчаливый приемник. У «Белого дома» выступал Ельцин. Интеллигенция должна с настороженностью относиться к массовым действиям, взметнувшимся рукам — это пугает независимого, думающего человека. Но здесь я понял, что, каковы бы ни были наши политики и как бы они ни ошибались, надо взять их сторону. Я защищал не Горбачева, но и не Ельцина. Даже не Россию! «Белый дом» олицетворил вдруг космическую свободу. Наступила поляризация космического добра и такого же зла, и все стало предельно ясно, это придало сил.

Вечером я побегал по общежитию, собрал людей, и мы поехали. В первую ночь людские цепи были еще жиденькие, и хотя лица были полны решимости, дрожавшие руки вцеплялись одна в другую при всякой опасной информации. Ракеты, трассирующие выстрелы, обмакнутые в лужи платочки — иллюзий не оставили...

2—3. Это было катализатором сознания. Прежде многое происходило вне меня, а теперь произошло личностное включение. Мне легче было становиться на позиции других людей, чем крепнуть в собственных взглядах. И вот родилось собственное идейное «Я». Кухонные разговоры на тему «здесь плохо, там хорошо» закончены. Мое место здесь.

После событий я дежурил на подростковом телефоне доверия. И ни одного звонка, касающегося событий! Это был облом. Два года я учился разговаривать с клиентами, а здесь потерялся. Что это?



Марина КОМИССАРОВА, 20 лет,
студентка МГУ, кандидат
в мастера спорта по дзюдо:

1. Ребята сразу поехали к «Белому дому», а мне поначалу казалось, что это очередной политический театр, дешевое представление. Последние полтора года я сторонилась политики и не ходила голосовать, даже когда Ельцина избирали. Но двадцатого чувство опасности уже целиком овладело мною, и вечером я тоже отправилась к «Белому дому». Выходили поодиночке, парами, чтобы не задержали, а когда на площади все встретились и вместе встали в цепь, стало спокойнее. Но это не сразу произошло, сначала по отдельности стояли, и жутковато было. Я спортсменка и балластом в цепи себя не чувствовала, но если бы штурм начался, какая разница: спортсмен не спортсмен, мужчина — женщина...

2. Когда стрельба началась и возник мандраж, женщин начали всячески отгонять от цепей. Я-то осталась — сошла за мальчика. Но те женщины, которых уберечь стремились,

далеко не ушли. Они свою цепь — в три ряда! — между парашетом набережной и лестницей, поперек дороги установили... Позже, когда я своих ребят уже встретила и встала с ними в другую цепь, на площади рядом с нами стояли прибалты, совершенно замечательные ребята — так вот, они говорили, что самое верное средство — не против спецназа, конечно, а против обычных войск — это женский крик, который железно действует на солдат, останавливает их.

3. Рассказывают, что когда-то у нас в общежитии каждую ночь все выползали в коридоры, шли треп, беседы, но при мне уже не было этого. Каждый жил своей жизнью. Теперь же те, которые были вместе в таком настоящем деле, уже не оставят друг друга.



Сергей МЕЛЬНИК, брокер
Российской товарно-сырьевой
биржи, 22 года:

1. Слушал «Эхо...», было ощущение, что депутаты прощались. Слова: если мужчины не придут, то они дерьмо, а не мужчины, — задели. Мне и не нравилась, и не нравится горбачевская политика, но он законно избран, и эту законность я пошел защищать. Горбачев изжил себя, но из двух зол выбирают меньшее.

Громкие слова — честь и совесть — были сейчас особенно громки. Меня никто не отговаривал, а я отговорил сестру и отца, военного, убедил остаться с женщинами, о чем он теперь жалеет. Ушли с товарищем. Мама собрала поесть, приготовила с запасом марлевые повязки; сосед принес 30 пачек сигарет: передавали, что нечего курить. Трогательная эта деталь меня подзадорила.

Я брокер и прежде завершил пару дел: пуля — дура...

2. Я стал считать себя если не чище — что уж, танки, грязь, переворот, политика, — но одухотвореннее, что ли. Я голосовал за Жириновского, симпатизировал Невзорову, опальной «Памяти»: хотелось сильной руки, это кроме шуток. Демократия — хорошо, но в моем кругу говорили, что не в ней путь России, что ее бьющая через край энергия должна сдерживаться, а не снабжаться топором. А тут захотелось свободы. Даже логика моей профессии не подвела меня к ценности свободы. Хотя сейчас я думаю, что в выборе этой профессии подспудно сказалось мое дремавшее стремление к свободе и независимости не по Жириновскому.

3. Главное — правильно понять свободу. Не думаю, что мы поняли ее в эти дни. Нет, мы еще не понимаем, что это. Сейчас меня ничто не радует. Не радует раздача орденов, песни и мифы революции. Пресыщаемся, смакуя тему этих дней. Но посреди омрачающейся более и более жизни останется тот глоток свободы.



Григорий ФОНАРЕВ,
преподаватель пединститута,
28 лет:

1. Я человек импульсивный и прислушиваюсь сперва к ощущениям. Ощущение было: «Грубо!» Почувствовал, как точно сказано: «Свобода — осознанная необходимость». 19-го у Моссовета увидел своих учеников (я прежде работал в школе) и понял — остаюсь. В отряде № 140 я понял и это, тоже заезженное: «все люди — братья».

2. От себя я этого не ожидал. Стоишь в цепи, тебе кричат: если пойдет техника, договаривайся с мотористом. Вот и думай: как это... Не хочу подводить себя под нимб, ничего героического не совершал, при слове «танки» клинически мандражировал. Женщина сунула что-то в свертке мужу, шедшему в колонне, и заплакала, и я с ней. Так все было по-настоящему.

Я был инертный, баранообразный комсомолец, а сейчас во мне произошло необратимое, что я формулирую почему-то так: грубость недопустима. Мне радостно. Я ли стал другим или нашел в себе потерянное, не знаю.

3. Я работал над диссертацией и буду продолжать, а что происходит вокруг — судить не умею. Но у меня теперь точно будет лучше. Друг приехал, сказал: ты теперь дерево посадил.



Юрий ГАВРИЛОВ, 30 лет,
вольный фотохудожник:

1. Первая моя мысль утром 19 августа — «пошли они все», опустить черную штору и заняться своей работой. Подумал, поехал за женой, она работает в Историческом музее. Походили с ней по Манежу, дошли до Красной Пресни — посмотреть. И увидел я вокруг массу симпатичных человеческих лиц. И почувствовал атмосферу общего братства. Обычно на московских улицах, сами понимаете, ощущения противоположные. В общем, понял я, что у «Белого дома» происходит самое интересное в тот момент на всей земле. Чтобы почувствовать себя абсолютно свободным, надо было, чтобы ввели чрезвычайное положение. А у меня камера была с собой — я остался. Много было совершенно неожиданных впечатлений. Ну вот, например, милиционеров же всегда воспринимаешь как потенциальных недругов. А тут идем по Калининскому, стоит милицейская машина, сидят в ней трое. Подходим: «Чьи приказы будете выполнять?» — «Ваши». И смеются. На площади я то и дело встречал людей, которых совсем не ожидал там увидеть. Например, «Юфо», знаменитого некогда псковского хиппи. На площади было, честно говоря, легче дышать, чем в тот день у телевизора.

2—3. После событий я впервые за несколько лет понес свои карточки на фотовыставку. А какие-то глобальные изменения в жизни быстро не приходят.



Михаил НОВОСЕЛОВ, 30 лет,
инженер, Москва:

1. На баррикады я попал по блату. Несмотря на военный переворот, люди продолжали жениться, и на одной из таких свадеб я в качестве свидетеля провел почти все 19 августа. А после митинга 20-го, на котором я был, ко мне подошел друг, случившийся там же, и произнес загадочную фразу: «Я в седьмой сотне. Ко мне пойдешь?» Разузнав, о какой сотне речь, я к вечеру пришел под условленный подъезд «Белого дома» и был туда пропущен по рекомендации того же друга, уже командовавшего «пятеркой». Мы охраняли непосредственно подступы к парламенту, непрерывно каламбуя на тему «полк дозорный» и «волк позорный».

2. Я стал ЕЩЕ лучше думать о людях. Я всю жизнь испытывал некую неловкость, оказываясь в возбужденной толпе, и мне претила митинговая истерия. Вообще, я был убежден, что народ поднимется не сразу и не весь. Такого столпотворения у парламента в первые же дни ожидать было нельзя, по-моему. Как выяснилось, Россия действительно непредсказуема, «русские медленно запрягают, но быстро ездят», сказал Бисмарк. Сам я, веселясь вместе с друзьями по случаю победы, сформулировал главное впечатление не вполне цензурно, но искренне: «Чуть звезды не получили, зато уж как повыеживались!»...

3. Мы все увидели не только «наших душ золотые россыпи», но и те завалы дерьма, которые предстоит разгребать. На что я и настроен. Впрочем, мои планы и прежде были таковы — иное дело, что теперь мне яснее, куда именно целиться лопатой.



Павел ЭЛЬБУРИХ, заместитель
директора многоотраслевого малого
предприятия «Асцендент», 29 лет:

1. Ясно было, что с коммерсантами покончат в первую очередь. Пытаясь бороться, мы все же имели шансы. Девятнадцатого вечером мы вместе с моим генеральным директором отправились к «Белому дому». А на следующий день мы собрали друзей, и уже три малых предприятия: наше «Асцендент», «Альба» и акционерное общество «Мартек» — занялись тем, что объезжали торговые точки и пытались, насколько было возможно, закупить побольше еды — накормить защитников «Белого дома». Привезли туда провизию, сдали и остались там до конца.

2. Лично для меня самым главным было — выбор: твердый и окончательный. Конечно, не хочется умирать, страшно. Но метаться еще страшнее. Там я понял, что если выбрать свою позицию и твердо стоять до конца, то чувствуешь себя спокойно.

3. Завтра? Приватизация предприятий, крупные западные капиталовложения, нормальная страна с нормальными экономическими отношениями. И все это без бесконечных уговоров Горбачева сделать еще то-то и то-то. Конечно, будет трудно, голодно. Но появился свет в конце тоннеля.



Ирина ВЕСЕЛОВА, выпускница
московской английской спецшколы
№ 60, 15 лет:

1. Услышала о какой-то заварушке, поняла только, что кто-то что-то имеет против Ельцина. А я его всегда уважала больше всех. Спросила у людей, куда идти. Я сама с Арбата, пять с половиной лет там тусуюсь уже, потому и здесь я сразу попала на баррикаду к анархистам, панкам, музыкантам. У нас тут даже Кинчев был. Кстати, даже там сначала нашлись люди, которым не нравилось, как мы выглядим. Подходили, ругали нас. За что? Ведь мы же сюда пришли, работали — какая разница, какие мы? Но в основном здесь все стали своими, даже милиционер. Кстати, этот милиционер сам по себе пришел, послал своего начальника, который его не отпускал, и был здесь с нами. Когда я все это увидела, осталась. Трое суток вообще жила здесь (днем отсыпалась под полиэтиленом), потом до конца дежурила, работала регулировщицей движения. Маме я просто позвонила и сказала, что я не приду, потому что мне так надо. Она не знала, где я. А когда узнала, не стала кричать, сказала только, чтоб я зашла домой помыться.

Тут была та же тусовка, но уже не тусовка, а люди, готовые ко всему. Появилось настоящее дело. Все время к нам бегали провокаторы, паникеры: то кричат «танки», то «спецназ». Мы делали, как нам приказали, отводили их в штаб. Ходили люди с полными сумками водки, раздавали бесплатно. Этих тоже ловили, и никто, разумеется, не брал эту водку. Много было хороших ребят, с которыми мы стояли плечом к плечу, и они не смотрели, маленькая ты или большая.

2—3. Теперь я знаю, что народ может сделать очень многое. Раньше я над этим не задумывалась. Нет, жизнь дальше не пойдет, как шла. Не буду теперь молчать, как раньше молчала: мол, мое мнение маленькое. Ведь мы и сейчас еще живем во время застоя — даже сейчас. Но мы сделаем для себя нормальную жизнь.



Надежда ГУРСКАЯ, студентка
биофака МГУ, 22 года:

1. На баррикады я пришла с мужем — журналистом «Собеседника», почетно закрытого в первый же день. Раздавая листовки и ощущая себя без малого Ниловной («Душу воскресную — не убьют!»), я затесалась в одну из цепей, напротив двадцатого подъезда. Ночь прошла во взаимных уговорах уйти, не трепать нервы, не подвергаться газовой атаке и прочая. Муж искренне пытался оборонить меня от газов марлей.

2. Во-первых, мы с мужем подали заявление именно на следующий день после исторической победы антисоветского народа. Возможно, это было одним из следствий эйфории, не думаю, впрочем. Как бы то ни было, мы оба убедились, что после боевых сложностей бытовые мы как-нибудь выдержим. Во-вторых, я еще раз поняла, как хрупка и почти условна грань между народом-победителем и взрывоопасной толпой. В-третьих, отсеялись мои главные опасения: отчего-то я полагала — или это мое биологическое образование во мне пищало? — что в экстремальных условиях вместо братания начнется драка за кусок, за нишу, за индульгенцию перед новыми властями или за благодарность законных... Вышло наоборот.

3. Я собираюсь жить, как жила. Я и до переворота хорошо относилась к мужу, неплохо — к Горбачеву и плохо — к коммунизму. У меня подспудное ощущение, что, если мне сейчас удастся выстроить нормальный дом и нормальную жизнь на перечисленных основаниях, это и будет мой, так сказать, вклад в борьбу против всякого рода ублюдков.

НИКОГДА Я НЕ ВИДЕЛА ТАНКИ ТАК БЛИЗКО

Нила БАНЭРДЖИ,
корреспондент московского бюро
газеты «Уолл-стрит джорнэл» (США)

19 августа в полдевятого утра мне позвонил мой шеф: «Нила, произошел военный переворот, они сняли Горбачева». «Питер, это несмешная шутка», — ответила я...

У меня была аккредитация на Конгресс соотечественников, по ней впустили в Кремль. Тихо, почти пустынно, динамики разносят из собора православную службу. Потом я вышла из Кремля и увидела военную технику и солдат с автоматами. На Театральной площади я разговаривала с людьми, наблюдавшими, как мимо Большого театра идет бесконечная колонна техники. Один пожилой мужчина горячо поддерживал ГКЧП, говорил, что в стране установится порядок и улучшится экономическое положение. Все люди вокруг резко реагировали на его слова, и тогда он стал говорить что-то о евреях и т. п. Это был единственный сторонник Комитета, которого мне удалось встретить в Москве в те три дня. Наверное, потому, что, посмотрев митинг на Манежной, я ушла за толпой москвичей к «Белому дому». И пробыла там три дня, отлучаясь только в редакцию, чтобы передать коллегам последние новости.

Когда это все только началось, я знаю, многие мои коллеги-иностранцы думали: какая жутко интересная история, какие хорошие статьи получатся... Я думала о своих московских друзьях, у меня-то есть выход, я могу отсюда уехать, а что с ними будет?

Страшно становилось потихоньку, постепенно. Мне 26 лет, я выросла в Луизиане, жила в Нью-Йорке и, конечно, никогда в жизни не видела ничего подобного, не стояла так близко к танку. Пик страшного был у меня в ночь с 20 на 21 августа, когда я видела, как погибали люди на Садовом кольце, — это было рядом со мной, в нескольких метрах, я сидела на корточках и говорила в свой диктофон, чтобы не упустить ничего. Нет, я не хочу больше становиться свидетелем подобных событий, одного раза хватит.

В те дни я много разговаривала с солдатами. Они относились ко мне без всякого предубеждения или опаски. У них было много вопросов об Америке, у меня — об их службе. Но, как все помнят, самый острый вопрос путча был: станут ли солдаты стрелять в народ? Я много раз задавала этот вопрос тем военным, кто подчинился ГКЧП, и они отвечали: конечно, не хотим, надеемся, что до этого не дойдет. Мне это было чисто психологически интересно — они не хотели верить, что такой приказ могут им отдать; но все-таки они говорили, что приказы нужно выполнять. И самое интересное, что примерно то же говорили мне те, кто перешел на сторону Ельцина. Младшие офицеры, мои ровесники, стоявшие у «Белого дома», сказали мне так: народ нас считает героями, но мы не герои, мы здесь тоже по приказу, наши генералы так решили. А если бы генералы решили по-другому, мне кажется, те офицеры и солдаты, с кем я говорила, действовали бы иначе. Все это понятно на интеллектуальном уровне, но в душе непонятно вообще. Кстати, такая психология и у американских военных — понятно, что без подчинения не было бы армии.

Надо признаться, что здешнюю психологию я пока не постигла, — впрочем, я и в своей-то стране далеко не все понимаю до конца. Но за эти три дня я поняла, как сильно изменились советские — русские люди. Моя первая мысль при известии о перевороте была: как будет реагировать народ? Я же знала из недалекой советской истории, — в Сопротивлении здесь всегда участвовал небольшой процент населения, и государство легко побеждало. Но сегодня... Ведь народ, я думаю, понимал, что происходит. Он защищал не Горбачева, но Закон, Конституцию, Свободу. Я помню, в один из этих трех дней мне позвонила из Америки подруга. Она подданная США, но русская дворянка по происхождению, и я сказала ей: ты должна сейчас гордиться тем, что ты русская. Будь я русской — я так же гордилась бы.

...За четыре дня до переворота я вернулась из командировки в Ярославль, где готовила статью о фермерских хозяйствах и фермерских проблемах. После переворота, после всех радикальных указов союзного и российского Президентов я позвонила снова в Ярославль: люди там реагируют на хорошие новости из Москвы очень сдержанно, умеренно. Не слишком надеются на лучшее... Чтобы у них и у всех дело двинулось, мне кажется, надо убрать целую систему, а не поменять в ней что-то или кого-то.



**Глеб
ЯКУНИН**

ГОСПОДЬ

Когда рано утром мне позвонили и сообщили, что произошел переворот, я не сразу поверил. Включил радио, телевизор. Но все, что там говорили и как говорили — у дикторов были опереточные голоса, — носило характер розыгрыша, большого розыгрыша. Но подумал, однако: а вдруг арестуют? А если достанутся им мои записные и телефонные книжки, то начнут раскручивать других людей. Да еще фотографий полно оказалось — килограмма два! И я все это надежно спрятал — тут у меня большой опыт. Но никто за мной не приходил. В девять часов я взял чемоданчик с делами и сумку с рясой и собрался ехать в Верховный Совет.

Я живу на шестом этаже. В нашем холле четыре квартиры, и моя — ближе всего к двери холла. Свет в холле был выключен, когда я открыл было дверь. И мы с женой, которая провожала меня, одновременно увидели, что за стеклянной дверью холла стоит седоватый амбал лет сорока в кожаной курточке. И в руке у него — какая-то бумага. А перед ним — двое: поменьше и пожиже. И мы слышим, как он говорит им: «А вы сюда — сюда уходите, прячьтесь — прячьтесь». Он к ним обращается, они на него смотрят, и моя приоткрытая дверь остается не замеченной ими. Мы тихонько закрыли дверь, и я говорю жене: «Ну все — пришли арестовывать». И сыну тут же: «Никаких звуков. Нас нет». Они, как мне казалось, минут пятнадцать — двадцать — а жена говорит сейчас, что полчаса — в квартиру звонили. Дверь ломать не решились. Может быть, подумали, что никого в самом деле нет. А может быть, предполагал я тогда, за милицией пошли. Ну что ж — жду. А пока телефон трезвонит, но мы не снимаем трубку. Телефон наконец умолк, и, видя, что на Верховный Совет опаздываю, я сам позвонил в милицию, в свое 26-е отделение. Говорю, что я член Верховного Совета России и из КГБ приходили меня арестовывать — известно ли им что-нибудь об этом? Дежурный говорит, что у них нет никаких сигналов. Говорю тогда, что они могут снова прийти и под видом бандитов взломать дверь. Прошу, словом, прислать наряд. Он говорит: «Хорошо, сейчас приедем». И через семь минут действительно приехали. Два офицера с дубинками. Я рассказал им, что произошло. Они согласились со мной, что это явно работа КГБ. Спрашиваю, не стоит ли внизу соответствующая машина. Говорят, что — нет. Говорю тогда: «Подождите, я с вами поеду». Тут уж они отступились: «Нет-нет, мы сами, а вы потом». Но я сразу за ними спустился и, убедившись, что даже наружного наблюдения нет, направился к метро и, слава Богу, добрался до «Белого дома».

На вторую ночь вместе с Валерием Борщевым я обходил



СПОДОБИЛ МЕНЯ

ряды наших защитников. Благословлял их, желал победы — шел в рясе, с крестом. И самое поразительное, что если на наших митингах были в основном тридцати-, сорокалетние люди, то тут были в основном двадцатилетние. И многие, подходя под благословение, так умело складывали руки, что видно было — они верующие. Никогда я еще не видел в нашей стране, чтобы собралось вместе столько верующих!

Пройдя весь полукруг до набережной, около моста повернул налево и пошел к Садовому кольцу. Оттуда уже прибежали люди и сказали, что уже пролилась кровь. Заспешил к американскому посольству, близ которого, мне сказали, лежат двое из трех погибших! И между домиком Шаляпина и посольством увидел машины «Скорой помощи» и людей, которые сгрудились над лежащими прямо на земле телами, укрытыми белой простыней. Простыню откинули, и я увидел молодые красивые лица. Они походили на братьев — так поразительно были похожи. Это были Дмитрий и Илья, у которого были открыты глаза, но тогда их имен еще не знали. Так что, совершая молитву, я не мог назвать их имена. Это была краткая молитва:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, убиенным за правду, за свободу — да, мы так поминали — рабам Божиим. Имена ты, Господи, их веси и сотвори им вечную память.

Трижды мы пропели «Вечную память», и я благословил убиенных и крестом осенил.

Ближе к площади Восстания крутились на месте два танка, а вокруг них — сотни ребят молодых, разъяренных. Ко мне обратились: «Вы священник, постарайтесь их как-то утихомирить». Я подошел к одному танку — у молодых солдат были совершенно обалделые лица. Взял за руку парня с остекленевшими глазами, который сидел в нижнем люке, и он так дернулся, словно ждал, что я его сейчас ударю. Я сказал: «Поймите, здесь люди погибли, поэтому и нападают на вас. Неужели вы будете в свой народ стрелять?» Он ничего не ответил, но листовку взял. И все военные, к которым мы ездили в эти дни, жадно брали наши листовки — они же не знали, что происходит на самом деле и ради чего их пригнали в Москву.

Господь сподобил меня участвовать в этом трехдневном единоборстве с теми, кто хотел попать нашу свободу, и молитву первую совершить над павшими.

Фото Олега Кокина

Ирина КЕМАРСКАЯ

НАМ ОТПУСТИЛИ ГРЕХ

Из хроники трех дней

19 августа. Первое ощущение — тошнота. Глубинный животный ужас. Реальность кошмара. Ждали, предсказывали, и вот — случилось.

Электричка молчит. Никто не читает. Какое-то оцепенение. Две женщины говорят о клубнике. В общей тишине их очень слышно, и все невольно следят за разговором. Они замечают это, понижают голоса, потом тоже замолкают.

На булочной — бумажка: «Хлеба нет». От руки написано, на листочке. Опять засосало где-то внутри. У заднего крыльца булочной сидят продавщица и грузчик, рядом — пустые ящики. Спросить их, когда будет хлеб? Хотя зачем? Ясно, что они не знают. Грузчик что-то говорит, я слышу: «Вот и дождались...» Он рад или не рад? Похоже, что рад.

В очередях то и дело вспыхивают скандалы, все кончается на глазах, и от этого люди стервенеют еще больше. Полезло что-то такое потаенно-кликушеское, как будто раньше так вести себя было нельзя, а сейчас объявили: «Все, ребята, жарьте!»

— Что вы так дышите? — возмутилась около меня крашеная старуха. А мне, видно, воздуха не хватало, все хотелось вдохнуть поглубже.

В метро уже слышно, как обсуждают указы новой власти. Как данность обсуждают. Порядок нужен, это точно. Какая-то часть нутра покорила сразу, причем — у всех. Или мне кажется?..

Сестра вернулась из поликлиники — врачи говорят, что в Боткинской больнице прекращен прием плановых больных, готовят койки.

20 августа. У Никитских ворот, у здания ТАСС, — три бронемашин. Рядом солдаты, лет по девятнадцать. Нормальные лица русские, один, похоже, из Средней Азии. Подхожу к ним, спрашиваю: — Мальчики, вы будете стрелять? — И понимаю, что плачу. — Не будем. — Они отворачиваются.

Воинь-афганцы оценивают способность «Белого дома» продержаться при штурме в десять минут, оптимисты — в полчаса.

Нас трое в квартире, три женщины. Четвертый с нами — Арвидас, физик из Литвы, из Вильнюса. Знакомый знакомых, попросили приютить, он приехал сюда в командировку. У меня на глазах он очень спокойно учил соседа Толика, как собираться туда. Велел обязательно взять мокрую марлю. Зачем? На случай газовой атаки. Арвидас уже прошел эту школу в полном объеме — в январе, на баррикадах в Вильнюсе.

Вспомнили, что сегодня на улице видели военного, который вынимал из сумки красный флаг. Люди остановились, смотрят. А он вдруг вынул флаг с дыркой вместо серпа и молота, поднял его и так стоял.

Идти туда? Но, уходя, мужчины сказали: «Тогда нам придется думать о том, как защищать вас. А мы должны защищать их». А не идти?.. Как тяжело, Господи, как тяжело! Пошли такую же муку всем, кто это затеял, и их родным, и их близким! А ведь, наверное, сидят и тоже мучаются...

21 августа. Без пятинадцати три. С площади позвонил Толик! Сказал, что «они» отошли!

Пять часов. Вернулся Арвидас, мокрый, без голоса. Он был не на площади, а на баррикадах. Какие у вас храбрые люди, говорит он. Подходят вплотную к танкам, уговаривают солдат. Зажимать уши, раскрывать рот надо при выстрелах, они ничего этого не знают, не верят. А у него обрывалось сердце: он ведь помнил, что они могут стрелять!

Полшестого. Вдали, за гостиницей «Украина», за светофором, что-то шевелится и мигает, и висит синяя дымка, уже третьи сутки затянувшая Москву. Это шевелящееся «что-то» опять нагоняет ужас — хотя бы потому, что вокруг очень гражданские люди. Инвалиды с палочками. Пожилые пары — за руку... Но больше всего молодых. Мальчики и девочки. У них такие гордые лица. Такие усталые, измученные, но дождем и бессонницей, а не страхом. Не похожие на наши.

Двенадцать дня. Я точно знаю, что тот, кто, как и я, оказался на площади после той ночи, пришел не на подвиг — на покаяние. И нам отпустили грех трусости. Незаслуженно, но отпустили.



Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

РЭНЗЮ

*Хроника из жизни
крестиков и ноликов*

Рисунки автора

+ + +

Я чувствую, как кто-то передвигает меня. Иногда я даже ощущаю тепло движущей руки.

+ + +

Пушкин стоял за Макдоналдсом.

+ + +

Нолик хохотал до колик.

+ + +

Крестики чистят пестики.

+ + +

Нолик проглотил Сатурн и все его не переварит.

+ + +

— Сколько стоит картошка?

— 7 руб.

— Когда к власти придет нолик, будет стоить 70.

+ + +

Когда к власти придет крестик, он перечеркнет все достижения.

+ + +

Но мы забыли рассказать, что случилось с нашим крестиком за минувший год. Крестик развелся. От его брака с ноликом остались две дочки и сын. Вылитые родители. Особенно в профиль.

Старшая была зонтик. Она работала в уличном кафе зонтиком, а летом на пляже, и после закрытия опускала юбочку. Младшая работала там же вазочкой для мороженого. В нее помещалась порция из четырех ноликов. В анкете дочки писали: «полукрестики-полунолики».

Сыночек выходил на бульвар с заточенной спицей. Когда он протыкал спицей прохожих, те становились крестиками.

+ + +

Мимо проехал Большой крестик в «Волге». Неумещающий кончик торчал как антенка над крышей.

+ + +

Когда «Волгу» отобрали, Большой стал ездить на троллейбусе. Кончик загибался над крышей, как дуга. Искрило.

+ + +

Цены росли. К ним, как очередь, пристраивались нолики.

Крестик все больше худел, нолик округлялся.

+ + +

Нолики катались на роликах. Крестик на одной ноге крутился по ледяному полю, расставив руки. Делал фуэте.

+ + +

Нолики считают, что крестик — индивидуалист. У него и в числителе единица, и в знаменателе единица.

+ + +

Павлов — нолик. Щекочихин — крестик*.

* Редакция сохраняет текст в том виде, как он был сдан в набор 5.VIII-91.

+ + +

О вечный бой двух начал! Структура мира состоит из крестиков и ноликов. Остальное — видимость. Есть и смешанные особи.

+ + +

Теннисная ракетка — это нолик, стянутый сеткой крестиков. Нет нолика без крестиков.

Кролики — это крестики плюс нолики. Уши — от крестика, хвост — от нолика.

+ + +

Как крестик держится на одной ноге? Ведь все живое имеет две, а то и четыре ноги. Может, он балансирует руками? Или его поддерживают встречные удары судьбы и коллег?

Небесная антеннка, как на ниточке, держит крестика над землей. Станный странник, вытянув шею над толпой, он идет на зов неизведанных позывных, порой различая Голос, не понимая смысла. Зомби?

Фельетонисты называют это духовностью. Нолик считает, что крестик ловит радио «Свобода».

+ + +

Диоген жил в нолике.

+ + +

Когда крестик работал бурильщиком, он добурился до центра земного притяжения. Вытащил центр из земли, как нерв из зуба. Система распалась. Земля распалась. Все разлетелось в стороны, децентрализовалось. По камням скакал опустевший обезумевший экватор. Потом центр вернули, но не совсем на то место. Крестика наградили, но перевели диктором на ТВ.



Страсть крестика

Когда крестик стал вести программу ТВ, он разделил собой экран на четыре части. Новинка! Он представлял одновременно четыре программы.

На левом его плече шли танки. На постаменте правого шли выборы мисс Таз-91. Под правой мышкой по 2-му каналу рвался к микрофону депутат, похожий на певца Мамонова из группы «Муки Му». Под левой мышкой митинговала партия сексменьшинств. Требовали передачи им Мавзолея.

+ + +

Вдруг правое плечо тяжело, как весы, поехало вниз. Танки взвились вверх, как по горной местности. Прищемленный депутат запел.

Как пушинку отеснив плачущую мисс Экстаз-90, на постамент взойшла Изольда Мешалкина.

+ + +

Восхищение! Хулахуп застрял на ней, как экватор. Незъяснимая печаль пространств охватила души.

Страна опустела. Остановились заводы, операционные, ракетные, Полярный круг оттаял — все залезли в телевизор.

Нырни навек и не вынырни, москомсомольская мисс Бюст-91! Рейтинг Мешалкиной недостижим.

«МИСС ТАЗ МИР СПАСЕТ ОТ МЕТАСТАЗ» (ТАСС).

Правое плечо перекаливалось.

+ + +

Наутро крестик заболел. Все четыре градусника, воткнутые в него, пылали. Нижний лопнул.

Госпитализировали. Покрыли простыней. Раскаленные его кончики прокалывали простыню, как кладбищенская ограда в снегу.

Врач сказала: «Растяжение плеча». Профессор сказал: «Да он же влюблен!» «В Мешалкину, — сказала нянечка. — Все по ящику видели».

+ + +

«Не!» — сказала Мешалкина. Несмотря на ее влажный прононс, это не утешало.

+ + +

Крестик пробовал повеситься, но веревка соскальзывала с его безголовой шейки. «Не!»

+ + +

Он встретил Ее в лифте. Побледнел. Вырвал себя из себя и преподнес, как лилию. «Не!» — сказала Мешалкина.

+ + +

В другой раз он еще более побледнел. Вывернул себя и подал Ей, как квадратный платочек с четырьмя заглаженными складками.

Мешалкина высморкалась в него.

+ + +

«Погляди на себя, они тощих не уважают», — сказал нолик и укатился.

Крестик купил гантели. Вступил в секцию «бодибилдеров». Накачивался в подвале. Через месяц он округлился, как туз треф.

«Не!» — сказала Мешалкина.

+ + +

«Им валюты надо», — посоветовал нолик.

Завербовался в космос. Работал стрелкой компаса. Но где в космосе Север? Где Юг? Его сократили.

+ + +

— Бабы — они военных уважают.

Крестик пошел в армию. Никогда ему не удавалось выполнить команду: «Смирно! Руки по швам!» Он все разводил руками. Обломали. Через 2 года Мешалкина ему ответила. «Не!»...

+ + +

— Ты потанцевал бы...

Юные ленинцы плясали тяжелый рок, подняв два пальца, как перевернутое «Л». Крестик вошел в круг. Станцевал лезгинку. Потом вприсядку, выбрасывая в сторону руки.

— «Не!» — сказала в нос Мешалкина.

+ + +

— Да ты послушай, как она, бедная, в нос произносит! Она всегда простужена. Ей профессионально поддувает. Подари ей колготки. Размер XXL (экстра-экстра ладж).

Ни одна отечественная фабрика не выпускала такого размера.

Вся страна стремилась улететь куда-то. Наверно, за колготками размера «S», «M», «L», «XL»...

Крестик улетел в Америку.

Крестик в Америке

+ + +

Крестик улетел в Америку.

В Аэрофлоте билетов не было на десять лет вперед. Виз тоже. Запись на угон самолетов шла за полгода.

+ + +

ТОГДА ОН ПЕРЕДАЛ СЕБЯ ПО ФАКСУ.

+ + +

...случалось ли вам, читатель, перемещаться по факсу, чувствуя, как некая серафическая сила разъяла вас на точки — а вдруг не перегруппирует обратно?! — случилось ли вам нестись в иных измерениях, где «я» → «не я», нестись, холодея от ужаса, среди скорости мысли, занятых, обезумевших хромосом духа — не так ли и ты, Америка, как буйная, неудержимая факса, несешься, с гулом летят под тобой мос...

+ + +

Очнулся на 109-м этаже. Голубые продолговатые нолики в алой оправе уставились на него.

— Опять факс-заяц?!

Лакированный ноготь сощелкнул его с листа, как козявку, в окно. Падая, он слышал обрывок телефонной беседы:

— Хэлло! Оль слушает. Простите, я тут отвлеклась. ВСЕ ОК. Вот только наш 17-й нолик опять забеременел. Да, дистанционно. Наверное, от крестика из Гонконга.

+ + +

Под ним, мигая, приближались горящие перпендикуляры авеню и стритов.

О, Нью-Йорк, Нью-Йорк, мировая столица крестиков.

+ + +

Приземлился, как котенок, на четвереньки.

— Скажите, как пройти к Блюмингдэйлу?

— $6/42 \rightarrow 5/44 \rightarrow 4/64 \rightarrow$ и вот вы уже на $3/64 \rightarrow L/64!$.*

Не город, а кроссворд какой-то, мечта сумасшедшего шахматиста, партия Фишера. Ньюйоркцы, дети квадратов, мыслят ходом коня. Они и не знают, что уже играют в Рэнзю.

+ + +

По Центральному парку трусой бежали тысячи крестиков — белые, черные, желтые, голубые, в безрукавках и шортах. Были среди них и нолики. Дети сверкали серебряными проволочками над зубами.

Крестик разделся и присоединился к цепочке. «Нюдисты нынче в моде», — сказали, обгоняя его, голубые очки. За ней на песке дорожки оставались крестообразные птичьи следы.

«Да она еще и птичка!» — подумал он.

* L — это Lexington, их Ленинский проспект.



гуэль

+ + +

L/64! В витрине Блюмингдэйла пылала тыща швейцарских крестовых красных ножей. А мы-то думали, что у нас единственный!

Они шевелили лезвиями, лупами, антеннами. Из одного торчала черная швабра для прочистки трубки или унитаза. Он был похож на пурпурного вестминстерского гвардейца в мохнатой шапке.

+ + +

Соседнее стекло сверкало бриллиантами. В каждом прятались, ломались лучевые крестики. «Освободи нас, — молили, — разбей витрину!»

+ + +

Но нигде не было колготок XXL.

Проходя супермаркетом первого этажа, проголодавшись, он схватил со стенда сосиску и съел. Никто не заметил. Но на выходе — ой! — неоплаченная сосиска завывала внутри него сигналом сирены.

+ + +

Воя желудком, он побежал по Лексингтон. Погоня! За ним, тоже воя, неслись ноли полицейских «мерседесов» и мотоциклов. Аллюр 5 крестов!

+ + +

ВСЕМ СЛУЖБАМ! НЕОПОЗНАННЫЙ ИКС ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ПО ЛЕКС ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ — ОБЪЕКТ ЧЕТЫРЕХПАЛЫЙ. ВЕРОЯТНО НЛО ЛИК.

+ + +

На углу 42-й он применил одесский прием. «Брызнули в стороны, бля! Свинт на крыше Рок-хазы!» — крикнул своим палкам на непонятном преследователям языке и распался. Одна нога полетела на Север, другая — на Юг, врассыпную!

Сосиска тем временем спустилась в нижнюю ногу. Воя, неслась на Запад.

+ + +

«Бля» — это «леди по-советски», — перевел в мегафон черный омовец. За убегающими палками неслись, как-тени, черные дубинки и нолики наручников.

+ + +

ИНТЕРПОЛ И МВД ВЗВОЛНОВАНЫ УЧАСТИВШИМИСЯ БЕЗВИЗОВЫМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ФАКСУ.

+ + +

На крыше Рокфеллеровского центра встретились. Трое взлетели на лифтах. Ждали четвертую, которая с воем карабкалась по пожарке. Соединились. Свинтились. Оглянулся на все четыре стороны.

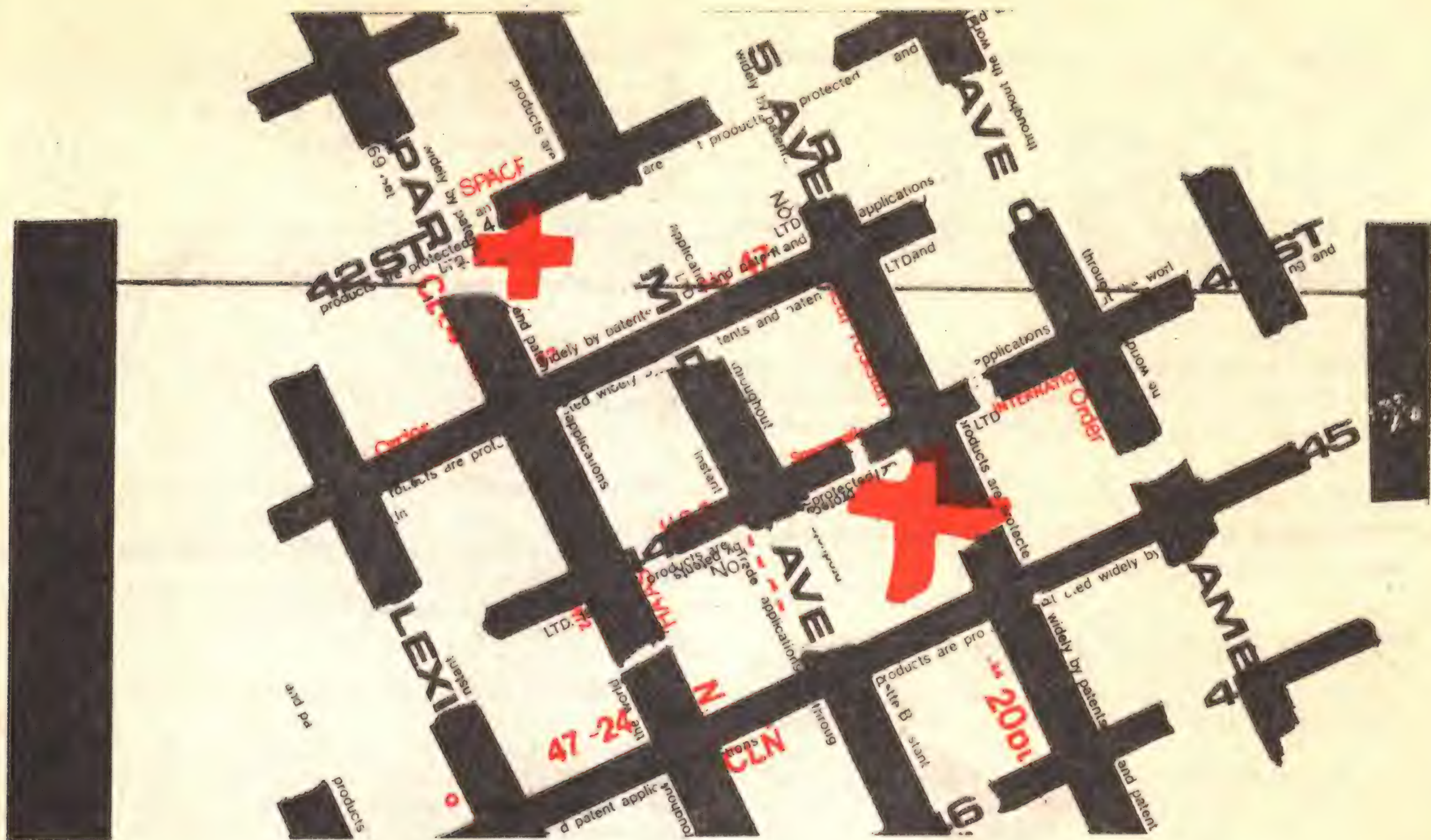
Над крышей в небе стоял желтый вертолет, винтообразно превращающий крестики в нолики.

+ + +

Но почему толпа с тротуаров и все кинокамеры глядят на крышу? И почему к крыше привязан трос, тянущийся к Эмпайр Билдинг? Видно, какой-то канатоходец собирается поставить рекорд Гиннеса?

+ + +

Наш крестик опередил рекордсмена. Апокалипсически воя нутром, он прошел, балансируя руками, над небоскребной пропастью, прошел над затаившими дыхание квадратами Нью-Йорка коронным ходом офицера или королевы!



+ + +

ВИЖУ Х ИДУ НА Х

+ + +

Ура! Наш герой уже на Эмпайр Билдинг. Аплодисменты! Крестик протянул всем руки.

Тут на него надели наручники.

+ + +

Ножницы — это крестик с кольцами наручников.

+ + +

Крестика посадили на электрический стул. К правой руке подсоединили плюсовую клемму, к левой подвели отрицательную.

Когда к его «плюсу» подключили «минус», он весь наполнился радостной энергией. По жилам побежал ток. «Еще! Ну, еще подбавьте току», — молил он электриков. Когда подводили «плюс», крестик ничего не чувствовал.

+ + +

Пинок! Его выбросили на улицу.

+ + +

Жильем не обеспечили. Советский бомж привык и не к такому. Он складывал себя в тире, как складной зонтик, и спал на лавочке. Под лавочкой, свернувшись калачиком, спал нолик.

+ + +

Над собой в небе он считал звездочки. «Сегодня я в четырехзвездочном отеле ночую», — подумал и сладко заснул.

+ + +

Ему снились клеверные поля, где крестики, перелетая с цветка на цветок, погружают хоботок до предела и торчат вверх вибрирующими антеннками.

+ + +

Ему снился родной безразмерный окоем, неизъяснимая печаль пространств.

+ + +

Подошли две белые бестийки:

— Крестик, вынь из себя один из шприцев. Зачем тебе четыре? Поделись с товарищем.

Не трожьте человека, когда из его вены торчит кончик крестика.

+ + +

Иногда он залезал с ногами в дорожный пустой круг знака «стоянка запрещена», и знак превращался в «остановка запрещена». Глядя на спящий крестик в кружочке, машины, опустив ресницы, катили мимо.

+ + +

В осеннем воздухе, как паутинки, носилась узелки памяти. Кто завязал их? О чем они?

+ + +

Порой сквозь чужое окно он видел экран ТВ.

+ + +

Шварцкопф с Саддамом играли по клеточкам в «кораблики».

В это время их охранники, засучив рукава, мерялись силой, уперев сдвинутые локти на полированном столе. Они отражались в столе загорелыми крестовинами.

+ + +

Он много глядел в небо. Из факса облака струились сообщения дождей. Из факса газонов в небо поднимались сообщения паров.

+ + +

Самолет сначала был крестиком. Постепенно превратился в минус ракеты.

+ + +

Однажды приснилась мама. Он плохо помнил ее. Тогда ему было года четыре. Она спала. Он нарисовал на ее левой половинке попки крестик, начал рисовать и на правой. Но едва начертил (—), как произошло короткое замыкание. Больше он никогда ее не видел.

+ + +

Мимо катили нолики, первые миллионеры из совков. Они гребли зелень совковой лопатой. Эмблемами их «мерседесам» служили крестики с отпиленной ногой.

+ + +

Наступили холода. Из факса облаков полетели на землю сообщения белых крестиков.

+ + +

«Метель лепила на стекле кружки и стрелы».



+ + +

Он заметил, что американцы замыкают квартиры на наборные ключи и их скважины имеют крестообразные сечения.

Так он стал проникать в пустые квартиры.

+ + +

В одной спальне на тумбочке лежали голубые очки в алой оправе. На стуле джинсы «Леви-Стросс». В углу шелестел ФАКС. «Макинтош». Под дверь ванной вели просыхающие птичьи следы.

Так вот как ты живешь!

+ + +

Он ждал. Буквы и цифры из ФАКСа рассаживались на майках. Куда бы факснуться, пока хозяйка моется? Стопкой лежали телефонные книги.



+ + +

Он открыл наугад телефонный справочник «Петроград». Видно, новый. Значит, город только что переименовали. Какие перемены без него! Вот телефон какого-то Юсупова Ф. Набрал.

+ + +

Очнулся в бороде Распутина. Старец почесался. Поймал. Прижал ногтем. «Ща мы тебя!»

Раздался выстрел. Потом еще. Пальцы разжались.

+ + +

В панике он крутанул ручку телефона. В кабинете сидел вождь и курил труп.

+ + +

Черные сапоги были скрещены под черным углом усов.

Закурив новый труп, он стряхнул крестика в пепел: «Фактически тебя нет».

Фактически нет, но фактически...

+ + +

— Кто это растягивал мои колготки?! Как вы сме-ли!

Оль выпорхнула из ванной. — Ах, это опять вы, факс-заяц! Я так и думала. Не глядите на мои ноги! Вы думаете, если я без халата, то так уж беззащитна. Подайте мне газовый баллончик. Считайте, что я за ширмой.

Она вытянула перед собой горизонтально на уровне плеч пояс от халата. И выглядывала из-за него, как из-за ширмы. Ничего, я плохо вижу. Что уставились? Подотрите пол вокруг меня. Ой! Ну, нельзя же так, сразу. Ее нолик округлился от удивления. Ой! ±—....., ой! — +×о ++ ой о милый о... ой да у тебя их четыре... ты мой четвероногий друг... Я тебя по всем факсам ищу. Все оказывались не ты.

+ + +

— А что это у тебя за кружок над левым локтем?

— В нашей стране врачи всех детей метят минусом. Потом этот минус воспаляется в нолик. Это на всю жизнь.

+ + +

А ты и правда из крестиков. Пока мы любили друг друга, сотни крохотных крестиков высунулись из твоей щеки и подбородка. Ровные, как новобранцы. Целые полчища. И все колются.

— Ща мы их под ноль сбреем!

+ + +

На стене фото нолика. Муж? Нет, это моя мама. Мы все из нее вылупились. Ах ты, моя птичка.

+ + +

В коридоре висела шведская стенка из ее прошлых любовников. Ах, какие это были крестики когда-то!



+ + +
Я читала, что русские между любовью говорят про
ГЭС. Расскажи мне про ГЭС...

+ + +
СТАЛИНТУРИСТАСОВПИСДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

+ + +
Когда он утром чистил зубы ее щеткой, зубастая
перекладина его белела из зеркала, как шлагбаум.

+ + +
Он остался жить у нее. Помогал по хозяйству.
Служил ей четырехлопастным ножом в мясорубке.
Когда ее не было, путешествовал по факсу. Макин-
тош был ему по размеру.

+ + +
В кухне на сушке вертикально сохли нолики. «Не
хотим в кофемолку!» — кричали черные нолики. Кре-
стики сочувствовали, но перемалывали их. Белые но-
лики не хотели работать рисовой кашей.



+ + +
Ему нравилось в этой стране.
У стены стояла круглая ванная. «Джакузи» называ-
ется — последняя американская мечта! Едва он лег
в эту ванную, как из бортов забили струи. Крестик
завертелся. Голова закружилась. Он превратился в но-
лика. Джакузи превратилась в Мешалкину.

Просыхая на бельевой веревке, он услышал Олин
голос: «Джакузи ваш русский нолик изобрел. «Мы вам
покажем джакузькину мать!» — кричал ваш нолик
в шляпе».

+ + +
Однажды из факса выскочил чужой крестик. Ах, да
это мальтиец! Выставил шпагу на нашего. Но проко-
лотый насквозь нырнул в вечность факса.

+ + +
Ах, факс — Стикс XX века...

+ + +
Как-то он попал за кулисы к Мадонне. Суперзвезда
молилась перед выходом на сцену. На черные кожа-
ные брюки в обтяжку был надет бабушкин розовый
пояс с четырьмя подвязками. Тупые полицейские пы-
тались запретить ей мастурбировать на сцене. Народ
скандировал: «По-дон-ки!», «Да здравствует Мадон-
на — Макдоналдс культуры!»...

+ + +
Оль выкрасила его верхний хохолок зеленкой. Так
он стал панком. Бритоголовые нолики били его.

+ + +
Порой они путешествовали вместе.
— Давай наберем Кремль, пообедаем?



— Знаешь, советские компьютеры крепко пьющие.
Впустить-то впустят. А вот выпустить... Тогда слета-
ем к Факсимйле.

+ + +
Ездили к морю. Когда крестик катался на одной
водной лыже, Оль плыла к нему, как спасательный
круг.

+ + +
Но иногда она казалась ему похоронным венком.
Он выходил на балкон, прислонялся к перилам и гля-
дел, взгляд его огибал землю, как дуга у старинного
глобуса. Его тянула печаль пространств. Антеннка
вибрировала.

Все его мысли были о доме: «Вдруг расстреляют?»

+ + +
— Милый, в прошлом году я была в Москве. Меня
возили в автобусе в Троицкий монастырь.

— В Троицкий посад?
— Да, да, в Троицкий фасад. Тогда у вас был зимний
праздник. Русские красят нолики в разные цвета.
Красные, золотые, голубые! Я влюбилась в алые
нолики на снегу.

+ + +
А почему вы всех своих лидеров ругаете? «Stalino-
bad, Leninobad». И этот плох, и тот «bad».

+ + +
ОБЪЕКТ ТРИЖДЫ ЖЕНАТ ПЯТЬ РАЗ РАЗВЕ-
ДЕН ЖИВЕТ НЕПРОПИСАН ПО ФАКСУ (212)
461208 СООБЩАЕТ НОЛИК.

+ + +
В этом году Америка страдает от эпидемии клещей.
Клещ по-английски «тик». А может, это нашествие
клещтиков?

+ + +
А ты, совок — ОК!..
Он учил ее русскому. — Ну как ты не сечешь, что
такое «тусовка»? «Ту» — это «два», «two». Ту-совка
значит — «два совка».

+ + +
Когда он брился в ванной, из зеркала параллельно
ему появлялся другой крестик, словно переплет вто-
рой зимней рамы двойного окна. В Нью-Йорке нет
двойных рам, нет переплетов. Он вспомнил вторые
зимние рамы своей родины. И заплакал.

Когда намылился кремом, второе окно покрылось
белым, морозным узором. Он еще горше заплакал.
Антеннка, куда ты завела?

+ + +
Ах, Россия, пройдешься по улице — изо всех окон
на тебя выглядывают крестики. Америка к прохожему
равнодушна — ни один крестик не выглянет из беспере-
плетных окон...

+ + +
± —o!! — +xo+1

+ + +
Кольца на оконных палках разинули рты от изумления, выпустили из зубов шторы. Шторы упали. Наступил день.

+ + +
Но однажды она забыла закрыть в ванной пробку. И его унесло с водой. Крестик и нолик, дежурившие в отверстии, зазевались и упустили гостя.

+ + +
Какая темень! Как мерзко и холодно нестись в потоке мыла, твоих запоздалых слез, обескураженных хромосом, холерных палочек! Прощай, милая, абсолютный салют!

+ + +
Как-то в преисподней он встретил одинокую воющую сосиску.

+ + +
ОБЪЕКТ ПРОНИК В ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ПЛЫВУ ПО СЛЕДУ — НОЛИК.

+ + +
Безнадежно носясь по inferнальным кишкам великого города, на стенке одной из труб он заметил проржавевшее пятно. Проколов ржавчину, он нырнул туда, попал в слой сырой штукатурки, процарапал дырку в том, что оказалось потолком, и весь белый, как призрак, от прилипших белил, свалился в какой-то огромный подвал.

+ + +
Судя по сломанному мольберту, это была мастерская художника. Видно, тот разбогател и съехал. В углу валялся моток советской черной изоляционной ленты. Видно, художник был русский.

Сначала крестик заклеил лентой дырку за собой, чтобы подвал не затопил.

+ + +
Советская мазутная лента не чета безликому скотчу. Если у вас протерлись выходные вечерние брюки — заклейте черной изолентой.

Если в город приезжает Предсовмина, а проспект не заасфальтирован, протяните ленту вместо шоссе. Получите орден.

Если у вас свадьба и нет селедки, нарежьте ленту тонкими ломтиками и наклейте по центру на селедочницу. Вокруг декорируйте кружками моркови и лука по вкусу.



+ + +
Дверь подвала была закрыта снаружи. Окон не было. ФАКСА не было. Оставалось ждать.

+ + +
В эти недели ожидания он и создал свои ставшие потом знаменитыми картины из изоленты. Он лепил ленту на белые известковые стены. Получались автопортреты, скрещение судеб, тени XX века.

Как-то, еще живя в России, он видел эмблему рубрики «XX век в лицах» в газете «Известь». Художник нарисовал цепь времен, ее разорванные звенья, в них крестик становился ноликом. Это смысл бытия.

В подвале на стенах он продолжал рисовать автопортреты, ибо он и был связующим элементом мира. Другого мира пока никто не создал.

Исследователи найдут много толкований Изоленте, но никто не знал, что в его изображениях присутствовала тоска по Изольде и прощание с ней.

Вскоре Изолента кончилась.

+ + +
Он почти ослеп и побледнел от темноты. Вдруг дверь распахнулась. Ввалилась толпа репортеров, поклонников и сам художник, владелец подвала: «Вот в этой дыре я начинал!»

Тут все заметили картины на стенах. «Шедевры! Почему вы от нас их скрывали, маэстро?»

Художник потупился, но не отрицал. Шквал восторга!

Крестика никто не заметил. Он улизнул в открытую дверь. Воля дороже славы и авторства.

+ + +
К ней он не вернулся. Пошла ты крест-накрест! Абсолютный салют!

+ + +
ОБЪЕКТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ К СОХО. ЦЕЛЬ НЕЯСНА = НОЛИК

ИЗВЕСТИЯ



Смысленными высказываниями, де Голль давал исповедания надежды, что намерен сохранить Алжира французским. Но, с чего-то начала понижая абсолютную безразличность такой чести, генерал постепенно дело я приказанию уезжать Алжира и тем от него...

+ + +
Слоняясь бездомный, как-то на уличной афише он узнал свой изопортрет. Зашел на выставку в Сохо.

Растолкал локтями толпу ноликов и пробился к картинам. Он был так грязен и плохо одет, что его принимали за миллионера. Как из зеркала, со стен на него глянули его отражения.

«Я знаю автора!» — блеснув в толпе, голубые нолики округлились от возмущения и восторга. Ах, ты тоже наткнулась на афишу и прикатила. «Я знаю — это Крестик рисовал. Вот его отпечаток на стене»... «Ой!» — сказала Оль. Оказывается, крестик нечаянно уколол ее. «Да вот он и сам. Явился. Запылился. Сравните!»

Эксперты сравнили.

— Да, это он!

Такое началось! Все кинулись к картинам.

Крестик протянул ей руку. В суматохе они выбежали на улицу.

+ + +
Он обнял ее за округлые плечи. Вон они идут по солнечной стороне Грин-стрит!..

Слившиеся крестик и нолик — собственно, ничего больше и не существует на свете.

Хэппи-энд?



+ + +

«Не!» — прогремел с небес до боли знакомый глас. Х...энд.

Все потемнело. Заслонив тазом солнце, с парашютом на них

с небес

спускалась

Изольда Мешалкина.

Она была одета в тельняшку десантницы. Юбка-варенка, греза Рижского рынка, служила ей куполом. Колготок она, видно, так и не достала. Из нее угрожающе сыпались листовки, которые относил в прерии и пампасы. Как бы она не укололась о шпиль Эмпайр Билдинг!

+ + +

— Не! — Изольда бросилась на Оль.

Та увернулась. Эмпайр покосился от промахнувшегося удара. Возник пожар в лифтах. Новый разбег. Оль подсекла ее подножкой. Пробила до метрополитена — и снова в бой!

Изольда протянула к Оль свои справедливые руки. Двойной Нельсон. Оль применила «Леди Гамильтон». Но поздно!! Вот она уже не дышит в мощных славянских объятиях.

— Не...

...ненаглядная! — Изольда вlepила в ее испуганный нолик засосный поцелуй.

— Я люблю тебя. Давай дружить странами. Сыр Дружба! Уимен либ. Махнемся колготками. Окажи мне гуманитарную помощь!

Полосы тельняшки покраснели от радости как полосы американского флага.

— «Долой стереотип врага!», «Да здравствует стереотип друга!», «Счастье — вне колготок», «Сыр Дружба» — это кружатся счастливые листовки.

Шурша по опавшим листочкам, две женщины уходят, взявшись за руки.

ОЛЬ + ИЗОЛЬДА = НАВЕКИ

Оль и Изольда уходят за горизонт. Их уже не видно. А крестик? О нем забыли?!

+ + +

Крестик опять остался один.



Доклад

Крестики везде! Мы, нолики, должны быть бдительны. Учитесь распознавать.

Почему «Аргументы и факты» рассылаются неразрезанными?

Разверните, и вы увидите большой крестик, образованный из сгибов. Ежедневно тридцать миллионов крестиков проникают в наши квартиры.

Лучшая организация ноликов — танковая гусеница или БТР. Но не дай Бог, если за рулем окажется крестик.

Врага можно распознать по тому, как он шнурует кроссовки. В шнуровке таятся крестики, по четыре на каждой ноге. А что означает само слово «кроссовки»? «Кросс» — в переводе означает «крестик». Все вместе значит: крестики — совки». Это оскорбляет Строй.

А футбольный матч? Вы видели, как крестики избивают ногами нолика?! (Если поймают.)

По телевизору при свете прожекторов под каждым из так называемых игроков видны темные крестообразные лучи. Вы думаете, это играют люди? Это крестики играют между собой.

Мне, например, вчера крестик шину проколол.

Помню Буденного. Два воина держали его за концы усов. Маршал перекувыркивался через усы, как через перекладину. Вот это был крестик! Но когда крутился, становился ноликом.

Я в детстве ловил крестиков и отрывал им крылышки и ноги.

Ловите крестиков и ноликов и распрямляйте их в прямую линию.

Душа имеет форму нолика. Поймайте человека. Утопите. На гладкой поверхности воды появится нолик.

Великий Томас Моор завещал нам делать унитазы из чистого золота. Сегодняшние цены на унитазы показывают, что классик был прав.



+++

Факс на Москву был перегружен. Грузили электронику, чемоданы с колготками, «Тойоты». Крестик прикинулся металлическими уголками на чемодане. Когда в Шереметьеве соскочил с чемодана, чемодан развалился.

+++

Пока он отсутствовал, все захватили нолики. На перекрестках полок лежали нолики, нолики были в карманах и головах сограждан, шланги на бензоколонках были завязаны в форме ноликов.

+++

Крестик основал партию поперечников. Он всегда имел перпендикулярное мнение.

Когда участники митинга прижимались к металлическим ограждениям, поставленным милицией на уровне пояса, они становились крестиками.

Нолики кокард.

+++

Крестик пил чай с сушками. Связка сушек на бечевке — прогулка заключенных ноликов.



+++

Нолики и крестики постоянно пакостят друг другу, устраивают розыгрыши.

+++

На углу ул. Горького стояла «Чайка» с нулями. Крестик решил, что это туалет. Зашел. Когда вышел, его арестовали. С тех пор он не доверяет ноликам.

+++

Крестик сидел на стуле. Вошел начальник. Из ноликов, конечно. Сел на стул. Укололся. «Как бы СПИД не подхватить!» Крестика выгнали.

+++

Ну, как ударишь нолика? Кулак проваливается.

+++

Решетку расформировали. Демобилизованные только разводили руками.

+++

Сколько минусовой энергии в нашем доме! Когда крестик поселился за стенкой, предметы пошли двигаться. Такой полтергейстик начался! (—) — это полкрестика. Вот плюс и минус и образовали полтора-крестик...



+++

КРЕСТИКИ И НОЛИКИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «Ю»!

«Ю» — ЭТО ПОЛУКРЕСТИК + НОЛИК.

+++

— Но ведь антеннка не только принимает передачи, но и может посылать твои звуки в эфир. Спой, крестик, не стыдись!

Так он стал певцом. Нолик записывал его. Тексты песен крестика мы опубликуем в след. выпуске.

+++

Нолики решили осудить крестика, пришить ему дело об оскорблении собой Креста. Пришли к Старцу. Старец глядел в телевизоре мировой чемпионат по Рэнзю — древней игре в крестики-нолики. Он пристыдил доносчиков: «Разве шахматы унижают сан Королевы или честь офицера? Разве вы сами не пользуетесь знаком крестика, когда приплюсовываете барыши? Не кощунствуйте, малограмотные! Разве четырехлучевой крестик на лесном паучке похож на православный Крест с перекладиной о шести завершениях? Вы по-большевистски и компьютеры хотите запретить? Будьте патриотами. Чем доносы писать — тренируйтесь! Организуйте Национальную сборную по Рэнзю, древней игре умных и благородных. А то японцы нас и тут обошли».

Нолики укатились.

+++

— Играть в эту Рэнзю? В размазню? Вот в резню — с удовольствием.

— Зюзю поигрывает в Рэнзю.



+++

Невидимые игроки Рэнзю двигали фишки. Мы, фишки, понимаем удачные или ошибочные ходы, но смысл игры нам неясен.

Но все вокруг обретает смысл — и таежные просеки, пересекающие трассы, и кольца рвов вокруг древних замков, и вошедшие в нашу жизнь круги стадионов, и Южный крест, занесенный от нас за горизонт невидимой рукой, — все имеет тайное движение и неясный смысл.

+++

Рэнзю или Рэндзю (японск.) — означает также назидывание жемчуга, цепь ассоциаций, особый жанр средневековой японской поэзии и обозначается крестообразным иероглифом.

+++

Крестик победил Наполеона. Тот скрестил руки на груди. Наполеона давно уже нет, а крестик остался.

+++

Крестики и нолики в бескозырьках и со скрещенными пулеметными лентами взорвали храм и построили бассейн.

+++

Нолик сидел в кресторане. Крестик нес ему над головой бутылку шампанского на подносе.

+++

Баба сидела на чайнике. Чайник рифмовал. Он писал в стол. Она подтирала.

+++

Нолик пришел на стадион.

— Вы в ложу прессы?

— Нет, у меня постоянный пропуск на табло.

Счет оставался ничейным, пока он не спустился в буфет.

+++

Белая «Чайка» мылась в ванной. Золотые зубы сняла и положила на умывальник. Крестик тогда дежурил решеткой в сливном отверстии. Его заткнули пробкой.

+++

Не ставьте цилиндр вверх дном! Согласно квантовой магии, находящемуся в нем человеку придется стоять вверх ногами.

+++

Пушкин стоял за Макдоналдсом. Чтобы скоротать вечность, он читал Хераскова. «Merde, — думал он, — какое г...!»

Шла приватизация. По нитратопестицидным полям шел крестик за лошадьё. Лошадка роняла ароматные нолики с золотыми чешуйками овса.

«Говно, — в слезах от счастья изумился крестик, — какое говно!»

+++

«Ишь, зеленый, как доллар», — подумал на Пушкина деревянный нолик и покатылся дальше.

+++

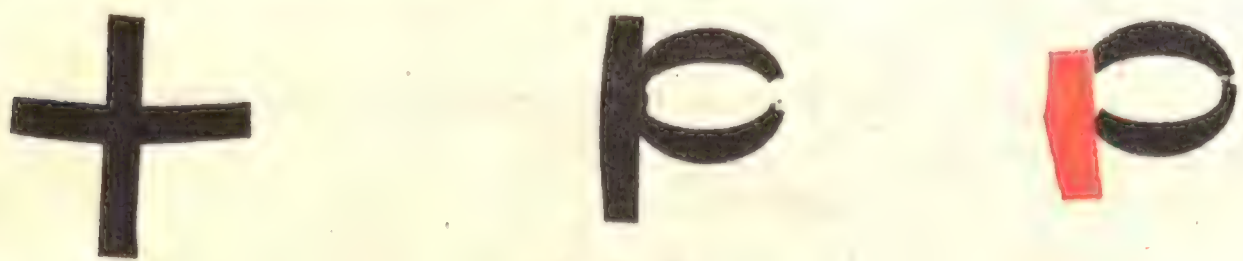
Пришла эпоха рыночных отношений. Крестик пошел работать весами на Черемушкинском рынке.

Они с ноликом основали СП. Вступили в клуб миллионеров. Совмилы собирались в отеле «Маджестик». Воду в отеле пускали на полчаса в сутки. Поэтому ванную наливали шампанским. Миллионы пузырчатых ноликов щекотали кожу, голубели на татуировках. Закусывали яичным мылом. Мокрые полотенца досуха высасывали гости Клуба.

Во время игры в гольф нолику приходилось трудно — в него закатывали мяч, считая за лунку.

Ели на джинсовой скатерти. Гофрированные нолики венчали бутылки с «Жигулевским». Печень трески на блюде имела дистанционное управление. У скатерти урчало в джинсовом животе.

Обсуждали кандидатуры. Нолик попал в десятку. Крестик вошел в сотню.



+++

Он вошел в Сотню. В купюре было просторно. Огляделся. Вошел в коричневый деревянный Кремль, прошел по деревянному настилу набережной.

Дерево отсырело. Все кишело белыми водяными знаками. Чтобы не подожгли, наверное. Текла деревянная вода. По ней, как луна, плыл водяной профиль.

Крестик прыгнул с моста. Поплыл брассом. Когда перешел на кроль, наблюдающий нолик решил, что он изображает фашистский знак.

Мокрого, его привели во дворец. В дубовом кабинете за столом восседало пресс-папье. Да это же его младшенькая дочка. Помните, что работала вазочкой в кафе? Полнолика-полкрестика. Теперь она перевернулась ножкой вверх. Стала полнотела, полнолика. Промокала в офисе важные бумаги. Здравствуй!

Не глядя, она промокнула крестика.

Он впрессовался в купюру, стал частью системы, прослужил в ней, походил по людям, насмотрелся всякого, пока купюры не обменяли.

+++

— Здравствуйте, мы — пружинка.

— Вы сестры?

— Нет, мы жены.

— У нас один диаметр, одна судьба. Он любил нас, переходил с одной на другую. Потом раскрутился, оторвался и улетел в Америку.

Мы могли бы работать в баре винтовой лестницей.

+++

Крестика поймали, как муху, в кулак. Он вылез кончиком в щель между средним и указательным. «Кукиш!» — закричали. А он просто свободы хотел.

+++

Чтобы хоть как-то окрасить их жизнь, он пытался хотя бы рассмешить их. Он перекувыркивался: «Разберите, где у меня верх, где низ? А где у нолика?» Шутки были дурацкие, но у кого-то в уголках глаз щурились крестики смешинок.

+++

На углу ул. Димитрова стоял каменный полкрестик, в вытянутом перед собой кулаке он сжимал за горлышко невидимую бутылку. Хотел открыть без штопора.

+++

Крестик предложил разделить Союз писателей под прямым углом на четыре части: Союз-1, Союз-2, Пен и Союз-5, который еще не сгорел на орбите.

+++

«С одной стороны, Красный Крест и Полумесяц утрачивают изолированные отношения, включаясь в некоторую стереотипную синтагму, с другой стороны, рождается парадигма...»

(Ролан Барт «Воображение знака», стр. 249).

Барта он купил случайно. На обложке в овале была фотография пародиста А. Иванова, который при рассмотрении оказался Бартом. Бартячейки распространились по всей стране.

У одного в наушниках звучало: «надежды маленькой, о крестик...»

+++

Она прыгала ласточкой со средней площадки вышки. Он с верхней площадки — солдатиком. С пляжа казалось, что траектории их на мгновение крестообразно пересекались.

+++

Крестик встретил молодую березку. Обнял ее и свел пальцы за ее спиной, окаменев от восторга. Получился крестолик. Перстенок с продольным камнем. О жизни крестоликов мы расскажем в следующем выпуске.

+++

За круглым крестоликом — «нолик сверху и четыре ножки снизу» — приятно посидеть в кафе.



Крестик в аду

Утром она сказала: «Заскучал ты чтой-то, отощал, в доме шаром покати. Взял бы банк, что ли...»

Он решил брать Банк памяти. Захватил с собой нолика вместо целлофанового мешка. Набрал факс.

Очнулся в банке нулевой формы. Она парила в пространстве — прозрачная, больше чем из-под томатного сока. Вся страна была под банкой.

Все было светло и прозрачно, но как во время белой ночи — тревожаще. Будто душа пыталась что-то вспомнить, но непонятно что.

Перед входом напирала толпы желающих. С наружной стороны по стеклу над входом было что-то написано. «ВАТСО...Н» — прочитал он полустертые буквы. «Что-то сыскное?» — подумал.

Внутри в прозрачных сейфах Памяти, как стопки тарелок, лежали нолики. Крестики были сложены в поленицы.

Сбоку все они имели форму минусов.

«История в минусе», — пояснил в мегафон до боли знакомый внутренний Голос. Антенка, куда ты завела?

Все мучились чужой памятью. Ноликов мучили грехи крестиков, и наоборот. Нестерпимый свет познания. Тьма света.

Дон Кихота мучило, что он круглый, как ветряные мельницы. Санчо Панса каялся в избытке духовности.

Один минус метался под углом 40°. Два микроскопических нолика прилипли к нему с боков.

— Это тростиночка в «Зубровке» с пузырьками воздуха? — подумалось.

— Нет, это старушка процентщица, — пояснил Голос, — она не спит, все мечется, мучается, что она убила Раскольникову.

Другой минус оказался Министром пестицидов. Он лежал в виде рта со столовой ложкой. Он поедал натуральные удобрения и выделял химические. Потом поедал и те, осуществляя круговорот в природе.

Плакал Смех. Скучала Судьба.

Крестик, уже хороший, растягивал гармошку. Он пытался делать это параллельно Земле. По мере того как он нажимал на кнопки клавиатуры, видно, дистанционной, на Земле взлетали города и корчились землетрясения. Он плакал от ностальгии.

Снаружи толпа перла к входу. У одного в наушниках звучало: «надежды маленькой, о крестик...». Охранник показал на надпись над входом. «ОСТАВ...Н», — прочитал буквы наоборот крестик. — «Оставь надежду...»

— Боже! Так значит, я в Аду! — понял он. — Но я же набирал банк Памяти!

— У вас ошибка в наборе, вы набрали лишний

нуль. Это Ад, вернее, Чистилище. (Ах, зачем я брал с собой нолика, он опять сунулся и разыграл меня...) Видите, светло, как в Аду.

— Но я читал, что Ад имеет винтообразную форму, — продолжал он защищаться.

— Вон твой Дант, глуп как пробка. Ад, как и мысль, не имеет формы. Мы ежедневно вкручиваем штопор в твоего флорентийского дезинформатора. Ад — это духовная субстанция. Души и судьбы клиентов закодированы в имена. Ну, скажем, БУЛГАКОВ. Расшифруем: БОГ в углу ГУЛАГОВ.

Вокруг зевала Постистория. Постпустота. Рефлексируют нарцизины. «О, лбы», — бубнил новый философ.

НЛОлики готовились к отлету в Воронеж. Улыбки у них были дужками вверх, что наводило на жутковатые мысли.

Шулера Рэнзю готовили очередной чемпионат. Нолики тренировались делать переворот. Но как ни перевертывались, все оставалось прежним. Они были круглы и одинаковы со всех сторон. Рядом тренировались крестики.

— А ты что тут делаешь, Постирушкин? — Он увидел сына тети Иры, их школьной библиотекарши. Тот был в адидасах.

— Я работаю здесь администратором. — Это и был знакомый Голос. — Когда информация переполняется, я вырубаю ток, стираю память. И все превращается в точку. Ад — это точка. Хочешь, покажу, как это делается?



крестик

На стене царил крестообразный Рубильник. В лунном аду пахло «Черемухой».

«Поступательная история завершилась. В Постистории «я» «не я». Наступила высшая свобода — свобода от себя. Больше ничего не произойдет. Пастбища постбудущего. Единственно, что здесь запрещено, — это поступки.

— По стопке?

Выпили по нолику. По небу за стеклом гуськом летели крестики. Не понять куда. Сюда? Отсюда? Постутки.

— Вдумайся: «Пост, пост, СТОП!» Это одинаково на всех языках. Время перестало существовать. Привет, абсолютный салют!

— Ддттчк!..

— ааэооа...

— Да, ад — это точка. Но он может быть бесконечно ббольшим, безразмерным...

— А на Мешалкину налезет?

— Думаю, да, но не уверен. Давай примерим?

Позвали Мешалкину. «Не!» — вздохнула Мешалкина. Но примерить согласилась.

Ад лопнул.

Все нолики полопались со смеха. — «Свобода!» Но через мгновение их окружил новый ад, еще краше, еще светлее.

— Вот видишь, — продолжал Постирушкин. Ничего не может произойти. Все во власти Рубильника. Стоп, история! XX век завершил ее. Происходит Ничего. Спираль кончилась. Это уже не Ад, но и не Рай —



я бы назвал «Рад». Идем по кругу, по нулю. Ваша постстрана повернула к капитализму. Потом вы начнете опять готовить социалистическую революцию.

НЛОики вернулись из Воронежа. Улыбки их были дужками вниз, что навевало на жутковатые мысли.

— СССР — страна полуноликов, когда полунету всего.

Моделируем эволюционный переход к Апокалипсису. Без лошадей. Одни ищут аномальные центры в космосе над нами, другие в земле под нами. Но ад внутри нас.

Приглядишься к градуснику напротив Центрального телеграфа. Это крестики, нанизанные на кровавый шампур ртутного столба.

— Так, значит, в аду все, как у нас? — Нет, это у вас все, как в аду. Ваши постпартии лишь пародируют постидеи. Нет да и не может быть новой мысли.

«Было, было», — долбил философ.

— А как же Теория крестиков и ноликов? — обиделся наш герой.

— Не знаю. Не проходили. А ты, крестик, еще в школе с парты всегда тянул руку с каверзными вопросами...

— Но я же живой! Смотри, мои антеннки отросли по полмиллиметра, пока мы беседуем. Где у вас парикмахерская?

+++

За стеклом небесные ангелы обстреливали лучи и сплетали из них нимбы. Демоны обстреливали тени и плели черные дыры.

+++

— И взгляни — там на Земле девочка с косичками, туго заплетенными в золотые крестики, рисует мелом на асфальте нолики. Это новые нолики...

Тут умная их беседа прервалась. Услышав живой голос, страдальцы чистилища бросились к ним.

— Спаси нас, Гость! — кричали и Дант, и старуш-



ка, и утки, и заплаканные народы, все молили «Спаси!».

Крестик стало мучительно больно за их бесцельно прожитые годы. Я вам покажу, как ничего не происходит!

«СТОП, ПОСТ!» — заорал он, бросился к рубильнику и выломал его.

И тут он услышал Голос, это не был тембр Постирушкина или Мадонны — это был тот Голос, что звал его всю жизнь. Не понимая слов, он понял смысл. Смысл сводился к состраданию и еще к чему-то, что мгновенно сложилось в подсознании в песнь-молитву. «Спой, крестик, не стыдись!!» — шептали спасаемые народы. Вера без дел мертва. Не только слушать небо, но и петь небу. Перестроив антеннку, он запел. По мере того как пел он, судьбы преображались. И звуки его голоса...

Постирушкин хихикнул и нажал дистанционную кнопку. И все — и Дант, и старушка, и все, что жили раньше и собирались жить после, и эта история, и постистория, и печаль пространств, и песнь-молитва, и все народы, и автор, и вы, милый читатель, и даже верный страж Постирушкин — все превратились в точку.

Точка. Только точка в беспредметной пустоте.

+++

Точка шевельнулась. Из нее вылезли антеннки.

Крестик проснулся и побежал делать зарядку. Он пел.

С горы катился нолик.



ЭПИЛОГ

Сладко спишь, не снявши майку-сетку.

Ангел вас венчает или черт?

Женщина к тебе прижалась крепко.

В дверь стучат. Пора в аэропорт.

Что ты вспомнишь, мчась по беспределу?

Краткость жизни? голос? что еще?

Крестики, впечатанные в тело.

Вафельное теплое плечо.

Переделкино, апрель — май 1991 г.

Предлагаем Вашему вниманию типовые проекты оснащения Независимых Типографских Комплексов на основе оборудования фирм Gestetner (Австрия), ATF-DAVIDSON (США), Dana Trade (Швейцария) и Marchetti (Италия).

Для достижения превосходного результата каждый типографский комплекс комплектуется профессиональным редакционно-издательским оборудованием для набора, макетирования, верстки, подготовки иллюстраций, цветоделения и фотонабора на компьютерах Macintosh, PC, Sun.

Типография учреждения

- Устройство для изготовления форм
- Листовая печатная машина
- Листоподборочная машина
- Резальная машина
- Устройство для проволочного скрепления и фальцовки

Типография районной газеты

- Устройство для изготовления форм
- Листовая печатная машина
- Фальцкассетная машина

Типография крупного предприятия

- Устройство для изготовления форм
- Двухкрасочная листовая печатная машина
- Резальная машина
- Листоподборочная машина
- Устройство для проволочного скрепления и фальцовки
- Фальцкассетная машина
- Машина для бесшвейного скрепления

107066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 39.
Телефон 267-32-10
Телефакс 200-22-38
Телекс 411035 FOTON SU



скажите
Да!

Если Ваша газета не может жить

- ☐ без читателя,
- ☐ в беспределе очередного ГКЧП,
- ☐ под угрозой цензуры или запрета,

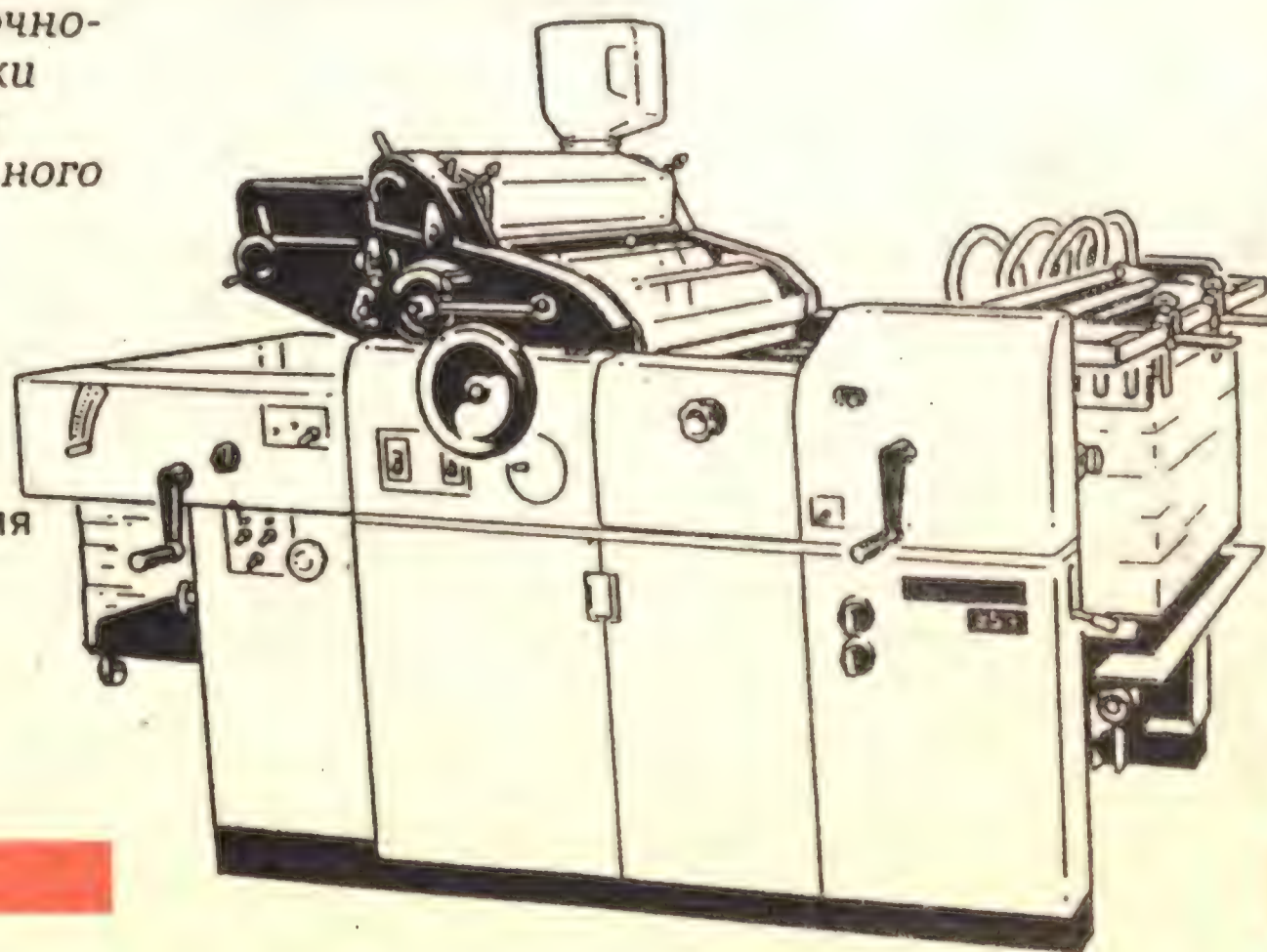
скажите
Да!

и СП ИНТЕРМИКРО предложит Вам

Независимые
Типографские Комплексы,

скажите
Да!

по телефону
(095) 267-32-10
и Вы обретете подлинную свободу слова!



Типография рекламного агентства

- Копировальная рама
- Устройство для изготовления печатных форм
- Двухкрасочная листовая печатная машина
- Резальная машина
- Фальцкассетная машина
- Устройство для проволочного скрепления и фальцовки
- Устройство для печати на плоских и криволинейных поверхностях

Малое книжное издательство

- Репрокамера
- Процессор для изготовления печатных форм
- Однокрасочная листовая печатная машина
- Двухкрасочная листовая печатная машина
- Резальная машина
- Листоподборочная машина
- Машина бесшвейного скрепления

Областная типография

- Копировальная рама
- Процессор для изготовления печатных форм
- Печатная машина для выпуска газет
- Двухкрасочная листовая печатная машина
- Резальная машина
- Фальцкассетная машина
- Листоподборочная машина со скреплением, фальцовкой и обрезкой

Книжная типография

- Репрокамера
- Копировальная рама
- Процессор для изготовления печатных форм
- Ротационная печатная машина
- Двухкрасочная листовая печатная машина
- Резальная машина
- Линия для изготовления книг в мягкой обложке

P.S.: Приглашаем Вас увидеть независимую типографию в работе, полистать каталоги комплектующих устройств, или просто - ближе узнать Вашего будущего делового партнера -

ИНТЕРМИКРО



Василий АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА

Совсем недавно Семен Савельевич Стройло получил серьезное повышение по службе и в звании, он стал старшим следователем и полковником НКВД и перебрался во внушительный кабинет в «святая святых», в самой Лубянке, чье имя наводит ужас на врагов революции во всем мире и на всех гадов внутри.

В таком кабинете бы — высокий лепной потолок с великолепной дворянской люстрой, два больших окна, открывающих вид на широкий размах Москвы от площади с новой станцией метро до башен Кремля, выглядывающих из-за теснения крыш Китай-города; в этих стенах бы — не оставляющие возражений бордовые обои, не ждущие никаких возражений портреты Ленина, Дзержинского, великого И. В. Сталина, картина Левитана «Над вечным покоем», эта грандиозная аллегория величия народного духа; за этим столом бы — тяжелым, крытым зеленым сукном, с медными углами, пережившим все бури, — вот тут бы, при всем этом антураже, посетителей принимать, выслушивать просьбы, входить в обстоятельства. Увы, в условиях жестокого усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму приходится заниматься черновой работой, в частности, проверкой эффективности новых методов следствия.

Полковнику Стройло подходило уже к сороковке, он стал статным, уверенным в себе командиром чекистов, вся эта комсомольская буза, известная нам по первым главам романа, а уж тем более папашины всякие пришепетывания и подхихикивания, все это давно уже испарилось. В настоящий момент мы застаем его у окна вместе с тремя младшими офицерами.

Наслаждаясь небольшим перерывом в работе, они курили, обменивались еврейскими анекдотами, хохотали. «К Абраму прибегают. Абрам, Абрам, твоя жена изменяет тебе с нашим бухгалтером. С каким бухгалтером, бешено кричит Абрам, хватает что-то тяжелое. Ну, с таким высоким, черным, очкастым. Абрам с облегчением отмахивается: а-а, это не наш бухгалтер...»

Тем временем в середине кабинета на стуле сидел обвисший враг народа, лохмотья военной формы свисали с его плеч и груди. С ним еще занимался молодой лейтенант. Взяв за подбородок, он отшвырнул голову зека назад и вверх так, что в разбитой и распухшей физиономии стало возможным опознать комполка Вуйновича. Лейтенант склонился прямо к его уху, прошептал со страданием в голосе:

— Брось свое дурацкое упрямство, Вуйнович! Признайся и отдохнешь. Неужели ты не понимаешь, что тебя тут обдерут, как кошку?

— Пошел на х..., гаденыш, — с трудом ворочая языком и губами, проговорил Вуйнович.

Мгновенно вспыхнувшая ярость задула все признаки сочувствия. Ребром ладони лейтенант ударил узника по шее. Строило обернулся на звук удара, посмотрел на часы.

— Перекур окончен, ребята. Пора за работу.

Он уселся в соответствующее всему убранству кабинета кресло — в таком бы кресле с девочкой на коленях — и углубился в бумаги. Параллельно с наблюдением за тем, как проводится дознание, приходилось знакомиться с множеством уже закрытых дел — все ли инструкции соблюдены, в наличии ли все необходимые подписи: социалистическая законность должна быть на высоте. Остальные офицеры (это слово, прежде считавшееся позорной принадлежностью «беляков», теперь все чаще употреблялось) медленно приблизились к Вуйновичу. Четверо здоровенных мужланов окружили едва живого врага народа. Почему так много на одного? А потому, что в деле Вуйновича, присланном за ним еще из Туркестанского округа, была пометка: «Склонен к бунту».

Майор поводил горящей папиросой возле глаз подследственного, лениво протянул:

— Ну, давай продолжим, Вуйнович. Ладно, ладно, не будь таким букой, давай поговорим. Расскажи нам о твоих встречах с французским военным атташе. Кто тебя вывел на него, где это было, давно ли тебя завербовали?... Ну, что, все забыл, да? Память опять подводит? Вот беда, придется нам малость взбодрить твою память...

Вадима взяли прямо в расположении его части вскоре после возвращения с Дальнего Востока, так что он уже не мог видеть в газетах сообщение о разоблачении и аресте группы врагов, пробравшихся в командование Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, — маршала Блюхера, комкора Градова и других. Остатки наивности толкали к мысли, что, может быть, все-таки за дело взяли: ведь в течение последних месяцев несколько раз встречался со старыми однополчанами, почти напрямую вел с ними разговоры о возможном выступлении армии против НКВД. Как исключить возможность доноса: храбрейшие в прошлом вояки теперь боятся тележного скрипа. Грешил и на Никиту: уж очень тяжелым было в то утро молчание комкора в ответ на его недвусмысленный призыв. Кроме всего прочего, у Никиты есть основания не любить бывшего друга, оскорбившего его отца, вздыхавшего по его жене. Конечно, Никита — человек исключительной честности и гордости, и в прежние времена такая гнусная идея не могла бы придти в голову, но нынче не прежние времена, нынче люди живут по принципу

«пусть тебя сегодня, а меня завтра». Какой уж тут бунт, если жалкая чекистская халява среди бела дня приезжает в расположение воинской части и на глазах всего штаба и охраны забирает любимого командира?

На следствии сразу выяснилось, что НКВД ничего не знает о его недавних передвижениях и зондировании настроений в войсках. У них был собственный, бездарно сочиненный сценарий его преступной деятельности. Какие-то немыслимые встречи с иностранными военными атташе, переговоры с агентами басмачей из-за афганского кордона, в целом — планы отрыва Туркестана от братской семьи народов, создание на его территории белогвардейского эмирата. Соппротивление этому бреду казалось Вадиму бессмысленным, неуклюжим, унижительным делом, но не сопротивляться он не мог. Слава Богу, что не за дело, что тупым чекистам не приходит в голову провести настоящее расследование, но все-таки если бы хоть за дело принимать мучения!

В Ташкенте его лупили старым способом. Окружали втроем или вчетвером, начинали издевательский угрожающий опрос, потом орали, потом кто-нибудь, как бы не выдержав коварства и наглости врага, бил ногой или кулаком по уху, потом другой, третий, наконец набрасывались всем скопом. Он знал такие способы допросов, видел их на «гражданке», да что греха таить, и сам пару раз принимал в них участие, когда в качестве командира конного взвода разведчиков привозил в штаб армии белых «языков». Вот теперь на своей шкуре знаешь, Вадим, каково было тем «языкам».

Впрочем, до «двадцати двух методов активного следствия» на гражданской войне еще не додумались, а с ними комполк начал знакомиться, когда из Ташкента его перевезли на допрос в Москву, на Лубянку. Комполк и здесь упорствовал. Сегодня, очевидно, настал какой-то решающий момент, недаром допрос проводится не в обычной следственной комнате, а в этом начальственном кабинете, где за столом сидит какое-то неуловимо знакомое рыло в чекистских чинах. По всей видимости, сегодня они решили добиться от него желаемого любыми, самыми зверскими методами, ну, а если и сегодня не сломается, не подпишет бумаг, попросту отправить в подвал. От соседей по лубянской камере Вуйнович слышал, что упорствующих в конце концов отправляют на расстрел, а потом уж оформляют дела, как за благорассудится.

Любое малейшее движение причиняло муку. Он поднял голову и обвел взглядом четырех следователей. Двое, майор и капитан, были знакомы по прежним допросам, они уже явно питали к нему какие-то свои, едва ли не родственные садистские чувства. Другие двое, лейтенанты, появились в его поле зрения только сегодня. Ну, а тот, что за столом, старший, тот как бы непосредственного участия не принимает, погружен в более серьезные дела, но нет-нет, да и глянет тяжелым глазом, и как только соприкасаешься с этим взглядом, немедленно понимаешь: все кончено.

Первая часть допроса прошла обычно: повтор idiotских вопросов о французах и басмачах, спорадические ошеломляющие удары по голове или в живот. Потом заплечники решили курнуть и вот сейчас приступали ко второй, более серьезной части «разговора». Майор щелкнул пальцами, лейтенант подвез металлический столик на колесиках, чем-то сродни хирургическому, только явно не стерильный. На нем лежали «следственные инструменты». При взгляде на столик Вадим содрогнулся. Два-три метода уже были на нем опробованы, но самое страшное было еще впереди. Не сдамся, не сдамся! В бою пусть убьют, ублюдки! Может, кто-то из них не выдержит, выстрелит, может, удастся завладеть пистолетом, может, к окнам пробьюсь, вырву решетку... Все это мгновенно

ной бурей пронеслось в сознании, в следующую секунду комполк вскочил, ударом ноги перевернул «хирургический» столик, поднял над головой стул и начал его вращать, испуская дикий, неосмысленный уже вой затравленного вконец зверя.

Полковник Стройло, перекосившись, смотрел на эту сцену. На всякий случай расстегнул кобуру револьвера. Ну и зверь попался, ну и животное! Где-то я уже видел этого — он глянул в бумаги — Вуйновича. Е-мое, а не на даче ли Градова в двадцатых годах? Из Никиткиных корешов, кажись, ну, тогда понятно: из них из всех белогвардейщина и тогда перла.

Кто-то из лейтенантов прыгнул сзади на плечи взбесившегося комполка. Перед падением на пол тот все-таки успел заехать стулом по башке майора. В конце концов четверо чекистов обротали одного полуживого бунтовщика. Ярости их не было конца. Они работали всеми конечностями, да еще и башки свои пускали в ход.

— Полегче, товарищи! — предупредил Стройло. Он понимал своих коллег и сочувствовал им. Поневоле озвереешь на этом участке работы. Что делать, временами в наших людях от соприкосновения с этой человеческой пакостью просыпаются какие-то парадоксальные эмоции. С ним самим недавно произошел малоприятный, если смотреть со стороны, эпизод. Вот так же при нем другая бригада допрашивала так называемую «старую большевичку», а на самом деле еврейскую гадину, продавшуюся давным-давно итальянским фашистам. Все шло своим чередом, пока вдруг дряхлая мразь не взбеленилась. Выступить начала: «Меня жандармы допрашивали, но никогда... жандармы никогда на женщину руки не поднимали! Белые никогда так, как вы!.. Никто никогда!.. — Вдруг ее как бы осенило: — Только гестапо так, как вы! Гестаповцы! Гестаповцы!!» Тут что-то случилось с полковником Стройло, не смог удержать голову в холоде, по заветам Феликса Эдмундовича, горячее сердце слишком разыграло и чистые руки малость запачкал. Рванулся, растолкал окружавших преступницу товарищей, швырнул старуху на кушетку, дернул юбку, зад заголил подлюге, вытащил свой добротный тяжелый ремень со звездой на пряжке и пошел гулять по дряхлым свалывшимся ягодицам. «Вот тебе, сука, твои встречи с Владимиром Ильичем, вот тебе, старая ведьма, Маркс и Энгельс и Готская программа!» — и так гулял, пока подлюга уже вопить не перестала и сам вдруг конвульсиями не пошел, такими мощнейшими конвульсиями с фонтанными исторжениями, как когда-то в незапамятные годы молодости иной раз получалось с профессорской дочкой; даже неловко потом было перед товарищами. Вдобавок ко всему невыносимый запах распространился по кабинету, и от старухи, и от полковника самого. Нет, так дело не пойдет, друзья, нужно научиться выдержке, хотя и понять, конечно, нас всех можно: работаем с подонками рода человеческого, эксцессы неизбежны.

Чекисты защелкнули наручники на запястьях Вуйновича, связали ему ноги. Запрокинувшись, комполк лежал на паркетном полу, над ним, перевернутая, парила картина Левитана «Над вечным покоем». Он вдруг острейшим и проникновеннейшим образом понял то, что пытался передать своими красками и чего не добился художник, то, что никакими красками, никакими словами, даже никакой музыкой не выразишь. Потрясенный этим пониманием, он забыл о своих муках и о чекистах, все забыл, чем жил, даже Веронику, о которой не забывал и тогда, когда о ней не помнил, единственное, чего он страстно пожелал, — сохранить мгновенное озарение, но оно после этого тут же ушло. Чекисты расстегивали ему штаны, вытаскивали хозяйство, приспособливали зажим к применению еще одного метода активного следствия. Работа-

ли только трое. Четвертый, молодой лейтенант, блевал в углу, в раковину. Стройло сложил все свои папки в стол и закрыл на ключ. На поверхности осталось только дело Вуйновича, раскрытое на машинописной странице с отдельной строчкой внизу: «Заключение следствия признаю правильным». Здесь требовалась сущая чепуха, подпись подследственного, и из-за этой чепухи весь цирк и разыгрывался, с ревом, борьбой, с резким запахом недопереваренной лейтенантом пищи.

Уходя, Стройло сказал офицерам:

— Продолжайте, товарищи, не останавливайтесь, пока гад не подпишет.

Майор только глянул на него в ответ очень нехорошим взглядом.

Еще одно важное дело предстояло полковнику в этот день: осмотр новой экипировки в блоке, где приводилась в исполнение высшая мера пресечения преступной деятельности. Спустившись на один из подземных уровней Лубянки, он прошел системой коридоров к ничем не примечательным дверям, за которыми как раз и находился расстрельный блок. Осужденные на казнь, разумеется, доставлялись сюда другим путем, эта дверь предназначалась для персонала. За дверью все сверкало свежей краской и чистотой. В комнате отдыха два сержанта играли в шашки. Тихо наигрывало радио — оперетта «Мадмуазель Нитуш». Пройдя метров пятнадцать по коридору, полковник оказался в собственно производственных помещениях. Все здесь было выполнено на высшем уровне. Вот просторная комната ожидания для осужденных. Отсюда по одному они будут направляться в камеру казни и располагаться лицом к стене, затылком к стрелку, который находится в специальной кабинке. Процедура почти напоминает нечто медицинское, что-то вроде рентгеноскопии. За стеклом сидит помощник, он включает рубильником вмонтированный поблизости автомобильный двигатель для заглушения выстрелов и других нежелательных звуков, в частности, пропагандных выкриков, перед которыми иные враги не останавливаются даже в последний час. Результаты работы, то есть тела, из камеры казни будут переправляться в транспортировочную комнату с пониженной температурой и там накапливаться до прибытия спецтранспорта. Транспорт подъезжает задним ходом к окну во внутреннем дворе. Из окна по наклонному желобу тела скользят прямо в кузов и затем уже транспортируются в соответствующем направлении. Осмотрев все эти помещения и приспособления, полковник Стройло остался удовлетворен: даже и в этом деле ведь следует придерживаться современных гуманитарных норм.

Он уже покинул отремонтированный расстрельный блок, когда туда привели первую партию клиентов, дюжину мужчин, собранных из разных московских тюрем. Среди них был уже знакомый нам остряк Мишанин. Он так до конца и не понял серьезности происходящего с ним приключения.

— Неплохая банька, мужики! — бодрился он в комнате ожидания. — Раздеваться, что ли?

— Сидеть, не двигаться! — рявкнул на него конвойный.

Пришел дежурный офицер. Сержанты бросили свои шашки и пошли делом заниматься.

Глава восемнадцатая. РЕКОМЕНДУЮ НЕ РЫДАТЬ!

Бабье лето ликовало над Серебряным Бором. Радостные глубинно-голубые небеса над золотыми, багряными и охристыми лиственными, над будто бы помо-

лодевшими хвойными. Ласковый ветерок проходил через рощи, словно успокаивая: все в порядке, все замечательно, несколько листочков сорвано, но это только лишь с эстетической целью, только для того, чтобы их полетом привнести в общую картину дополнительные гармонии. Чуть покачиваются паутинки, меж ними бесцельно, опять же для гармоний порхают свежие, только что вылупившиеся из обманутых куколок бабочки. Красота ненадежности.

— Или, впрочем, наоборот, — подумал вслух Леонид Валентинович Пулково.

— Ты о чем, Лё? — спросил Борис Никитович Градов.

— О красоте, — проговорил физик. — Надежна ли красота?

— С этим вопросом обратиться к нашей поэтессе, — улыбнулся Градов и тут же помрачнел, сразу вспомнив, что из трех его детей двое в тюрьме, и только одна дочка еще осталась на воле, только Нинка, к которой он и рекомендовал обратиться с вопросом о надежности красоты.

Два старых друга — на этот раз не только в смысле стажа дружбы, но и вообще два старых уже, за шестьдесят, человека — стояли на высоком берегу Москвы-реки. По реке буксирчик тащил баржу с бочкотарой. Над рекой, высоко, призрачно, будто слепые, парили два длиннокрылых планера.

— Подумать только, вот так парить без всякого мотора. — Пулково из-под ладони смотрел на планеры. — Ты заметил, Бо, нынче у молодежи какое-то воздушное помешательство. Все эти планеры, аэростаты, парашюты... Откуда только смелость такая берется?

— Смелость нынче переселилась в небеса, — саркастически заметил Градов. — На земле ею и не пахнет.

— Может быть, старая смелость отмерла, а народилась новая, нам неизвестная? — предположил физик.

— Если это так, то значит, и с трусостью произошла какая-то кардинальная метаморфоза, — сказал хирург.

Они невесело посмеялись.

— Что-то мы с тобой расфилософствовались сегодня. — Градов повернулся спиной к реке. — Пошли дальше!

Опушка рощи над рекой издавна была любимым местом для пикников. Там и сям были видны следы воскресных пиршеств — пустые бутылки из-под портвейна, водки, пива, консервные банки, яичная скорлупа, обертки шоколадных конфет, даже кожица испанских апельсинов: голодуха в стране внезапно кончилась, магазины с каждым годом заполнялись все большим набором того, что по привычке голодных лет еще именовалось словом «жратва». В траве и кустах видны были клочки газет, разрозненные буквы лишь кое-где собирались в более или менее осмысленный, и чаще всего страшный, текст: «позор пре...», «...очь грязные ла...», «Суровый приговор нар...».

— Загрязнение природы, — сказал Пулково. — Когда-нибудь это станет колоссальной проблемой.

— У нас в Серебряном Бору это уже колоссальная проблема, — буркнул Градов.

Они шли быстрым шагом по тропинке мимо дач. Как и в старые времена, энергично, до усталости моционились перед обедом.

— Впрочем, есть проблемы и поколоссальнее.

Градов глянул себе через плечо — никого — и показал тростью на одну из дач, мирные стекла которой отражали голубое небо и сосны, а также промельки сильно расплодившихся в округе белок.

— Видишь эту дачу, Лё? Помнишь такого Волкова, из Наркомтяжпрома? Неделью назад его взяли, а дачу

поставили под сургуч, предполагается конфискация. А вот эта, с другой стороны, третья в ряду, здесь жили Ярченко, его ты определенно помнишь, крупный работник Наркомфина, хоть и из выдвинутых, но ценнейший специалист, они у нас нередко бывали. После того, как его взяли, семью выбросили в тот же день, дачу заколотили. Вот там, чуть в глубине, у пруда — та же история, крупный партиец Трифонов, их Юрочка часто играл с нашим Митей в теннис и футбол... Серебряный Бор прочесывается еженощно. Похоже на то, что и моя очередь подходит. Чего еще ждать после ареста мальчиков?

Последние две фразы были произнесены с некоторой даже легкостью, не оставлявшей сомнения в том, что Борис Никитович только об аресте сейчас и думает. Да кто не думает об этом теперь, кроме меня, подумал Пулково. Только со мной происходит нечто странное, я совсем об этом не думаю в применении к себе, как будто меня не могут взять в любой день, тем более еще с моим багажом двадцатых годов, тем обыском, привозом на Лубу... Фатализмом это не назовешь, фаталисты только и думают о «фатум», а у меня лишь быт в голове, лишь мои эксперименты, доклады, мысли о поездке, о моих *главных* планах, будто никаких препятствий нет и быть не может. Странная, пожалуй, даже недостойная игра с самим собой...

Под ногами то похрустывали мелкие сухие веточки, то пружинила слежавшаяся хвоя. То и дело дорогу перебежали белки. Над забором дачи финансиста Ярченко сидел на ветке большой самец белки. Мистер Белк, подумал про него Пулково. Пройдя мимо, он обернулся. Белк сидел со своей шишкой в классической позе и напоминал Ленина, углубившегося в газету «Правда». Леонид Валентинович заметил, что и Борис Никитович смотрит на белку.

— Ишь, каков, — пробормотал он. Они переглянулись и засмеялись.

— Послушай, Бо, попробуй не думать об аресте, — сказал Пулково. — Черт их знает, у меня иногда такое впечатление складывается, что они выдергивают людей наугад, без системы. Предугадать ничего невозможно, это просто как рой шальных пуль. Совсем не обязательно, что одна из них попадет в тебя. Попробуй постоянно переключаться на другие дела, у тебя ведь их немало, а если об арестах, то только о мальчиках, как им помочь, о соседях, обо всех, кроме себя. Понимаешь? У меня почему-то это получается.

Пока он это говорил, Градов задумчиво смотрел себе под ноги, потом спокойно, без всякого надрыва произнес:

— Может быть, ты думаешь, что я опять праздную труса? Как тогда, в 1925-м? Нет, сейчас этого нет...

Пулково глянул через плечо. Сзади не было никого, кроме большого белки, увлеченного своим делом.

— Ну, а кроме всего прочего, Бо, вожди стареют, им нужны врачи, а ведь ты считаешься там именно тем, кем являешься, — крупнейшим хирургом, да и вообще чудодеем, целителем. Ты просто нужен им!

Градов пожал плечами.

— Это вовсе не гарантия. Профессора Плетнева они тоже считали чудодеем-исцелителем, однако объявили отравителем Горького. Ребятам моим мое положение в кремлевской медицине пока ничем не помогло. Ты знаешь, Лё, в верхах происходит что-то чудовищное, какой-то критический перекося, какая-то злокачественная лейкемия... Третьего дня Александр Николаевич, ты знаешь, о ком я говорю, рассказал мне зловещую историю. Собственно, он никогда бы мне ее не рассказал, если бы не графин агашиной настойки, который мы с ним вдвоем усидели. Вдруг расплакался и начал выкладывать. Помнишь внезапную кончину Орджоникидзе? Александра Николаевича

ча, когда это случилось, вызвали для подписания протокола. Вместе с шестью другими крупнейшими величинами, в самом деле замечательными врачами, как бы к ним по отдельности ни относиться, Александр Николаевич осматривал тело, и все они своими собственными глазами видели пулевое ранение в виске, и все они подписали заключение о том, что смерть наступила в результате паралича сердца. То есть, не произнеся ни слова возражения, сделали то, что от них потребовали. Никаких дополнительных вопросов не возникло, после чего их всех развезли по домам, предупредив, что они имели дело с важнейшей государственной тайной. Позволь мне тебя спросить, Лё, это что, тайна государства или... — Он остановил друга и прошептал ему прямо в ухо: — ...или преступной шайки?

По коже Пулково поползли мурашки.

— Как же ты избежал этого, Бо? Должен признаться, что я и тогда был удивлен, не найдя твоего имени в синклите.

Градов, опустив голову и скрестив позади руки, пошел вперед.

— Понимаю, о чем ты говоришь, — сказал он. — Вот так получилось, тогда, в 1925-м, не избежал, а сейчас избежал. По правде говоря, это Мэри меня спасла. Завесила шторы, заперла кабинет, всем говорила по телефону и приезжающим: Бориса Никитовича нет, он в Ленинграде или в Мурманске, точно на данный момент неизвестно. Конечно, если бы я был на консилиуме, я бы тоже подписал, в этом нет никаких сомнений, но... но я сейчас не об этом, Лё, не о нас, слабых и грешных... Впрочем, что там, никто не может сделать ничего...

Некоторое время они шли молча. Сквозь прозрачные вуали «бабьего лета» вдруг прошла струя резко холодного, то есть настоящего ветра. Она взвихрила лесной мусорок на тропинке и реденький ковылек на головах двух друзей.

— Эх, Бо, дорогой ты мой Бо! — вдруг произнес Пулково, и Градов даже чуть споткнулся от удивления: такие эпитеты не были приняты в их полувековой сдержанной дружбе. Леонид Валентинович тут же, конечно, понял, что нарушил стиль, как-то неловко переменял ногу, заговорил с какой-то чуть ли не мальчишеской небрежностью. Звучало это тоже не очень естественно, но, в общем, он понемногу выбирался из своего сентиментального ляпа.

— Ты знаешь, я тебе всегда завидовал, что ты врач, что ты так здоровски... — даже устаревшее гимназическое словечко употребил, — ...так здоровски своим делом занимаешься и дело у тебя по-настоящему полезное, практическое, а я в бесконечных отвлеченных экспериментах погряз...

— А сейчас уже не завидуешь? — усмехнулся Борис Никитович.

— Сейчас я хотел бы, чтобы ты был физиком и работал со мной в одном институте.

— Это почему же? — изумился Градов.

— Потому что мне стало иногда казаться среди нынешней чумы, что моя наука дает какую-то странную гарантию. Пусть небольшую, ограниченную, но все-таки гарантию. Помнишь мой разговор с Менжинским десятилетней давности? Так вот, сейчас вопрос свехоружия волнует их там в сто раз больше. Что-то, но разведка у них поставлена на широкую ногу...

— У кого «у них»? — спросил Градов.

— «У них» в смысле «у нас», — поправился Пулково и продолжил: — ...и разведка приносит все больше и больше информации о ядерных исследованиях в Великобритании, Германии и в Северо-Американских штатах. Они просто ужасно боятся отстать от Запада. С моей точки зрения, бояться пока еще нечего, для производства атомного оружия нужно подойти к цеп-

ной реакции деления, для этого придется накопить колоссальное количество составных элементов, нужна, скажем, такая фантастическая вещь, как «тяжелая вода», ну, в общем, об этом можно говорить часами, но... но если вдруг в исследованиях произойдет какой-то решительный поворот, а он не исключен, потому что там работают гении физики, тот же Эйнштейн, тот же Бор или хотя бы молодой американский парень Боб Оппенгеймер, тогда СССР может оказаться безоружным, и ему ничего не останется, как капитулировать!

— Страшно! — вскричал Градов. — Что ты такое говоришь, Лё? Что за ужас?!

Пулково как-то странно посмотрел на друга, ужаснувшегося возможности капитуляции СССР, улыбнулся и пожал плечами.

— Ну, это все из области теории, Бо, ты же понимаешь. Кто капитулирует, перед кем... сам черт ногу сломит в нынешней политической обстановке. Главное, что я хотел сказать: мы, физики атомного ядра, сейчас окружены колоссальной «отеческой заботой» партии. Нам в пять раз увеличили жалованье, осыпают привилегиями. Приезжают из ЦК, из НКВД, бродят в лабораториях, приговаривают: «Работайте спокойно, товарищи», — едва ли не чешут за ухом. «Если есть какие-нибудь просьбы, пожелания, немедленно высказывайте». Можешь себе представить, мне даже разрешили двухмесячную командировку в Кембридж...

В этот момент Градов споткнулся уже основательно, ибо крутануло в голове.

— В Кембридж, Лё? Ты хочешь сказать, что едешь за границу, в Англию, Лё?

Пулково крепко взял его под руку.

— Да, Бо, я уезжаю через два дня, и это вот как раз то самое главное, что я хотел тебе сегодня сказать. Я не могу себе этого представить, Бо, мне стыдно, что я уезжаю в эти страшные дни, но ведь я двенадцать лет об этом и мечтать не смел! Увидеть их обоих!

— Их обоих, Лё? — Ошарашенный Градов едва ли мог продвигаться дальше. — Кого это «их обоих»?

Они сели на распиленные и приготовленные к вывозу бревна, и Лё поведал Бо свою сокровенную тайну. В 1925 году в Кембридже у него вдруг разгорелся роман с молодой немкой Клодией, ассистенткой Резерфорда. Клодия, то есть по-нашему Клава. Удивительная девушка, научный потенциал на уровне Марии Склодовской-Кюри, а внешностью не уступала Мэри Пикфорд. Ей было в ту пору 25, а старому греховоднику — как ты, мой праведный однолетка и патриарх семьи, конечно, помнишь, — было уж полвека.

Ничего прекрасней этого романа в моей жизни не случалось, Бо. Разница в возрасте придавала ему какой-то поворот, от которого мы оба сходили с ума. Мы ездили в Париж и жили там в дешевой гостинице в Латинском квартале. Мы как-то замечательно тогда с ней выпивали и танцевали. Общались на смеси ломаных языков, «осквернение лексики», как она говорила, но получалось замечательно. Потом мы еще ездили в осенний Брайтон, часами шатались там по пустынным пляжам, писали формулы на песке... Да что там говорить!

Он уехал и стал ее с грустью забывать, предполагая, что и она его с грустью забывает. Оказалось же, что он ей оставил весомый и все прибавляющий в весе сувенир. В 1926-м она родила мальчика! Пулково узнал об этом случайно от одного общего друга, которому, собственно говоря, ничего не было известно об их романе. Он написал Клодии — ты помнишь еще те времена, можно было переписываться с заграницей — и спросил, разумеется, косвенно, не впрямую: не следует ли ему считать себя отцом ребенка. Она ответила, что именно он и является отцом, но это его ни к чему не обязывает, он может не волноваться, Алек-

сандр — как понимаю, она специально выбрала такое международное имя — будет воспитан ею и ее родителями. Женщина удивительного такта и достоинства!

В 1927 году они обменялись несколькими письмами, он стал уже думать о заявлении на повторную командировку, но в это время началась слежка. Больше всего он боялся, что в ГПУ заговорят о его любимой и о сыне.

— Инкриминировать связь с иностранкой тогда еще не могли, все-таки нэп еще шел, но само упоминание их имен в этом учреждении наводило на меня ужас. Оказалось, что чекисты ничего не знали, иначе Менжинский, конечно, не упустил бы возможности хоть немного пошантажировать. Они и сейчас, конечно же, ничего не знают. Разве бы дали добро на поездку, если бы знали, что у меня в Англии семья? Собственно говоря, никто в мире об этом не знал до сего момента. Теперь знаешь ты, Бо. Уже в том же двадцать седьмом я написал ей последнее письмо и дал понять, что переписку следует прекратить. Зная ее, я представлял, что она следила за ситуацией в России и понимала, к чему у нас все идет. Вот так эти годы и прошли. Иногда появлялся наш общий друг, он пользуется здесь репутацией «прогрессивного иностранца» и в друзьях у него не только мы, но и весь СССР, передавал от нее приветы. От него я узнал, что ее родители эмигрировали из Германии — у них в родословной есть евреи, — и сейчас они живут все вместе под Лондоном, то есть Сашино детство проходит в семье, среди любящих людей. В прошлом году этот друг привез мне от нее журнал с текстом ее выступления на семинаре по элементарным частицам, но самое главное содержалось не в выступлении, а в ... вот, Бо, смотри...

Страшно волнуясь, Пулково вытащил из кармана плаща свернутый вдвое выпуск научного журнала. Там среди убористых текстов, формул и диаграмм имелась небольшая фотография «Группа участников семинара на вилле Грейс Фонтэн». Персон около десяти ученых расположились в плетеной мебели на типичной английской лужайке. Среди них была одна женщина. Сходства с Мэри Пикфорд Борис Никитович в ней не нашел, но, парадоксально, нашел что-то общее со своей Мэри в молодые годы. Самое же потрясающее состояло в том, что на заднем плане, возле террасы, можно было различить мальчика лет десяти и заметить у него под ногой футбольный мяч.

— Это он, — едва ли не задыхаясь, прошептал Леонид Валентинович. — Уверен, что это Саша. Ему столько же лет, сколько Борису Четвертому. Конечно же, для того она и послала этот журнал, чтобы я увидел сына. Посмотри, Бо, ты видишь, какой мальчик, волосы на пробор, носик кругленький, вся фигура... Ну, что скажешь?..

— Он, действительно, на тебя похож, — произнес Градов то, чего от него так страстно жаждал услышать Пулково.

Старый физик мгновенно просиял. Даже и в студенческие романтические годы Градов никогда не видел своего друга в таком коловороте эмоций. Он и сам неслыханно волновался. Этот Пулково, от него всегда ждешь неожиданностей, но такое! Завести себе семью в Англии, ну, знаете ли!

— У меня в кабинете есть великолепная лупа, — сказал он. — Сейчас мы рассмотрим твоего Сашу.

Они встали. Некоторое время шли в молчании. Показались уже крыша и мансардные окна градовской дачи. Борис Никитович вдруг остановился и заговорил, не глядя на Пулково:

— Как я понимаю, мы больше уже никогда не увидимся... во всяком случае, в этой жизни. Я хочу тебе сейчас сказать, Леонид, только одну, может быть, самую серьезную в моей жизни вещь. Мы с то-

бой никогда не говорили напрямую о событиях двадцать пятого года, об операции наркома Фрунзе. Так вот, невзирая ни на что, я остался и всегда остаюсь честным врачом. Понимаешь? Таким же русским врачом, какими были мой отец и дед...

Безупречный и сдержанный денди, профессор физики, после этих слов резко обнял Бориса Никитовича и затрясся в рыданиях. Он бормотал:

— Бо, мой любимый... мой единственный друг... мой ближайший...

При большом пристрастии к словечку «мы» советская интеллигенция часто попадала впросак. Не скажешь ведь «мы проводим чистки», если самого тебя вычищают, «мы боремся с так называемыми врагами народа», если ты вдруг и сам оказываешься так называемым врагом. В последние дни Борис Никитович на теме «мы — они» почему-то заклинился. Относя себя с полным правом к «старорежимщикам», он обычно употреблял «они» по отношению к власти, но вдруг вот в разговоре с Пулково резануло, когда тот сказал: «Что-что, а разведка у них»... Чисто логическое недоумение — у кого это у них, у Запада, что ли, или у нас, СССР? Ага, тут дело не только в логике, ты уже отождествляешь себя с этим государством. На тебе сказались их оглушающая тотальность. Ты уже и ворчишь, даже и яростью пылаешь в адрес «нас», а не в «их» адрес. Позвольте, говоря «мы», я имею в виду не режим, даже не государство, но общество, Россию в конце концов. Однако припомни, говорил ли ты так когда-нибудь при старом режиме, при «гнилом либерале» Николае Романове? Ты всегда отделял «их» — царя, охранку, чиновников. Здесь же, признайся, произнося «мы», ты подсознательно включаешь сюда все, и, может быть, в первую очередь Сталина, политбюро, чеку, хоть и терпеть их всех не можешь...

В отчаянии он думал: ну, как же я могу говорить «мы» и включать в это понятие тех, кто арестовал моих мальчиков? В ужасе он представлял своих ребят в чекистской тюрьме. В городе ходят глухие слухи, что там применяются страшные пытки. Нет, все-таки это уж чересчур, у нас этого быть не может; у «нас»...

Сам он давно уже приготовился. Втайне от Мэри собрал себе чемоданчик «на отправку» — смену белья, свитер, умывальные принадлежности, — спрятал его в нижнем ящике стола в кабинете. В Первом медицинском, где он вел кафедру, уже прошла серия арестов. Брали пока из второго эшелона. То же самое происходило в Военно-медицинской академии. Ведущие профессора пока что не пострадали, но все ждали, что скоро и до них дойдет очередь.

— Ждете, батенька? — спросил его на днях старый Ланг. — Что касается меня, то я просто лишь гадаю, куда раньше отправлюсь — на Лубянку или в более отдаленные пределы, куда они уже не доберутся.

Самое мучительное было дело — смотреть на Мэри. За несколько месяцев она постарела на десять лет, забыты уже были гордые позы, бурные выходы, стаккато эмоций, давно уже она не прикасалась к роялю. Было видно, что она ежечасно, ежеминутно думает о Никите, о Кирилле, о внуках, о разрушающемся очаге, которым обычно так гордилась. Волна какой-то решительности иногда проходила по ее лицу, сменяясь выражением беспомощности и простоватости, которые Борис Никитович так обожал.

Дом погрузился в оцепенение. Даже старенький, хоть вполне еще мощный Пифагор реже увязывался за мальчишками в сад, предпочитая сидеть рядом с Мэри или, по крайней мере, на кухне возле Агаши. Последняя не заводила больше тесто для своих сокрушительных, всеми столь любимых пирожков, и даже банки с вареньями и соленьями на зиму закатывала без

прежнего энтузиазма. Слабопетуховский, успевший за это время жениться на дочери начальника управления милиции и обзавестись даже детками, дружбы с Агафьей и её граненым графинчиком не прекратил. Часто он являлся теперь сумрачный, сидел на кухне, сообщал Агаше, что в «сферах» о градовской даче говорят нехорошее, уже как бы прикидывают, как ею распорядиться в недалеком будущем.

— Что же ты посоветуешь, Слабопетуховский, что же посоветуешь? — отчаянно вопрошала Агаша.

— Нечего тут советовать, — сумрачно отвечал Слабопетуховский. — Моя информация на них сейчас не влияет. Сходите в церковь да свечку поставьте, вот и весь совет.

Вероника после нескольких недель полупрострации стала понемногу приходить в себя. Каждые два дня она отправлялась на Лубянку навести справки о муже. Всякий раз она получала один и тот же ответ: «Следствие продолжается, передачи и свидания не разрешены». Очереди к этим окошечкам, за которыми сидели энкаведешные люди-автоматы, были невыносимы. Широколицые, мыльного цвета, не поймешь какого пола люди-автоматы. Никогда не знаешь, есть ли у него на самом деле какие-нибудь сведения или просто так отбредывается. Никакие улыбки на них не действуют, как будто оскопленные там сидят.

Что касается более широких слоев мужского населения Москвы, то они, несмотря ни на что, как и раньше, не оставались равнодушными к явлениям Вероники. Иные представители так просто вздрагивали при виде ее, как будто к ним приближалась воплощенная мечта жизни. При всем трагизме своего положения Вероника не разучилась наслаждаться любимой столицей. Пройтись по Кузнецкому, по Петровским линиям, «произвести впечатление» — в этом всегда было «нечто», и сейчас в этом осталось «нечто». Никита ее прекрасно понимал и никогда не упускал возможности взять свою любимую с собой в командировку, в Москву. Уж он-то знал, что она не из дешевых, и если иногда позволяет себе кокетничать с мужчинами своего круга, то никогда на дешевые трюки не пойдет. Мужчин «своего круга» она и сейчас безошибочно угадывала в московской толпе и даже позволяла иным из них приближаться. Увы, только они узнавали, что она жена того самого комкора Градова, как их тут же ветром сдувало. Однажды даже знаменитый и бесстрашный пилот Валерий Чкалов предложил подвезти ее в своей машине до Серебряного Бора, однако, узнав, кто она такая, тут же позорно засуетился, заторопился куда-то и пересадил ее на трамвай. То же самое происходило и на теннисном корте. Едва она появлялась, как все ее старые партнеры начинали безумно торопиться.

Мужчины в этой стране вырождаются, некому будет воевать.

Может быть, и в самом деле рискованно было сыграть с ней пару сетов на серебряноборском корте? Вот, например, член Инюрколлегии Морковьев осмелился, элегантно продулся и на следующий день исчез. Впрочем, часть партнеров и без ее вмешательства давно уже отправилась в места не столь отдаленные.

Что же, всех храбрых и честных пересажуют, кто же будет воевать против империализма?

Вероника стала больше времени проводить с детьми, особенно с Верочкой, нежнейшим Божьим созданием, собирательницей гербария и неутомимой рисовальщицей. С Борей трудно было проводить больше времени, потому что он ей этого времени не давал, после уроков вечно застревал в школе, в каких-то авиамodelьных кружках, или вдвоем с Митей они отправлялись на стадион.

В школе с ними сначала были неприятности. Однажды мерзкая училка математики стала его при

всех распекать за плохо сделанные домашние уроки, за списанную у соседа по парте задачку и вдруг возопила, направив на одиннадцатилетнего мальчика карающий перст: «Теперь всем нам видно: каков отец, таков и сын! Яблоко от яблони недалеко падает!»

Борис IV пришел домой, захлебываясь от яростных слез. Вероника рванулась в школу забрать его документы. Директор, однако, убедил ее не делать этого: Борю все любят, он прекрасный футболист, давайте забудем этот плачевный эпизод, наш сотрудник перестарался, ведь сам товарищ Сталин подчеркивал, что «сын за отца не ответчик», давайте просто переведем Бориса в параллельный класс. Впервые в глазах постороннего человека Вероника прочла почти неприкрытое сочувствие. Трудно было удержаться от слез.

Словом, Боренька продолжал ходить в пятый класс той же школы на Хорошевском шоссе, где в восьмом классе обучался его ближайший друг и приемный кузен Митя, бывший Сапунов, почти уже забывший свою первородную фамилию в градовском клане. Несмотря на разницу в возрасте, мальчики были едва ли не безразлучны, вместе по авиамodelям, вместе на велосипедах, вместе на корте в ожидании сумерек, в ожидании, когда взрослые игроки разойдутся, чтобы успеть перекинуться хотя бы десяток раз почти уже невидимым мячом. «Игроки сумеречного класса», — иронически назвал их, да и себя самого, еще один их приятель и бывший сосед Юра Трифонов.

— Вот подрастем, Борька, и тогда мы им покажем, гадам, — однажды сказал Митя, прервав разыгрывание этюда Капабланки. Борис IV немного огорчился: он думал, что выигрывает, а оказалось, Митя думает совсем о другом.

— Кому? — спросил он.

— Коммунистам и чекистам, — твердо сказал Митя. — Тем, которые наших батек загубили. Ух, как я их ненавижу!

— А Сталина? — тихо спросил Борис IV.

— Сталин тут ни при чем. Он ничего не знает об их делах, — уверенно рубил Митя. — Он великий вождь, вождь всего мира, понимаешь? Он не может знать обо всем. Его обманывают!

Их школа участвовала в ноябрьской демонстрации, и они вдвоем шли в рядах авиакружка, несли над головами свои модели. С приближением к Красной площади обоих мальчиков охватывало все большее, почти ошеломляющее волнение, а когда появился мавзолей и на нем отчетливо видное ярко-серое пятно Сталина в шинели, немыслимый триумф, ликование, какое-то запредельное счастье охватило их и слилось воедино с многотысячной ликующей толпой. Он там, он на месте, в главной точке страны, а значит, все будет в порядке, отцы вернутся, и справедливость будет восстановлена! Вот сейчас прикажи он мне умереть на месте, думал Борис IV, и не колеблясь — на пулеметы, на колючую проволоку, с торпедой под водой взрывать фашистский линкор! И с Митей, бывшим кулацким отродьем, творилось что-то похожее.

— Вот погоди, погоди, Борька, — шептал он, — вот вырастем и дадим Сталину знать, кто ему друг, а кто враг на самом деле!

Митя давно уже считал себя неотъемлемым членом градовской семьи и в глубине души матерью своей полагал Мэри Вахтанговну, а не взбалмошную, неряшливую Цицилию, свою, так сказать, мать по закону. После ареста Кирилла Цицилия как-то стремительно опустилась, перестала даже причесываться, стирать рубашки, частенько от нее как-то резко и отталкивающе пахло, и это был запах беды, неизбежного горя и распада. Для Мити стало сущей мукой бывать «дома», то есть в их маленькой комнатенке, коммунальной норе на пятом этаже так называемого «Делового двора» на Варварке, где эта женщина часа-

ми сидела за книгами, не произносила ни слова и вдруг начинала тихонько всхлипывать и скулить, глядя невидящими глазами на свой любимый бюстик Карла Маркса, что стоял у стены прямо под картой мира, кудрявой головой как бы подпирая ледяную подушку Антарктиды. Потом неожиданно она вскакивала.

— Почему, почему ты все время хочешь туда? Ты мой сын, ты должен быть со мной! Ты голоден? Хочешь, сварю тебе суп?!

Она бросалась на коммунальную кухню разжигать примус, ломала спички, бестолково качала керосин, ничего не получалось, обжигала себе руки. Соседи грубо хохотали над гримасами «еврейки», Митя упрашивал:

— Тетя Циля, не надо мне супа. Дай лучше денег, я булку куплю и ливерной колбасы.

Супы Циции — опусы абсурда. Дед Наум, ее отец, пожимал плечами: «У нашей Цильки взрослый ребенок? Это же парадокс века».

Наконец приезжала Мэри, одна или с дедом Бо, и Митя отправлялся в свои родные края, где по ночам над большим и теплым домом раскачивались и гудели сосны, где бродил любезный друг Пифагор, где по утрам так радостно пахло свежими творожниками, где наконец был Борька IV, появившийся на свет, как все здесь говорили, для возобновления династии.

Кажется, именно Митя первый увидел, как подъехала к их воротам «эмка» с туго задернутыми шторами в боковых окнах. Он сам не знал, что его разбудило среди ночи. Был сильный ветер, сосны шумели, и вряд ли мотор легкового автомобиля был различим сквозь этот гул. Он глянул в окно и увидел, как в качающееся световое пятно фонаря въезжает кургузая каретка и останавливается прямо напротив их ворот.

Впрочем, может быть, и не Митя первым увидел чекистскую машину, а сам дед Бо, которого уже несколько ночей кряду мучила бессонница.

— Вот они, приехали, — прошептал он, как ему потом казалось, даже с облегчением и стал влезать в халат, чтобы открыть дверь долгожданным гостям. Мэри уже стояла за его спиной, как будто тоже не спала, а ждала.

Из машины не торопясь выгружалась ночная команда: мужчина в военной фуражке и в штатском пальто, надетом на форму, женщина в кожаном пальто и в мужской, хотя и по-дамски заломленной, кепке, младший командир со служебной овчаркой на поводке.

— Господи, собака-то зачем, чего вынюхивать? — пробормотал Градов.

Младший командир знающим жестом просунул руку через штaketник, оттянул щеколду калитки, пустил собаку и проследовал за ней. Мужчина и женщина прошли вслед.

Не торопясь, они приближались, в точности как персонажи кошмара. Собака не отвлекалась на запахи леса, которые вскружили бы голову любому нормальному псу.

Борис Никитович обнял жену.

— Ну, вот видишь, и за мной все-таки приехали.

Урожденная Гудиашили вспыхнула и протряслась в последней грузинской отчаянной ярости.

— Я не пущу их в мой дом! Иди, звони Калинину, Сталину, хоть черту лысому!

Борис Никитович поцеловал ее в щеку, погладил по плечу.

— Перестань, Мэри, милая! Судьбу не обманешь. В конце концов врачи и там нужны. Глядишь, и выдюжим. Если не будет конфискации, постарайся поскорее продать дачу и переехать к Галактиону, в Тифлис.

А сейчас... там в кабинете, в нижнем ящике стола... маленький баульчик... я приготовил на этот случай...

Трясучка оставила Мэри. Сгорбившись, она отшатнулась от мужа и прошептала:

— Я давно уже знала про этот баульчик и еще шерстяные носки тебе туда положила...

Внизу уже звонили в дверь, один раз, другой, третий, потом послышался резкий наглый стук кулаком и сапогом, крики: «Открывайте! Открывайте двери немедленно!». Градовский дом в панике просыпался. Залаял Пифагор, прошелестела Агаша, прогрохотали сверху ребята. Борис Никитович решительно прошел к дверям, еще в халате, но уже в брюках и ботинках.

— Кто же это, Борюшка, в такой-то час? — прошептала Агаша. — Али на операцию тебя опять потащут?

Он отворил дверь и удивился выразительности открывшихся перед ним лиц. Что угодно было в них, но только не безучастность. Казалось, они еле сдерживаются, чтобы не завизжать от упоения жизнью. Это были не просто специалисты ночного дела, но явные энтузиасты и большие ценители своей неукоснительной и безжалостной власти. Единственным бесстрастным профессионалом в группе была сука одной с Пифагором породы, и, только глянув на нее, старый пес заскулил в тоске и задом стал отползать назад, пока не забрался в кухне под кушетку.

— Мы из НКВД, — сказал старшой в пальто. — У нас ордер на арест...

— Входите, — быстро проговорил Градов. — Я готов.

Много раз прорепетировав в уме эту сцену, он решил не выказывать никаких эмоций, как будто не с людьми имеет дело. Даже презрения они от него не увидят. Как будто роботы-могильщики явились, а не живые существа.

Старшой усмехнулся. Он, очевидно, сталкивался и с такими, стойкими. Он был явно не робот. Ему нравилось смотреть, как кривляются беспомощные человеки, заподозренные в грязнейшем сифилисе — государственной измене.

Группа прошла внутрь. Старшой быстро оглядел всех присутствующих. Повернулся к Борису Никитовичу и снова усмехнулся с каким-то возмутительнейшим презрением.

— Не беспокойтесь, профессор Градов. Мы не за вами. У нас ордер на арест гражданки Градовой Вероники Александровны, вашей невестки.

— Мамочка! Мамочка! — совсем по-детски закричал Борис IV.

Вероника, только еще спускавшаяся по лестнице и завязывающая халат, разом села на ступени, уронила руки и голову.

— Вай! — на грузинский манер воскликнула Мэри и бросилась к Веронике.

Заплакала проснувшаяся в маминой спальне Верулька. Запричитала Агаша. Плечи Вероники содрогнулись. Послышались какие-то странные басовитые, казалось бы, совершенно не присущие ей рыдания.

Чекистка в кожанке вышла вперед и голосом опытного режиссера подобных действий возгласила:

— Всем проживающим на данной жилплощади надлежит собраться внизу, в столовой. Рекомендую не рыдать! Москва слезам не верит. Сейчас придут понятия, и начнем обыск.

Чекист с собакой криво улыбнулся Агаше:

— По-буржуйски тут живете, я погляжу! — Он заглянул под кушетку на съездившегося Пифагора. — Животное свое заприте где-нибудь в чулане, а то может и неприятность произойти. — И выразительно похлопал по кобуре своего пистолета.

Борис Никитович был совершеннейшим образом ошеломлен и потрясен. Ни малейшей, даже самой

подсознательной радости от того, что «не за ним», а за кем-то другим, от того, что остался на свободе, он не испытывал. В отличие, надо сказать, от Мэри, которая потом бесконечно казнилась, что в первом ее «вай», наверно, слышалась произвольная радость, все-таки ее самого близкого человека вдруг миновала чаша сия, в отличие от нее он был просто уничтожен таким поворотом. Удар, которого он столько ждал и был готов принять как мужчина, как деятель науки — твердой походкой русского врача по мученической тропе, пока не упаду, — этот удар вдруг направили на незащитное, нежное существо, на ни в чем не повинную — как будто сам он в чем-то действительно был повинен — женщину! Тут уж ни о какой сдержанности, даже в адрес этих подлых роботов, речи быть не могло, он клокотал от ярости.

— На каком основании вы забираете не меня, а беззащитную женщину?! — вдруг закричал он на старшего.

Старшой сел к обеденному столу, разложил перед собой бумаги, нехорошо глянул на дрожащего старика.

— Вы бы лучше на нас голос не повышали, профессор. Ваша невестка проходит как соучастница по делу вашего сына Градова Никиты Борисовича. Давайте к делу. С какого времени проживает с вами гражданка Градова Вероника?

Пришли в сопровождении милиционера понятия. Ими оказались киоскерша с трамвайного кольца и... не кто иной, как товарищ Слабопетуховский. У последнего на лице мрачно уже отразились превратности его жизни. Весь обыск он молча просидел в углу, словно истукан с острова Пасхи.

На процедуру задержания ушло часа два-три. Поскольку гражданка Градова В. А. проживала не отдельно, а как бы во всем этом доме, обыску подлежал весь дом, однако идиотский этот обыск был проведен только лишь для проформы. Сержант со служебной собакой прошел для чего-то по всем комнатам. Собака явно не понимала, чего от нее хотят, нервничала, то приседала на лапы, тормозила без причины, то куда-то бессмысленно устремлялась. Чекистская баба прошуровала библиотеку, опять же ничего относящегося к делу там не нашла, кроме каких-то фотоальбомов, где молодой Никита попадался на снимках в компании с другими командирами РККА.

— Не смейте трогать! — закричала Мэри Вахтанговна. — Это наши! Это не ее и не его альбомы! Наши! Мои и мужа, заслуженного врача РСФСР, трижды орденосца! Руки прочь!

Перекосившись как бы от брезгливости, чекистка швырнула ей альбомы назад, но затем взялась уже за дело основательно: составлялась опись личного имущества Вероники, то есть ее туалетов, совершивших немалый путь по дорогам двадцатого века из парижских магазинов в московские комиссионки, оттуда — на дальние рубежи социалистической державы и обратно в Москву в полной готовности снова повиснуть на комиссионных плечиках. Здесь были вещи, вызывавшие ярость чекистской бабы: шифоны, крепдешины, меховая шуба, теннисные ракетки, флаконы французских духов. Будь ее воля, за одни уже эти вещи поставила бы дамочку к стенке, сперва, конечно, как следует пропустив через ребят и девчат. В добавление к «шмотью» тут были опять же личные вероникины фотоальбомы, пачки писем — какого черта они эти старые письма, да еще с засушенными крымскими цветочками, хранят? — ну и самое главное: сберкнижка и аккредитивы на изрядную сумму.

Старшой все это хозяйство аккуратно переписал.

— Вопрос о личном имуществе будет решен позднее, пока что мы концентрируем все это в комнате задержанной и комнату эту печатаем.

При слове «опечатаем» у Бориса IV расширились

глаза. Он поймал себя на том, что процедура растапливания сургуча и приклеивания пломбы с печатью вызывает у него жгучее любопытство.

Вообще следует сказать, что все события последнего времени, аресты отца и дяди и вот теперь — матери, то есть катастрофический развал семьи вызывал не только горе и уныние в душе мальчика, но и какое-то странное возбуждение, острейшее чувство новизны жизни. Он иной раз воображал уже себя отпетым бродягой, тертым пареньком, вроде героя Джека Лондона, что подался к устричным пиратам и промышлял с ними в заливе Сан-Франциско.

Вдруг он вздрогнул, услышав свое имя, произнесенное каким-то невероятным образом самим командиром отряда, хранителем сургуча.

— Градовы Борис Никитович, одиннадцати лет, и сестра его Вера Никитична, шести лет, временно, до особого распоряжения, остаются под опекой деда и бабки. Вот здесь распишитесь, профессор.

— Что значит «временно»?! — вскричала Мэри, как раненая орлица. — Что значит «до особого распоряжения»?! Они всегда останутся с нами! До конца наших дней!

— Этот вопрос будет рассматриваться, — сказал старшой. — Не исключено, что государство возьмет их под свою опеку.

— Через мой труп! — возопила Мэри.

— Ты... — сказал старшой и внимательно посмотрел на нее, как бы давая понять, что при таких нервах у гражданки вполне возможен и названный ею вариант.

— Мэричка, успокойся! — Профессор обнял жену. — Детей мы им не отдадим ни в коем случае. Завтра же подаем заявление об усыновлении Бобки и удочерении Верули.

— Гы-ы-ы, — вдруг обнажил зубы проводник служебной собаки.

— В чем дело, Епифанов? — строго повернулся к нему старшой.

— Да я так, товарищ майор. Просто подумал, что ребята-то будут не «Никитичи», а «Борисычи»...

— Ну, все, — сказал старшой. — Прощайтесь с родственниками, Вероника Александровна! — Он встал и вдруг поймал на себе взгляд подростка Дмитрия Кирилловича Градова, бывшего Сапунова, 1923 года рождения, взгляд, полный окончательной, непримиримой ни при каких обстоятельствах ненависти. Вот таких надо было бы брать, подумал старшой. Вот такие будут нас убивать, если что. Вот такие нас будут кончать всех до последнего младшего чина.

Мэри и Вероника сошлись в объятиях и залились слезами. Да неужели же когда-то существовало соперничество между двумя этими женщинами?

— Вероника моя, ласточка моя, голубушка моя...

— Ну, хватит сюсюкать, — сказала чекистская баба. — Пакости делать не сюсюкают, а сейчас рассюсюкались!

Вероника вытерла слезы и вдруг предстала перед всеми в совсем неожиданном, строгом и собранном образе.

— До свидания, дети, не бойтесь ничего. Вокруг не только звери, есть и люди. Боба, присматривай за Верулей. Митя, я тебя прошу позаботиться о моих детях. Дети, слушайтесь и берегите бабушку и дедушку. До свидания, Мэричка родная. До свидания, милый Бо. Передайте мой поцелуй Нинке, Савве и Леночке. Подготовьте к новости моих родителей. До свидания, Агашенька, всегда тебя буду помнить. Будьте здоровы и вы, Слабопетуховский!

— Будьте здоровы, дорогая и любимая Вероника Александровна! — твердо вдруг произнес Слабопетуховский. Grimаса прошла по его лицу, словно трещина по камню.

(Окончание следует.)

Ведущий критик Джон Рассел, патриарх западного искусствоведения, автор монографий о скульпторе Генри Муре и других классиках мировой культуры, многие годы является художественным обозревателем крупнейшей американской газеты «Нью-Йорк таймс». Сегодня мы предлагаем читателям фрагменты из его обширной статьи, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» этим летом и посвященной видеомам Андрея Вознесенского. Статья иллюстрирована большой репродукцией видеомы «Есенин и Айседора». Надеемся, что Джон Рассел еще не раз будет на страницах «Юности».

Джон РАССЕЛ

РУССКИЙ ПОЭТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ВИД ПОЭЗИИ

Когда Андрей Вознесенский приезжал этой зимой в нашу страну читать курс лекций в Пенсильванском университете, в нем ощущался духовный подъем. Среди того ужасного, что происходит ныне в Советском Союзе, он, как и не раз до этого, явил не только дар поэта, но и пример гражданской позиции. Это же он демонстрирует нам сегодня в своем новом искусстве.

Когда его пригласили выступить в Прибалтике, то поэта мог ожидать далеко не радушный прием: мол, кто он, этот русский поэт, осмеливающийся читать свои стихи на русском языке перед тысячами людей, которые враждебны даже самому понятию «Советский Союз»? Но как только прочитаны первые строки — слушатели встали со своих мест и восторженно зааплодировали. (А надо сказать, что Вознесенский — один из величайших чтецов всех времен. Когда около тридцати лет назад он участвовал в одной и той же концертной программе с Лоуренсом Оливье, то ничуть не уступал знаменитому актеру.)

Совсем недавно, частично благодаря независимому издательству, двести тысяч экземпляров его новой книги «Аксиома самоиска» были мгновенно распроданы в Москве. (Этот блестящий сборник поэта, эталон художественного вкуса, одновременно был и прекрасно оформлен: и дизайн, и печать, и переплет — все было выполнено со вкусом, с которым давно уже не делались книги в Москве.)

Когда поэт приехал в Нью-Йорк, для него было новостью узнать, что строки из его стихотворения высечены в Джерси на памятнике польским офицерам, которые были зверски убиты Советской Армией в Катыни.

День или два спустя после переезда его номер в гостинице от пола до потолка стал отражением его всепоглощающей беспорядочности творческого процесса.

Но это не были обычные стихи. Это были произведения визуального искусства. Каждый дюйм его комнаты был завален заготовками для изоискусства. Это было преимущественно то искусство коллажа, в котором ОБЪЕКТЫ, изъятые из повседневной жизни, соединяясь друг с другом, образуют новую реальность.

По существу, эти объекты превращались в символические портреты тех людей, которые как-то дороги ему. Посетители узнавали деталь за деталью: вот эта подробность отсылает нас в Царское Село, недалеко от Санкт-Петербурга, где бывала Ахматова, а эта — в тюремную камеру Оскара Уайльда, где тот подорвал свое здоровье и дух, еще одна — посвящена Марселю Прусту как несравненному наставнику из прошлых времен.

Поэт — знаток смысла имен и их роли в человеческом бытии.

Порой конечный результат дает отражение, однозначное и чистое, четкое и живое. Двойной портрет Айседоры Дункан и Сергея Есенина, ее мужа, составлен из обрывков веревки в форме буквы «Е» и длинного шарфа, развевающегося в воздухе. Она парит в воздухе, следуя за ним, — так у Шагала влюбленный юноша увлекает за собой свою возлюбленную. Но в образе присутствует и куда более злобный смысл: это ведь веревка Есенина и тот шарф, которым была задушена Айседора в автомобиле.

Иногда образ создается исключительно из слов, но выходит за их пределы, обрушивая сокрушающий удар.

Известно, что поэт Осип Мандельштам был погублен Сталиным. И когда имя Сталина стоит на листе бумаги огромными бетонными буквами, а имя Мандельштама, составленное из сломанных и порванных букв, повержено под ним, нам больше не требуется для понимания уже ни субъекта, ни действия, ни ОБЪЕКТА. Мы понимали все сами.

В других случаях эпиграмма переходит в мотив скорби. Вознесенский и композитор Леонард Бернштейн были хорошо знакомы, и велись разговоры об их совместной работе над оперой. Когда «Каддиш» Бернштейна исполнялся в Московской консерватории несколько недель назад (а антисемитизм в России, похоже, жив и сегодня), Вознесенский стоял на сцене и читал текст, переведенный им с английского.

Портрет Леонарда Бернштейна многопланов. Буква «Л» превращается в дирижерскую палочку, положенную навсегда. Созвучие «burn» («гореть») и «Bernstein» — перекликается с музыкальным мотивом «горения» в «Вестсайдской истории». Семена лип, специально привезенные из России, тоже играют свою роль.

Кто может догадаться заранее, что аккуратно завязанные черные шнуры на кедах превратятся в римские цифры «XX» и это будет олицетворять уходящий двадцатый век? Или то, что кофейные зерна будут использованы в портрете композитора Прокофьева, второй и третий слоги фамилии которого произносятся, как «кофе» на многих языках? Эти же кофейные зерна превращаются в ноты.

В хаосе мира поэт находит порядок, структуру. Вознесенский творит новое искусство много лет. Много из этого искусства находится между стихотворением и образом, как было отмечено недавно итальянским литературным журналом «Leggere», в одном из текущих номеров которого была большая подборка материалов о творчестве поэта. Для тех, кто не может читать по-русски, его аллюзии порой непонятны. Но его новые работы несут в себе новую энергию, которая убеждает.

Это куда глубже, чем просто графические композиции. «В России, — говорит он, — визуальная культура никогда не соперничала с культурой слова. Но христианство утверждает себя именно через зрительное. Глаз — это парусник духа. Чтобы стать более духовным, народ обогащает себя визуальным».

Андрей Вознесенский, этот чемпион публичных чтений, в личном общении сдержан, никогда не произносит громких слов. Шумный успех и существование на публике, сопутствующие ему в течение половины жизни, не изменили его характера: тонкий наблюдатель мировой сцены, поэт находит удовольствие в обществе просвещенных собеседников и прелестных дам и может ответить на удар всегда, когда этого требует жизнь. Вот как он говорит:

«Духовность очень важный вопрос для нашей страны сегодня. Мы прожили время, в котором что-то умерло в России, прямо на наших глазах. Это область скрытой красоты, духовной общности. Частично это заложено генетически. Наш генофонд планомерно уничтожался Системой. Лучшие крестьяне, лучшие фермеры, лучшие врачи, лучшие ученые, лучшие из интеллигентов были убиты или изгнаны из страны...»

Я и во сне не могу помыслить о том, чтобы навсегда уехать из России, — говорит он. — Россия — единственная страна, для которой поэзия — основа основ. Ты не можешь покинуть ее».



«Есенин и Айседора». Видеом. 1991 г.

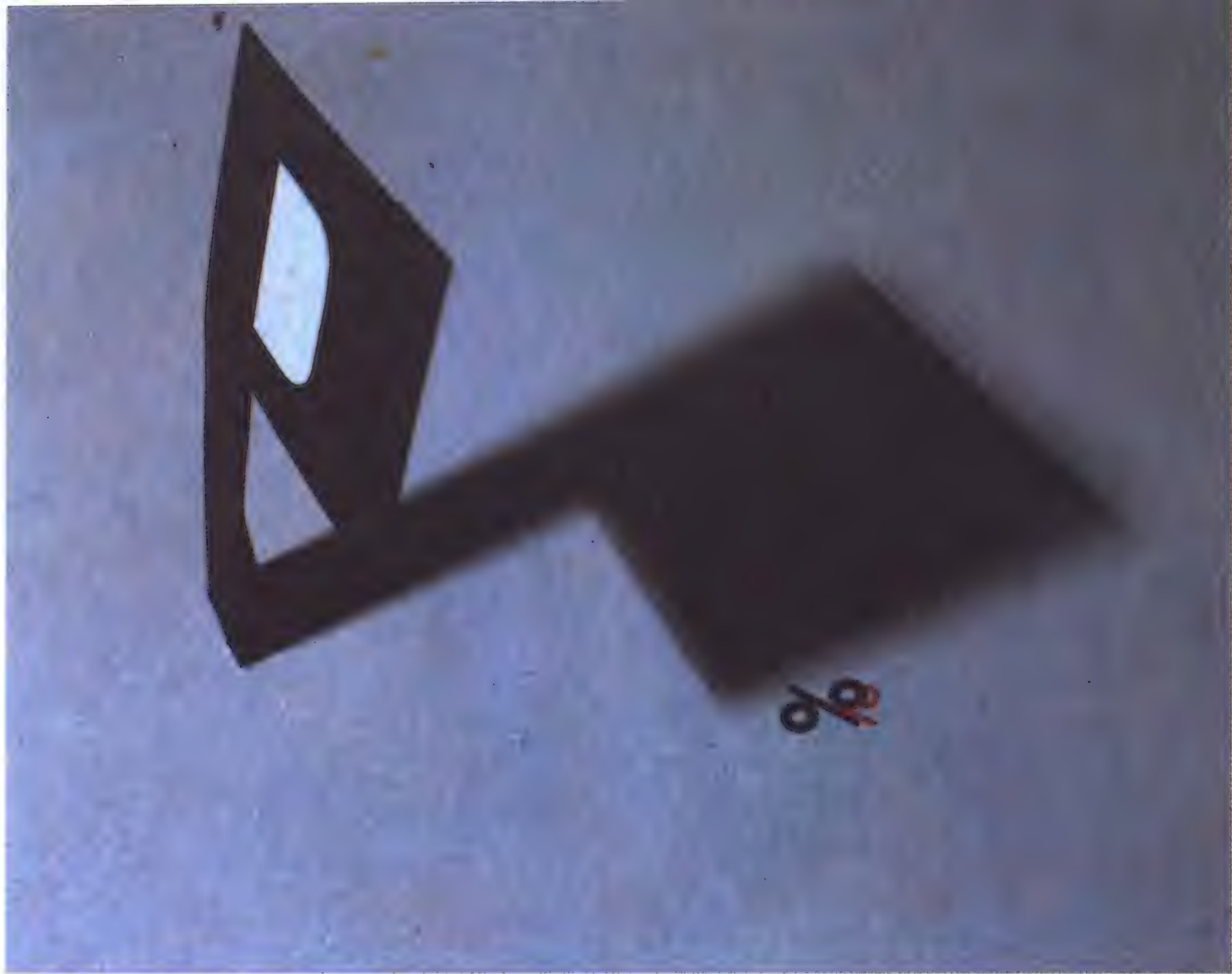
**ВИДЕОМЫ
АНДРЕЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО**

PROUS

«Марсель Пруст. В поисках утраченного времени».
Видеом. 1991 г.

R





«Раскольников». Видеом. 1991 г.

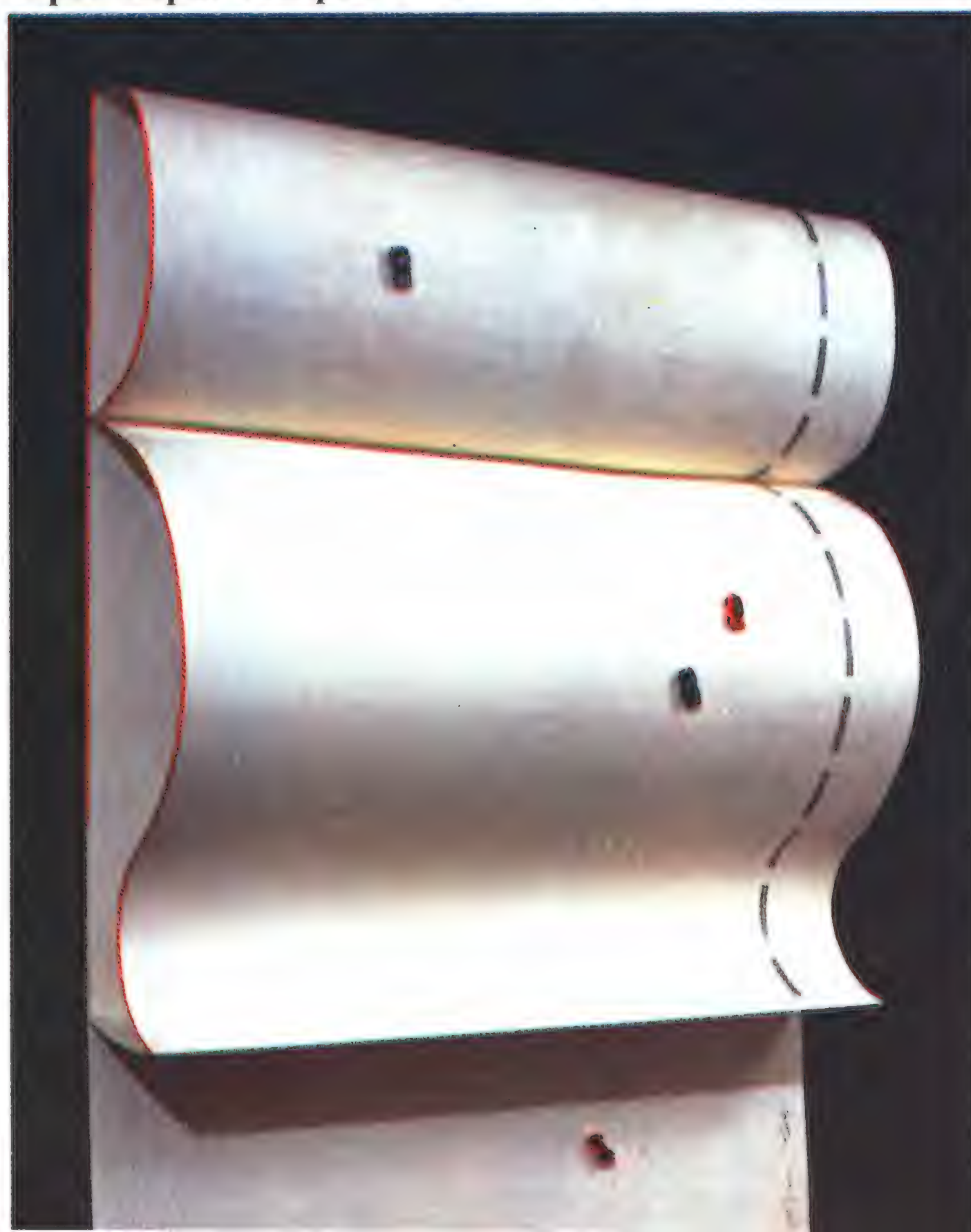
«Осип Мандельштам». Видеом. 1991 г.



'youth'
— for you

Реклама для журнала «Юность». *Видеом. 1991 г.*

«Эрих Мария Ремарк». *Видеом. 1991 г.*



К сожалению, мы лучше знаем современных немецких прозаиков, чем поэтов. Сегодня у нас есть повод познакомиться читателя с подборкой стихов Ханса Бернхарда Нордхоффа. Он представитель поколения сорокалетних. В его стихах, на наш взгляд, сфокусированы основные этические и эстетические тенденции, характерные для поэтов этой плеяды. Недавно сам автор побывал в гостях у журнала.

Первая книга Нордхоффа вышла в 1974 году. Она называлась «Барахтающиеся». В ней говорилось о «потоке времени, в котором мы кажемся беспомощно барахтающимися».

С годами форма его стихов становилась все строже, а содержание все актуальнее. «Социальную ответственность нельзя прописать, как лекарство. У больших поэтов она была всегда. Хорошая поэзия — это изучение собственной родины, независимо от того, дурно там пахнет или райски благоухает. В моих стихах звучат социальные мотивы, но я не хотел бы быть «социальным поэтом».

Самому Нордхоффу удастся сочетать призвание поэта с должностью референта по культуре города Касселя. «Моя жизнь как поэта — это другая жизнь. И не обязательно лучшая. Но, получив место в городском магистрате, я для себя решил, что это еще не повод тут же опубликовать все мною написанное».

Сейчас поэта все больше волнует соотношение природы и культуры. Он работает над стихами и эссе о гармонии и дисгармонии в искусстве.

«Я считаю, что явление «поэта на пьедестале» уже изжило себя. Вдохновить и придать силы могут лишь те стихи, которые вписываются в поток времени».



Ханс Бернхард
НОРДХОФФ

Почти уже карикатура

Родина — это менты,
Родина — это наркуши,
Родина — это любовь,
Родина — это ненависть,
и в каждом случае
что-то еще,
кроме этого...

Родина обретает вечность
из сиюминутных дел
чистой необходимости выживания.
Родина — это не реваншизм
и не тоска по белым березам.

Родина — это жизнь в нереальности,
Родина не требует отказываться
от самого себя,
но полностью принадлежать времени.

Заседание

И что же мы делаем?
Ведь что-то мы делать должны,
поэтому и делаем это что-то!
Но что?

У нас ведь масса дел,
ну сдвинем хоть малость.
Главное — не сидеть сложа руки.

Если мы хоть что-то...
Но можем и ни фига не делать,
ибо другие займутся необходимостью.

Это весомое возражение.

Поэтому потихонечку надо начинать.
Обсудим попозже наши проекты;
они нас заставят сдвинуться с места.

Но, если другие заметят наше движение,
мы ничего сотворить не сумеем.

Ха, и что же тогда?

Лучше сидеть сложа руки.
Созревать до внезапных наших
поступков.
Да, так мы и сделаем.

Семь фраз

Что же происходит с нами
в это время, мягкое, как воск,
когда ответственность и отеческое
понимание обеспечивают наши тылы.

Большая дурь в облаке социального
одеколона.

Скопище психологов системы
возвещает о любой прерывности
и держит наготове пороховые транквилизаторы.

В этой безразмерной резиновой клетке
любое духовное сопротивление равносильно
твоему исчезновению.

А те, кто рекомендует нам двигаться
по скользкому пути улиток,
надеются на ход времен, который
разведет нас с их философией оправдания
себя за счет благочестивости народа.

Зачем же способом таким нам выдавать
тщеславных зайцев за ежей,
шуршащих впереди?

Беготня пожинает насмешки
профессионального застоя.

Вавилонское смешение языков
демократов заставляет мыслящих людей
терять дар речи
и лишь иногда ощетиниваться
совместно.

Перевод
Александра ТКАЧЕНКО

Досадная порча весьма нужной вещи.

«Ну что же, поедem в Исакогорку!» — решил Никодим, переходя через мост на левую сторону набережной.

На другой день, в понедельник, серый цилиндр в сопровождении мальчика и счета на стоимость своего изготовления явился на квартиру Никодима. Никодим цилиндр примерил и остался им очень доволен; пружина звенела в нем мелодическим звоном, а мохнатая поверхность его такую приятно чувствовалась под глядящей рукой.

В тот же день Никодим купил себе билет до Исакогорки, а во вторник, облачившись в новое серое пальто, надев цилиндр и серые перчатки и захватив с собою отцовскую суковатую палку, поехал на вокзал. Необычайный вид его удивлял прохожих и приезжих, иные смеялись — Никодим сделался центром общего внимания, не примечая этого. У него сильно болела голова, а по временам вертелись перед глазами темные пятна...

По временам Никодим начинал думать о госпоже NN, но мысли все как-то очень быстро путались и обрывались. Было у него желание признаться госпоже NN в любви, но в мыслях он старался отдалить возможность этого признания.

...Ночью Никодим крепко спал, а утром доехали до Исакогорки. Выйдя на платформу, Никодим не спросил ни у кого о госпоже NN, ни о том, как и куда идти, а пошел наугад, той стороной полотна, где стояли домики железнодорожных служащих и пролегалла хорошо наезженная дорога. Воздух был холодный, безветренный, и утренник крепко прихватил намоченную дождями землю; на крышах, на кустах, на траве белел иней, но солнце уже начинало пригревать и первые натаившие капли звонко падали с крыши.

Никодим шел, опустив глаза, и, пройдя несколько десятков шагов, наткнулся на двух старух, копошившихся у кочки под большим желтым кустом. «Вот еще вороны», — подумал о них Никодим, но вслух спросил: «Что вы здесь делаете, бабушки?». Старухи не ответили, даже не обернулись. Никодим с любопытством заглянул через их спины: под кустом, скорчившись и закрыв лицо руками, сидела молодая женщина; подол ее темного платья был плотно обернут кругом колен, а ноги в тонких чулках и совсем легких туфельках выставлялись через кочку. Никодим, взглянув пристальнее, почувствовал как бы укол в сердце: знакомое очарование сказалось сразу — перед ним была госпожа NN.

Осторожно отодвинув одну из старух в сторону, почти как неодушевленный предмет, Никодим, со словами «Господи, что же это такое?», опустился на одно колено и отвел руки госпожи NN от ее лица.

Она с изумлением взглянула на него и поспешно поднялась. Он же, сняв с себя пальто, накинул его на ее плечи, за что получил благодарный взгляд.

— Что с вами? — спросил Никодим тревожно.

— Право, ничего. Вы не беспокойтесь. Проводите меня, пожалуйста, до дому: я чувствую себя совершенно разбитой.

С этими словами она указала, где ее дом.

Никодим подал ей руку, и они пошли по узкой тропинке. Он все время приглядывался к госпоже NN — ничего в ней не изменилось: только на правой руке он заметил, чего не видел в первый раз, — два обручальных кольца. Так кольца носят вдовы, и Никодим спросил:

— Скажите, разве вы вдова?

— Нет! — сухо ответила она.



А. СКАЛДИН

СТРАНСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОДИМА СТАРШЕГО

Роман

Рисунок
Вячеслава Лосева

Продолжение. Начало см. в № 9 за 1991 г.

Старухи молчали и ковыляли сзади: до сего времени Никодим не услышал ни одного звука от них — будто старухи эти были немыми.

Подойдя к дому, госпожа NN легко вспорхнула на крылечко, обернувшись к Никодиму, сказала: «До свиданья, благодарю вас», — и скрылась, захлопнув дверь. Никодим постоял в нерешительности, потом поднялся на ступеньки и постучал. Ответа не последовало. Он постучал еще и еще, но с прежним результатом.

Наконец откуда-то со стороны появилась одна из старух, неся на руке его пальто. Подавая пальто Никодиму, она вдруг заговорила дробным говорком:

— Напрасно стараетесь, батюшка, все равно не откроют. Шли бы лучше по своим делам.

— Да отчего же не откроют? У меня дело есть к вашей госпоже.

Старуха ошиблась. Едва Никодим успел сказать «вашей госпоже» — дверь открылась, и госпожа NN показалась на пороге.

— Извините, что я так невежливо обошлась с вами, — сказала она, — и даже заставила стоять здесь без пальто почти полчаса. Я должна загладить мою вину перед вами: войдите, пожалуйста.

Он послушно вошел за нею, хотя подумал, что лучше было бы не идти, а спросить ее о записке господина W тут же на крыльце.

Комнаты дома были просто убраны, но на всем, что в них находилось, лежал отпечаток довольства, порядка, покоя. Гравюры на стенах в гладких рамах рядом с часами, совсем незатейливыми, но очень старинными, бра в две свечи, мягкая удобная мебель, белые занавески на окнах, множество живых цветов, открытый рояль — очень располагали вошедшего к дому и к хозяйке его.

В гостиной госпожа NN усадила Никодима в кресло. Сказав несколько слов ради учтивости, он прямо перешел к делу.

— Вы ведь знаете, кто я? То есть знаете мое имя и мою фамилию? — спросил он, а сам в то же время подумал: «Нет, нужно сказать ей, что я люблю ее. Как глуп я буду, если не скажу ей этого сейчас же».

И почувствовал опять то уже знакомое ему очарование, как когда-то на Надеждинской улице.

Она утвердительно кивнула головой.

— Но вы знаете не только меня, а, вероятно, и мою семью. То есть, по крайней мере, мою мать и, кажется, знавали ее раньше, чем встретились со мной в первый раз там... на Надеждинской.

Госпожа NN ответила не сразу. Подумав, она сказала:

— Кажется, нет.

— Неправда. Вы ошибаетесь. Взгляните, пожалуйста, вот на эту записку: здесь стоит ваше имя, — горячо возразил Никодим и протянул ей записку господина W.

Она взяла записку равнодушно, пробежала ее глазами два раза, перевернула и сказала:

— Я вижу здесь мое имя, но не могу сказать, кто писал эту записку, и не понимаю, почему вы относите ее к своей матери.

И украдкой взглянула на Никодима...

— Я эту записку нашел в бюро в комнате моей матушки.

— Значит, вы рылись в письмах матери? Да ведь это же стыдно так делать!

Он действительно почувствовал стыд, но тотчас же нашел себе и оправдание.

— Моя мать пропала неизвестно куда еще весной, — пояснил он.

— Пропала?

— Да, пропала.

Госпожа NN поднялась, приложила палец к губам, подумала и сказала:

— Обождите минут пять, я вернусь и, может быть, сумею быть вам полезной.

С этими словами она вышла. Но прошло не пять, а добрых пятнадцать минут, и она все не возвращалась.

Никодим встал и принялся ходить из угла в угол, затем надел цилиндр на голову и попытался выйти в другую комнату, все время думая: «Вот она сейчас вернется и я скажу ей, что люблю ее». Ждать было очень тоскливо, и когда он проходил в другую комнату, то ему вдруг до боли захотелось видеть госпожу NN перед собою здесь, не дожидаясь, немедленно. Но случилось совершенно непредвиденное несчастье.

Проходя дверями, Никодим зацепился цилиндром за косяк. Цилиндр заплескал на голове от удара, упал на пол и покатился в сторону, причем скрытая в нем пружина зазвенела мелодичным звоном.

Догнав и поймав цилиндр, Никодим увидел, что тот с одного боку сильно помялся; шмыгнув за сундук и ящики, стоявшие один на одном в другом конце коридора под окном, Никодим принялся там исправлять попорченное, но тщетно — ему это решительно не давалось. Он постоял за сундуками еще немного, выглядывая из-за них и думая, не заметил ли кто, как напрасно он старался, а потом уже без чувства прежнего очарования, а даже с неловкостью и отвращением к себе вернулся в гостиную и столкнулся там с госпожой NN.

Она посмотрела очень иронически и сразу заметила, что цилиндр попорчен, но будто не могла понять — отчего это произошло, то есть сам ли он сломался или Никодим проломил его намеренно.

— Знаете, — сказала она, — я могу быть вам полезной: я разыскала кое-какие следы.

— Да? — удивленно переспросил он и подумал: «Нужно уйти».

— О вашей матери, наверное, знает господин Лобачев.

— Господин Лобачев?

— Да! Почему вы удивляетесь?

— Нет, я не удивляюсь. Но где же мне этого господина искать?

— В Петербурге.

— В Петербурге?

— Да, через адресный стол. Напишите запрос: Фектист Селиверстович Лобачев, сердобский второй гильдии купец.

— Почему же господин Лобачев может знать что-то о моей матери?

— Ах, это долго объяснять. И пожалуйста, слушайтесь, когда вам говорят.

Никодим сказал: «Благодарю вас», — распрощался и живо выскользнул на крыльцо. На крыльце он помедлил, подставляя свое лицо сиявшему солнцу, потом спрыгнул на дорожку и быстро зашагал по направлению к станции. Его тень бежала сперва за ним, но затем выскочила вперед и протянулась впереди неестественно длинно, через лужи и неровности дорожки — особенно был смешон на тени глупый цилиндр.

— Ну и цилиндр! — сказал себе Никодим. — И где ты только достал такой?

— Шут гороховый, — выругался он вслед, сорвал цилиндр с головы, ударил его оземь так, что тот зазвенел и прилепнулся в лепешку, хватил его еще несколько раз палкой, добавив:

«Ну и лежи здесь!» — и пошел дальше уже с непокрытой головой.

На станции он купил у сторожа шапку и через несколько часов поехал обратно.

В висках у него ныло от постукивания колес, и в лад с этим постукиванием все время вертелось на языке: «Ведьма, ведьма, ведьма!».

Подъезжая к Вологде, Никодим надумал было вернуться в Исакогорку, но не нашел тогда в себе решимости исполнить свое намерение.

ГЛАВА XIV

Феоктист Селиверстович Лобачев.

Потом он вспомнил о десяти шкафах, задал себе вопрос: „А куда же они исчезли?“ — и, приехав домой, прежде всего позвал лакея, когда-то привезшего их из Царского Села.

Но лакей мог только рассказать, что через день после того, как Никодима привезли с квартиры госпожи NN домой, утром часов в шесть на квартиру к нему явился господин, назвавшийся Лобачевым, забрал все шкафы и попросил передать Никодиму благодарность за его любезность.

Адресный стол сообщил Никодиму, что сердобский второй гильдии купец Феоктист Селиверстович Лобачев проживает на одной из глухих улиц за Обводным каналом. Едучи к Лобачеву, Никодим старался нарисовать себе его наружность по его имени и роду занятий, как часто пробуют делать. Уже и раньше от своего друга, имевшего дела с Лобачевым, он слышал, что тот откуда-то с Волги, а теперь это вместе с добавлением «сердобский второй гильдии купец», создавало перед глазами грузное тело, благообразное лицо, с темно-русою солидной окладистой бородкой, широкую руку, а ухо заранее слышало неспешный густой голос и степенную речь.

Но Никодим ошибся. Когда за Обводным каналом он разыскал нужную ему квартиру, дверь отворил человек роста выше среднего, худощавый, с сухим жилистым лицом бронзового цвета, горбоносый, с глазами черными, быстрыми, навывкате, испещренными по белку красными жилками; зубы у незнакомца были хищные, борода до неприятного черная, даже с синим отливом, но элегантно постриженная; фигура же вся точно кошачья, ногти на крючковатых пальцах остроконечные и отполированные, серенький летний костюм увенчивался пестрым галстуком, заколотым булавкой с огромным бриллиантом; толстая золотая цепь от часов болталась по животу. Человек этот, прежде чем Никодим успел что-либо сказать, отрекомендовался Феоктистом Селиверстовичем Лобачевым.

«По подложному паспорту живет человек», — подумал Никодим и бессознательно решил быть осторожнее.

Комнаты лобачевской квартиры были убраны неэстетично или, вернее, совсем не были убраны: сборная мебель раздражала глаз; повсюду валялся мусор, потолки были закоптевшие; посередине письменного стола, над грудой рассыпанных бумаг, красовались счеты; окурки и обгоревшие спички лежали не в пепельнице, а рядом с нею, прямо на зеленом сукне стола.

— Чем могу быть полезен? — спросил Лобачев Никодима, вводя его в комнату, и изо рта Лобачева вместе со словами раздался легкий свист (вероятно, уж так были устроены зубы).

«Подожду спрашивать его о маме, — подумал Никодим, — а сначала поговорю с ним о чем-нибудь другом».

Лобачев Никодиму казался очень неприятным.

— Вам, полагаю, известно мое имя, — сказал Никодим, — я то самое лицо, которое когда-то привезло для вас из Царского Села десять шкафов с посылками.

— Ах, это вы! Очень приятно и позвольте еще раз поблагодарить вас. Хотя я уже велел вашему лакею передать вам мою благодарность, но, думаю, что, лишний раз сказанная, она никому не повредит.

— Напротив: она прямо полезна мне тем, что по-

зволяет задать вам один вопрос. Я не люблю ходить в темноте, и объясните вы, пожалуйста, почему мой друг, а ваш знакомый писал мне в записке только об одном шкафе и об одной посылке, а их оказалось десять и столько посылок.

— Не знаю, — ответил Феоктист Селиверстович, стараясь не свистеть, — я заявил вашему другу, что шкафов десять и вовсе не навязывал их ему. Это было в его интересах — отправить посылки скорее, и он сам вызвался послать их по назначению.

— Так, — протянул Никодим с некоторым разочарованием, — значит, в ящиках были только образцы товаров?

— А чего же вы хотели бы в них? Частей распотрошенных младенцев, мужей и жен, что ли?

— К чему вы говорите такое, Феоктист Селиверстович? Вы же можете извинить мое любопытство, раз оно касается близкого моего друга. Меня больше интересует, какие это были товары.

— Любопытство — дело святое. А мы — по человеческому нашему призванию — торгуем помаленьку и притом товарами разными.

— Ну, а все-таки чем? У меня, Феоктист Селиверстович, есть неплохонькое именье, и, быть может, в малости какой я тоже пригодился б вам в ваших торговых делах?

Вопрос был предложен явно насмешливо, и Лобачев поглядел на Никодима свысока и презрительно — будто поняв, что Никодим говорит совсем не о том, зачем пришел.

— Какая может быть от вас польза, молодой человек, не знаю, — ответил он, — а торгуем мы льном, табаком, пенькою и чем Бог пошлет торгуем. Всякий товар прибыль дает.

Тут разговор их вынужденно прервался, так как из соседней комнаты вошел, по-видимому, сидевший там до того высокий молодой человек. Он даже не вошел — такое определение было бы неправильно совсем — а надменно внес свою красивую белокурую голову. Раскланявшись с Никодимом, вошедший сел на стул, но ноги господина были столь длинны, что стул под ним казался неудобно-малым. Никодим усмехнулся этому и в то же время подумал: как вновь вошедший господин мог оказаться здесь, по-видимому, хорошо знакомым с Лобачевым и даже на короткой с ним ноге? Никодиму казалось, что он понял Лобачева вполне — впечатление получалось отрицательное: много думающий о себе человек, не останавливающийся ни перед чем, чтобы только заработать деньги, но не умный, а только хитрый человек. Вошедшего белокурого господина Никодим знал: это был англичанин (а может быть, и не англичанин) по имени Арчибальд Уокер; они встречались года два тому назад довольно часто на разных *jour-fixé*¹ax.

«Чего здесь сидеть, — решил вдруг Никодим, — перейдем прямо к делу, а потом можно и ретироваться от этих подозрительных людей», — и, вынимая тут же из кармана заранее приготовленную записку господина W, Никодим сказал Лобачеву:

— Феоктист Селиверстович, я направлен к вам госпожою NN по интересующему меня делу.

При имени госпожи NN Уокер насторожился, и Никодим это заметил. Лобачев на миг обернулся к Уокеру и, видимо, что-то сообразив, ответил вопросительно:

— Да?

— Госпожа NN сказала мне, что вам известно почти наверно, где сейчас находится моя мать.

— Госпожа NN мне, действительно, очень хорошо известна, но вашей матушки я не имею чести знать. И почему же вы, прежде чем направиться ко мне, не

¹ Журфикс — день приема.

спросили госпожу NN, на каком основании она считает, что мне что-то известно о вашей матери? И разве ваша матушка куда-то пропала, что ее приходится разыскивать?

— Да, пропала. А госпожу NN я спрашивал о том, о чем спрашиваете вы меня. Но она не желала объяснить мне это.

— Так будьте же любезны посетить ее опять и переспросить. Удивительны эти женщины — всегда болтают, что только им придет в голову.

Никодим засмеялся.

— Легкое дело, — сказал он, — госпожа NN живет где-то под Архангельском, в Исакогорке, что ли. Съездить к ней не так просто — не то, что проехаться на Надеждинскую.

— В Исакогорке? — переспросил Лобачев. — Да не может быть: она живет на Пушкинской улице; жила на Надеждинской, а переехала на Пушкинскую.

— Вы, должно быть, меня за дурака считаете, — обиделся Никодим, — а я только что вернулся от нее из Исакогорки и знаю, где госпожа NN, а вот это извольте прочесть.

И он протянул Лобачеву записку господина W. Лобачев взял ее, развернул, прочел и сказал:

— Да я ее уж, пожалуй, с месяц не видел и, право, точно не могу сказать, где она. Может быть, и в Исакогорке.

А записку господина W протянул Уокеру со словами:

— Что вы скажете?

Тот прочел ее, но не сказал ни слова.

Разговор возобновил Феоктист Селиверстович.

— Ничегошеньки я не знаю. А есть здесь, в Петербурге, старичок один, Яков Савельич...

— Якова Савельича я знаю, — прервал Никодим.

— Тем лучше. Так вот он, пожалуй, может вам сказать о вашей матушке что-нибудь. Ему всякие дела известны.

— Да вы-то откуда знаете Якова Савельича?

— Отчего же мне не знать? Якова Савельича все знают. К нему и обратитесь. Да будьте еще любезны объяснить мне, как это у себя приняла вас госпожа NN?

— Позвольте, — сказал Никодим, приподнимаясь с кресла, — какое же вам до этого дело?

— Да нет, вы меня не поняли. За ревнивого любовника, прошу вас, меня не принимайте. Вы вот меня о шкафах спрашивали — так это было совсем неинтересно, а госпожа NN куда интереснее, и стоит о ней поговорить. Только будучи человеком в женских делах весьма опытным, предупреждаю вас: вы ей не доверяйтесь.

— Позвольте, — еще раз возразил Никодим, — я считаю такой разговор совершенно неуместным.

Но Феоктист Селиверстович был глух. С кривой усмешкой и прежним свистом он продолжал, не вникая Никодиму:

— И напрасно кипятитесь. Отчего же не поговорить. Она дама обольстительная во всех отношениях, и с такими особами иметь дело всегда бывает приятно. Только вы, к сожалению, как я вас понимаю, немного зазнавшийся молодой человек. И не пришлось бы вам поэтому самому плакать. Знаете ли, за такими особочками мужчины всегда вьются — а вдруг да вы в чужой огород полезли и у вас найдется соперник подостойнее, например, меня многогрешного? А?

— Прошу прекратить этот бессмысленный разговор! — сказал Никодим в третий раз и уже резко.

— Подостойнее, подостойнее, — продолжал Лобачев, все еще не слушая Никодима.

Но в разговор вмешался Уокер. Голос его прозвучал ровно, повелительно и как бы из некоторого далека.

— Я тоже прошу прекратить этот разговор, так как, со своей стороны, не могу допустить, чтобы кто-либо выражался о госпоже NN неподобающе.

Все трое обменялись взглядами. Лобачев взглянул на Уокера сперва немного виновато, но затем презрительно и высокомерно; Никодим поглядел на Уокера благодарно, но встретился с глазами, полными такой злобы, что не мог не заметить ее, и растерялся: он не сразу понял, почему Уокер зол на него. Но через минуту, когда уже все трое перестали смотреть друг на друга, он вспомнил, что имя госпожи NN приходилось ему слышать и два года назад, причем произносилось оно обыкновенно в неразрывной связи с именем Арчибальда Уокера.

— Ах, вот что! — сказал себе Никодим и решительно поднялся с кресла. Оставаться долее в квартире Лобачева он не мог.

ГЛАВА XV

Потеря записки.

— Какая была фабрика.

Раскланявшись с Лобачевым и Уокером, но не подав руки ни тому, ни другому, Никодим вышел на улицу и тотчас же поехал к Якову Савельичу. Он, однако, не думал, что Яков Савельич может знать что-либо об Евгении Александровне, как уверял Лобачев, — даже напротив: Никодиму казалось, что Лобачев советовал обратиться к Якову Савельичу только затем, чтобы прекратить разговор.

Доехав до знакомого угла на Крестовском Острове, Никодим спрыгнул с конки и бегом направился к особняку Якова Савельича. У калитки его встретил Вавила и, не здороваясь, сказал Никодиму:

— А Яков Савельича дома нету.

В голосе Вавилы звучало нескрываемое торжество.

— А где же Яков Савельич?

— За границу уехали.

— За границу?

— Так точно — за границу. В Австралию, сказывали. И где эта Австралия — Бог ее знает.

«В Австралию», — повторил Никодим, повернулся и пошел прочь. С Крестовского Острова он поехал домой, думая по дороге: «И к чему все эти хождения и обходы: просто нужно съездить опять в имение, порыться в маминых письмах и тогда, никого не спрашивая, найдешь следы», — и вдруг вспомнил, что записку господина W он оставил в руках Уокера.

Поблуднев сперва от этой мысли, он тут же, на ближайшей остановке, выбежал из вагона, пересел в другой и направился опять к Лобачеву.

Запахавшись, вбежал он в квартиру Лобачева, как только успел отворить ему заспанный лобачевский слуга. Лобачев сидел за письменным столом и, оборотив голову, с удивлением взглянул на Никодима.

— Феоктист Селиверстович, — сказал Никодим, задыхаясь, — вы не можете ли мне сказать, где сейчас господин Уокер?

— Не знаю.

— Он мне нужен.

— Так что же?

— Где он живет? Или, может быть, он куда уехал?

— Не знаю. Какое мне дело до того, где живут и куда ездят разные...

— Позвольте. Господина Уокера я видел здесь у вас сегодня как вашего друга.

— Да что вам, собственно, нужно?

— Записку мою я оставил в руках господина Уокера.

— Ту самую, которую дали мне и которую я ему передал?

— Да, ту самую.

— Напрасно дали. То есть напрасно оставили, хочу



я сказать — дал-то ему я... Нет, голубчик, ничего не могу сказать. Как сами знаете. Поищите его — не иголка, пропасть не может.

И Лобачев протянул руку, чтобы проститься.

Очутившись опять на улице, Никодим вышел к Обводному каналу и пошел вдоль его, не думая, куда идет. Набежала туча, и осенний дождь — пронизывающий, неприятный — напомнил Никодиму о действительности. Оглянувшись, Никодим увидел, что находится в местности уже за Балтийским вокзалом. Повернув сейчас же, он взял извозчика и отправился на Николаевский вокзал, чтобы ехать домой в имение.

Купив билет, он в ожидании поезда прохаживался по темному помещению вокзала и на одном из поворотов заметил в углу знакомую фигуру: в сером пальто, с поднятым воротником, держа руки в карманах и нахлобучив на глаза шляпу, с палкой под мышкой, стоял Уокер.

Не помня себя от радости, Никодим бросился к нему.

— Господин Уокер, — сказал он, — как я рад этой случайной встрече. Ради Бога, отдайте мне ту записку, что я сегодня давал прочесть господину Лобачеву и которую он передал вам.

Уокер всей фигуры к Никодиму не повернул, а скривив в его сторону только свою голову и глядя на Никодима сверху вниз, молчал.

Никодима это обозлило.

— Если вы не умеете стоять вежливо, — сказал он, — то, по крайней мере, хоть отвечали бы.

— Не волнуйтесь. Записки у меня нет: я передал ее господину Лобачеву с просьбой возвратить вам.

— Что вы говорите, я сейчас только от господина Лобачева, и он мне сказал, что записка осталась у вас.

Уокер промолчал.

— Как хотите, — произнес он, — можете мне и не верить. Но судите беспристрастно: если поставить рядом меня и господина Лобачева — кому из нас можно будет оказать больше доверия?

— Так поедemте сейчас вместе к Лобачеву.

— Сейчас я не могу: я уже взял билет на ближайший московский поезд. Вернусь я через несколько дней и тогда буду к вашим услугам.

— Хорошо. А где же я вас найду?

— У господина Лобачева. Там всегда меня можно найти.

«Ну, как хочешь, — подумал Никодим, — а я все-таки поеду домой и посмотрю еще письма мамы — быть может, найду что и поценнее, а в записке имя

мамы ведь вовсе не упоминается — все равно, если бы ты стал ее показывать кому-либо, никто тебе не поверит, что это писано к маме».

И, поклонившись, отошел в сторону.

По рассеянности Никодим вышел двумя станциями раньше, чем следовало. Удлинило бы это путь всего часа на три, если бы Никодим сразу нашел лошадей. Но ему пришлось искать долго: все отказывались ехать, ссылаясь на работу и плохую осеннюю погоду. Только перед самыми сумерками удалось тронуться.

Первое время возница молчал и посвистывал. Потом, вдруг обернувшись, спросил:

— А не ехать ли нам, барин, через Селиверстовщину?

— Я, братец, дорог здешних не знаю, — ответил Никодим, — где хочешь поезжай, лишь бы дорога была поглаже.

— Нонеча какие дороги. Ишь размякло. А я к тому, барин, что с утра ничего еще не ел. Так у меня кум в Селиверстовщине — к нему и заехать: поесть чего-нибудь. Да и выпить у него всегда можно.

О Селиверстовщине Никодим слышал: это была очень длинная и грязная фабричная слобода, верстах в десяти или двенадцати от его имения. Фабрика, к которой он когда-то ночью ходил за чудовищами, находилась на полпути между слободой и имениями, и жители слободы работали именно на этой фабрике, но ни в слободе, ни на фабрике Никодиму не доводилось бывать.

Понял ли возница молчание Никодима как согласие ехать через Селиверстовщину, но через два часа пути они въехали в слободу. В полутьме, при слабом свете редко расставленных фонарей и огоньков, мелькавших в окнах, прошмыгивали то с одной стороны тарантаса, то с другой неопределенные тени — иногда человек вырастал рядом с тарантасом и с любопытством глядел на Никодима несколько мгновений, стараясь идти вровень с лошастью. Никодим все отворачивался от таких: казались они грязными, неумытыми, от них пахло и спиртом и потом, физиономии их были грубы — и мужские и женские одинаково, — точно их кто топором вырубал, и движения тяжеловесны и угловаты. Грубая, но не громкая, а скорее, ворчливая ругань слышалась в полутьме из-под навесов и от колодцев, где звенели цепями журавли.

Чувство неопределенной жути стало забираться в душу Никодима, когда они остановились у одного из крылец.

Хозяин встретил гостей с фонарем. Он тоже не



возбудил доверия в Никодиме, так как ничем не отличался от других обитателей слободы: грубая, грузная фигура, лицо со следами сажи на лбу и на щеках, непричесанные волосы, медная серьга в толстом ухе, рваная и грязная одежда, тот же запах спирта и, главное, провалившийся нос — все отталкивало в нем.

Пока возница что-то ел и пил водку, Никодим сидел на лавке в углу, отказавшись от угощения, и оглядывался по сторонам. Изба, как и обитатели ее, была очень грязная и неприветливая: несколько раз на Никодима набегал из угла любопытный таракан и, шевеля усами, подолгу смотрел на незнакомого гостя.

— Вы на фабрике служите? — спросил Никодим от скуки проходившего мимо хозяина.

Тот остановился и сказал:

— Так точно, у Феоктиста Селиверстовича Лобачева.

Никодима как громом поразило. Он даже привстал.

— Разве эта фабрика Лобачеву принадлежит?

— Так точно, Лобачеву. Мы по дереву работаем.

Никодим не захотел расспрашивать далее. «Поедем-ка отсюда поскорее», — шепнул он вознице, улучив удобный случай.

Тот подтянул кушак и заявил, что пора ехать. Хозяин проводил их на крыльцо опять с фонарем и опять молча.

Когда они уже выехали за околицу и Никодим облегченно вздохнул, возница засмеялся.

— А нос-то у кума того...подгулял. И поделом. Все от веселой жизни, барин.

— Скажи ты мне вот что, — обратился Никодим к вознице, — кто такой этот самый Лобачев?

— А Бог его знает. Он здесь, кажись, давно не бывал. Сказывают, что не русский, а англичанин он.

— Послушай, как же это может быть — Лобачев и вдруг англичанин? Ведь фамилия-то русская.

— Вот поди ж ты. Сказывают.

— А кто же фабрикой управляет?

— Арап какой-то управляющим.

— Настоящий арап?

— Нет, не настоящий, а так его называют. Он тоже здесь редко бывает — больше в Питере живет.

— Гм. А что же на этой фабрике делают?

— А черт их, знает что делают — не к ночи будь сказано. Людей делают.

— Что ты говоришь. Виданное ли это дело?

— А взаправду, барин. Руки, ноги, головы, туловища делают из дерева, что ли. Не то из камня, а может, и из железа — я не знаю.

— Да, наверное, руки и ноги искусственные. Для уродов и калек?

— Какое там для уродов! За границу отправляют — вот что. И животных всяких делают. И коров. И еще делают такое — что и сказать-то не при всяком вслух скажешь. Разве к кому уважения у тебя нет.

И, наклонившись к уху Никодима, он что-то зашептал ему. Никодим не сразу понял, но когда понял, то удивился еще больше, только не стал расспрашивать. Молча проехали они остаток дороги.

Прощаясь с возницей, Никодим все-таки сказал ему: «А подозрительные люди — эти ваши слободские, и твой кум тоже». «Да, у кума нос того...подгулял. Даром этого не случается. Ну, прощайте, барин. Покорно благодарим», — ответил возница и, нахлобучив шапку, принялся настигивать лошадь, как будто желая скорее скрыться с Никодимовых глаз.

ГЛАВА XVI Столкновение у камня.

Отпустив встретивших его слуг, Никодим остался один. Он обошел и осмотрел все комнаты дома, кроме черной залы и комнаты Евгении Александровны, а ночью, в одиннадцать часов, вышел к калитке посмотреть, не пройдут ли чудовища. Но они не показались.

Утром старый его дядька и когда-то камердинер покойного дедушки Онуфрия Никодимовича, бывший крепостной Павел Ерофеич, брея Никодима перед кофе, сказал:

— Не настоящею жизнью нынче живут господа. В бывалые-то годы, как барин куда поедет, так и собственного слугу берет с собою. За границу ли, в Москву там, или в Питер — все равно. Тот его и выбреет, и вымоет, и одежду в порядке содержит, а нынче что?

— Значит, ты, Ерофеич, со мной вместе чудить хочешь? — спросил Никодим.

— Зачем чудить? Вы барин степенный. Маменьке-то в радость такие дети.

— А если барин влюбится — по-твоему, что тогда верный слуга должен делать?

— А вы разве влюбились, Никодим Михайлович?

— Да, влюбился.

— Ну вот, коли влюбились, так честным пирком да за свадебку.

— Ловко выдумал старик. Да как на ней женишься, если она уже замужем?

— Замужем? — Тут лицо Ерофеича вытянулось

и выразило определенно полное разочарование. — Уж коли в чужемужнюю жену влюбились, так об этом, барин, не говорят. Молчать надо... Там, как хотите: я вам не судья, а на людей выносить не полагается.

— А если она не чужемужняя жена, а так просто... ну, любовница, на содержании... что ли?

— Вот еще скажете, барин. Такая-то уж и вовсе в жены не годится — сегодня она с одним, завтра с другим. Будто настоящих барышень нет. Да и в роду у нас такого не водилось — Бог миловал.

— Нет, Ерофеич, она замужняя... А, послушай, ты не знаешь ли чего-нибудь о Лобачеве, Феоктисте Селиверстовиче?

— Господина Лобачева как не знать. Еще когда вы в гимназии были, они к вашему батюшке частенько наезжали по разным делам.

— К нам? Сюда? Сам Лобачев?

— Да недолго они заезжали — с полгодика.

— Послушай, так папа его должен знать?

— Разумеется, должны.

— А кто он такой — этот Лобачев?

— Да из себя видный такой. Только сомнительный человек. Говорили про них разное. Мало ли что говорят.

— Федосий из Бобылевки, что меня сюда привез, сказывал мне, что он не русский, а англичанин.

— Бобылевские-то его лучше знают, а здесь кто же его видал. Лет одиннадцать назад было — все поди забыли.

— А на фабрике у него ты бывал?

— Нет, не довелось. Да какая это фабрика — темное дело.

— Почему темное?

— Работают, можно сказать, большие тыщи народу, а что делают, неизвестно.

— Людей делают, мне Федосий говорил.

— И за границу отправляют, сказывали. Оттого-то у басурмана такая сила народу нынче и пошла. И чего наш царь смотрит?

— Заговорился Ерофеич. Я-то с тобою, как с путным, а ты ахинею понес. Разве можно людей делать на фабрике?

— Отчего нельзя? Хитрый человек все может. Впрочем, вам виднее. Мы люди темные. За что купил — по том и продаю.

— А что же еще про Лобачева говорили?

— Да, так... разное.

Никодим поглядел на старика. Тому, видимо, и хотелось что-то сказать, но уж никак он не мог решиться и даже бровь почесал.

— Ну что же? Рассказывай.

— Да нет... лучше увольте... до другого раза...

Разговор на том и кончился, но для Никодима прибавился еще один вопрос: зачем здесь бывал Лобачев одиннадцать лет назад и почему отец ничего о нем не сказал Никодиму, хотя и знал, что Никодим ездил к нему.

И еще никак не мог примириться Никодим с мыслью, что между Лобачевым и Уокером с одной стороны и госпожой NN с другой существует тайный союз, направленный, между прочим, и против него — Никодима, а мысль эта все время не оставляла его.

Днем он наконец решился опять войти в комнату матери, уже раскрыл бюро и принялся выдвигать ящики, как вспомнил, что ему говорили об этом не только госпожа NN, но даже Лобачев. Чувство стыда кольнуло его душу; однако признаться себе, что он не в состоянии пересмотреть содержимое ящиков, Никодим не мог. Он совсем неопределенно, как иногда бывает, не словами, а чувством подумал: «Подожду еще, оттяну немного времени», — и, захлопнув бюро, вышел в столовую...

Проснувшись утром на другой день после разговора с Ерофеичем, Никодим ощутил в себе неизъяснимое разделение: будто двое в нем переглядывались между собою и один лежал в постели, а другой был где-то, под потолком и так хорошо понимал все, что делалось с тем, который оставался внизу. Чувство это длилось недолго — Никодим вскочил весьма возбужденный и поспешил умыться холодной водой. До вечера он почти ничего не думал — только щемящее чувство беспомощности и бессилия что-то нужное сделать, как-либо выбраться из создавшегося ложного положения — томило и угнетало его. Вечером он опять почувствовал свое разделение: словно кто вышел из него и сел напротив в кресло, у другого окна столовой.

— Знаешь, — сказал Никодим, — нужно нам поговорить с тобою откровенно: если ты являешься самовольно — ты должен знать больше меня.

Собеседник молчал.

— И говорить должен ты, а не я, — продолжал Никодим, — я буду слушать.

— Если так — изволь, — глухо и неопределенно ответил другой.

— Я жду.

Некоторое время прошло в томительном молчании. Наконец другой заговорил.

— Свою мать ты не любишь. Ты постоянно путаешься — не зная о ком думать: о ней или о госпоже NN.

— Да.

— Это происходит потому, что ты любишь госпожу NN.

— Ну, разумеется. Иначе зачем я стал бы думать о ней.

— Да, но любить мать и госпожу NN одновременно — невозможно. Ты еще не знаешь госпожи NN, но ты должен ее чувствовать. Она спросит так много, что ты не в силах будешь дать ей. И разве ты не догадываешься, что жизнь госпожи NN в чем-то сталкивается с жизнью твоей матери?

— Конечно, догадываюсь.

— Отчего же ты об этом не подумал?

— Во всяком случае, не думаю, чтобы столкновение было на романтической почве. Правда, что-то есть темное — это темное нетрудно усмотреть из потерянной мною записки господина W, и будь эта записка у меня под руками — мы могли бы в ней поразобраться. Ведь не думать же мне, что мама и госпожа NN влюблены в одно лицо... в Уокера, например... или в Лобачева... ха-ха-ха!

Никодим громко рассмеялся. Ерофеич заглянул в дверь.

— С кем это вы, барин, разговариваете, или мне попритчилось? — спросил он.

— Попритчилось, попритчилось, Ерофеич, — ответил Никодим, — а может, и нет — всякие бывают гости.

— Упаси Бог от нечистой силы: как облюбует какое местечко — не скоро выведешь, ни крестом, ни пестом. Вот тоже по весне, как барыне уехать, — что за нечисть тут шаталась?

— А ты видел?

— Ну нечисть — не нечисть: господин Раух объясняли потом, что просто тут лобачевские фабричные пошаливали — кто их разберет.

— А те, монахи-то, больше не показывались?

— Что вы барин! Да я бы сбежал.

Старик опять не на шутку перепугался.

— Ну иди пока к себе, — попросил его Никодим и, когда старик ушел, вновь обратился к прежнему собеседнику. — Извини, нам помешали закончить разговор. Даже и самые хорошие слуги не умеют быть достаточно воспитанными. И на чем мы остановились? — я забыл.

— На столкновении Евгении Александровны и гос-пожи NN.

— Да это нелепо. И трагедия моя в том заключа-ется — что я, не знаю, собственно, не только куда, но и почему могла исчезнуть моя мать.

— Трагедия. Стоит ли так значительно выражать-ся?

— А что же по-твоему?

— А так... скандальная история, как и определила Евлалия.

— Ну да, вообще-то скандальная история, но для меня лично — трагедия.

— Поухаживай за госпожою NN — пройдет. Зай-мись. Право, стоит: она дама обольстительная во всех отношениях, как сказал Лобачев.

— Довольно. А то я буду просить тебя, как и госпо-дина Лобачева, прекратить этот бессмысленный раз-говор.

— Я не господин Лобачев, и тебе долго придется просить меня.

— Нет, не долго. Довольно!

Никодим встал, вышел из столовой, хлопнув две-рю, и очутился на улице. Солнце было уже у самого горизонта, озеро чуть слышно плескалось. Никодим пошел к берегу.

Узкая тропинка вела к плоскому большому камню, около камня рос молодой раковый куст и стояла скамья. Сквозь полуоблетевшие ветви ракиты, рядом со скамьей, на тропинке виднелась высокая челове-ческая фигура. «Арчибальд Уокер», — узнал Никодим сразу.

И, узнав, пошел прямо на него: он помнил, что тропинка очень узка, что разойтись на ней невозмож-но и думал — отступит Уокер с дороги или нет.

Уокер стоял неподвижно: на нем были охотничья шляпа с пером, теплая куртка и лакированные бот-форты; руки он заложил в карманы рейтуз (он эту вольность позволял себе редко, разве что в лесу).

Уокер не отступил, и Никодим столкнулся с ним вплотную, но, право, Никодим вовсе не хотел с ним встречаться.

Молча смерил Уокер Никодима после столкновения взглядом от головы до ног. Никодим ответил тем же. Но Никодим злился, а Уокер был спокоен совершенно.

Уокер поклонился первый, повернулся и пошел. Никодим — рядом с ним — все молча. Им не о чем было говорить. Никодим прекрасно понимал, что Уо-кер чувствует в нем соперника, и размышлял: «Сэр Уокер весьма счастлив тем, что может много о себе думать; я, напротив, глубоко несчастен потому, что думаю о себе крайне пренебрежительно».

Но в душе Никодим смеялся.

Так дошли они до большой груды камней на берегу, повернули обратно и пришли опять к скамье у рако-вого куста. Раскланялись и разошлись.

Дома Никодим спросил Ерофеича:

— Что за долговязый здесь по берегу шатается?

— А это лобачевский управляющий.

— Арап?

— Ну да, сам-то Лобачев англичанин, а управляю-щий у него арап.

— Шутишь, старина.

— Шучу, шучу, Никодим Михайлович. Надо же на старости лет дурачка поломать.

— То-то. Будто я не вижу, какой арап.

ГЛАВА XVII

Принципиально-злой человек.

На другое утро Никодим проснулся с мыслью: «Как по-мальчишески вел я себя вчера. Вместо того, чтобы спросить Уокера, зачем он здесь, и разузнать что-

нибудь о Лобачеве, я устроил это столкновение. Фу!»

И, позвав Ерофеича, стал ему жаловаться на самого себя. Ерофеич, однако, посмотрел совсем иначе: «Толкнули и хорошо сделали, так ему нечестивцу и надо», — сказал старик.

— Да почему же нечестивцу? — удивился Никодим.

— Молоды вы еще, Никодим Михайлович, людей не различаете: кто из них есть добрый человек, а кто черта прислужник.

— И как это тебе, Ерофеич, не надоело с нечистью возиться? Постоянно она у тебя на уме. Ты лучше сделай мне одолжение, узнай, часто ли здесь бывает лобачевский управляющий, и что он тут делает?

— И узнавать ходить не надо: сам знаю.

— Что же ты не сказал мне об этом раньше?

— Не изволили спрашивать, Никодим Михайлович. Да и полагал я, что вам через батюшку известно: ведь батюшка тоже с давних пор...

— Что с давних пор?

— То... убрать отсюда этого арапа хотели...

— Убрать? Отсюда? — переспросил Никодим. — Послушай, Ерофеич, что ты хочешь сказать?

Старик взглянул искоса, потом, приподнявшись на цыпочки, спросил шепотом:

— А старому барину не скажете?

— Нет, не скажу.

— И барыне?

— Тоже не скажу.

— Ну вот. Чтоб не нагорело мне старому... около барыни все этот долговязый увивался. Бог знает за-чем, а только увивался.

— Что ты говоришь, Ерофеич! — возмущенно вос-кликнул Никодим. — Экой старый болтун! Иди к себе.

— Да я что же? — стал оправдываться старик. — Я ничего. Я ведь только про долговязого. Я про барыню не то что сам дурного не скажу — другому полсловечка не дам вымолвить.

— Ах, замолчи! Только этого еще недоставало, чтоб ты болтал: сегодня скажешь одно, завтра другое, а там, глядишь, уже пошла гулять сплетня. Иди!

Походив по комнате минут десять в большом раз-дражении, он все же опять позвонил Ерофеичу.

Старик явился не сразу, а когда вошел — робко стал у притолоки.

— Бывал здесь лобачевский управляющий рань-ше? — спросил его Никодим строго.

— Так точно, бывали, — ответил тот.

— А когда же он здесь бывал?

— Лет десять уж назад. С господином Лобачевым вместе.

— Сколько же ему лет? Ведь он совсем молодым выглядит.

— Никак нет — ему уже за тридцать.

— Что же тебе говорил отец о нем?

— Ничего не изволили говорить.

— Так откуда же ты взял всю эту чушь?

Старик молчал.

— Сам сообразил?

— Так точно, сам сообразил.

— Ну и сообразил. Иди теперь к себе и думай побольше. Но прежде скажи мне, как зовут лобачев-ского управляющего?

Старик мялся и молчал.

— Ну что же, запомятовал?

— Так точно: запомятовал. Мудрено очень, не по-русски.

— Даже и не знаешь, а тоже говоришь. Иди.

Старик опять ушел очень огорченный, но Никодиму стало немного стыдно, что он так обошелся с ним. «Впрочем, — утешил он себя, — как бы иначе я должен был поступить?»

Выйдя через полчаса из дому, Никодим распорядил-ся оседлать для себя лошадь и поехал на лобачевскую

фабрику. До нее было совсем недалеко. Стояла она на сырой луговине, недавно очищенной от леса: здесь и там торчали сосновые и березовые пни — одни уже засохшие, другие еще выпускающие каждую весну молодые побеги...

Фабрика состояла из нескольких высоких кирпичных корпусов, прямых, неоштукатуренных, с большими закоптевшими окнами; около корпусов ютились почерневшие избушки, с крытыми переходами, погребками, навесами; все это было обнесено дощатым забором выше человеческого роста и только через одни ворота можно было попасть внутрь. Но ворота были закрыты, и на лавочке у калитки сидел сторож.

Подъехав к нему, Никодим спросил, находится ли здесь сейчас господин Уокер. Сторож не понял вопроса. Тогда Никодим спросил иначе:

— Нельзя ли повидать управляющего?

— Да их уж нету, — ответил сторож.

— Уехали уже?

— Уехали. Так точно.

— А когда опять будет, неизвестно?

— Неизвестно.

— Но фабрику можно осмотреть?

— Не приказано показывать. Обратитесь к управляющему.

— Я не знаю, где он живет.

— Нам тоже неизвестно...

Никодим повернул лошадь, взял с разбегу две канавы и, выехав на дорогу, быстро доскакал домой.

Он сел в столовой опять у окна и попытался вызвать вчерашнего своего собеседника. Сначала это не удавалось, но когда он почувствовал уже знакомое разделение, даже обрадовался.

— Вот так всегда, — сказал ему Никодим, — сердись, бегаешь, спрашиваешь, бранишься и все ни к чему.

— А ты попробуй не сердиться.

— Знаю. Затем ты скажешь: попробуй не бегать, попробуй не спрашивать и так далее и так далее.

— Нет, зачем же? Я никогда не пускаюсь в крайности. Из-за чего ты сердись?

— Как из-за чего? Из-за мамы.

— Не верю.

— Послушай.

— И вовсе не из-за мамы, а из-за госпожи NN.

— Вот выдумал. Откуда ты взял это?

— Очень просто: ты забыл маму.

— Извини, я обозлился из-за того, что Ерофеич стал говорить глупости о маме.

— Да так. Но ты ведь и сразу не признал слов Ерофеича за достоверное, чего же было злиться?

— Да я уже не злюсь. Но не упрекай меня госпожой NN.

— И не думаю тебя упрекать ею. Я упрекаю тебя за то, что ты забыл маму и пустился в какие-то приключения.

— Маму я не забывал. Кто станет сомневаться в том, что она действительно мне мать? Было бы ведь глупо. А если это непреложно и действительно непреложно, тогда все, что бы я ни делал, что бы я ни думал — только через нее и для нее, — безразлично, помню я о ней или нет. Она живет во мне, как и я живу в ней. А о каких ты приключениях говоришь, что будто я в них пускался, я не понимаю. Уж не то ли, что я ездил к Лобачеву или в Исакогорку к госпоже NN? На Надеждинскую я попал совершенно случайно, из-за десяти шкафов, а в Исакогорку ездил, чтобы узнать адрес мамы.

— Так, так...

— Да, так... Я еще ездил и к Якову Савельичу, но чтобы попросить у него совета и содействия. Яков Савельич добрый человек и всегда относился ко мне по-хорошему.

— Вот уж добрый. Для него вся твоя история представляет не больше интереса, чем для любителя какая-нибудь табакерка с музыкой. Я вижу, ты опять волнуешься. Ну, ну! Успокойся. О неразделимости ты очень хорошо рассудил, нет слов, но вот, когда ты поехал на Надеждинскую, зачем же тебе нужно было хватать госпожу NN за руки?

Уязвленный последним вопросом, Никодим ничего не ответил.

— Не знаешь? — ядовито спросил собеседник. — Думаешь, что злишься на Ерофеича из-за мамы, но когда Ерофеич вошел к тебе, ты уже был зол. И все из-за госпожи NN, то есть из-за того, что до сего времени ты не признался ей в любви.

— Не только из-за этого.

— Да, не только, но и потому еще, что и не можешь признаться ей в любви.

— А почему? Как ты думаешь?

— Вот вопрос!

— Я тебе могу сказать, если хочешь: я не знаю, любит ли она меня.

— И вовсе не потому: тебе мешают Лобачев и Уокер.

— Как мешают?

— Тебе все кажется, что они неотделимы от нее.

— Ну да, мне ясно... что госпожа NN... что же ты думаешь, так просто это... вот ведь дощечки-то на Надеждинской были прибиты рядом...

— Какие дощечки?

— Будто не знаешь: на дверях, именные... А разве об Уокере я не слышал раньше?

— Ах, так! Ну словом, то самое, о чем и я говорю: ты боишься, что госпожа NN кого-то уже любит.

— Да, да. Любит... Иди вон!

— Ха-ха-ха. Куда же?

— Куда хочешь.

— Я буду продолжать разговор, не затрагивая больных мест... Гадкий ты человек — своей любви не веришь. Самолюбивый ты человек — а хочешь быть добрым?

— Откуда ты взял, что я хочу быть добрым?

— Насквозь тебя вижу: к примеру, Ерофеича за сплетни выбранишь, и тут же расчувствуешься: ах, зачем я такой... злой.

— Пожалуйста, не навязывай мне доброты. Вот я возьму и убью обоих: Уокера и Лобачева. Пусть они не думают, что могут стать мне на дороге. Ты меня трусом сегодня обозвал — это они трусы, а не я. Они убить не посмеют.

— Не горячись. И давай сойдемся на том, что хотя дела твои и добры, но в глубине души ты ими не доволен — дух твой горд и зол.

— Да, я принципиально злой человек.

— Ты хорошо сказал. Но, к сожалению, эта принципиальность, будучи в постоянном разногласии с действительностью, только вредит тебе. Я охотно верю, что ты способен отправить на тот свет Лобачева и Уокера... а госпожу NN вымыть — в спирту. Но знаешь ли, о чем я еще сейчас догадываюсь? Ты вот в глубине души держишь несколько совсем особенных слов, они-то и заставили тебя сказать: пойду и убью...

— Какие же это слова?

— Три слова всего: человека убить просто.

— Ты угадал.

— Еще бы не угадать. Но здесь-то и кроется твоя ошибка: человека убить нелегко.

— Почему?

— Конечно, законы нравственности тут ни при чем, страх ответственности для тебя только привлекателен. Но кровь не простит... то есть мать не простит... ну в каждом человеке течет кровь, данная ему матерью... как сок в винограде... вино... впрочем, я путаться начинаю...

Заря опять догорела. Никодим занавесил окно в столовой и зажег лампу с синевато-золотистым светом: он любил зажигать ее...

ГЛАВА XVIII

Ряса отца Дамиана Хромого.

Отец Дамиан, носивший прозвище «Хромой» и хорошо известный в округе каждому, был духовным отцом Евгении Александровны и старым другом Михаила Онуфриевича.

О нем вспомнил Никодим на другой день, сидя опять в столовой перед окном. Вспомнив, он сейчас же вскочил и пошел наверх, в башню, но не в кабинет и не в спальню.

Между кабинетом и спальней был узкий коридор и в конце его лесенка вела на чердак. По этой лесенке взбежал Никодим и остановился перед запертой дверью.

«Кто же мог запереть дверь?»...

Пришлось позвать снова Ерофеича. Но тот также ничего не знал.

— Вероятно, старый барин заперли — кому больше? — сказал он.

— А мне нужно попасть туда.

— Да как же попадете? Сломать замок разве?

— Конечно, сломать.

— А старый барин что скажут?

— Не учи меня, пожалуйста. Я на тебя со вчерашнего дня сердит. Болтаешь тут всякий вздор. Неси лучше отвертку, что ли?

— Отверткой тут ничего не сделаешь, — ответил Ерофеич виновато и чуть не со слезой в голосе.

— Тогда принеси ключи, какие есть. Может быть, подойдет что.

Ерофеич сбежал вниз и вернулся с большою связкой ключей. Они перепробовали всю, но ни один из них не подошел к замку.

— Разве с крыши еще попытаться, — сказал Ерофеич, подумав.

Когда-то выход на крышу был проделан Михаилом Онуфриевичем.

— То есть с крыши на крышу? На башню? — спросил Никодим.

— Так точно, на башню.

— Ну, позови людей, вели им принести стремянку.

Стремянку вскоре принесли, протащив ее через кабинет. Отослав людей, Никодим вместе с Ерофеичем приставил лестницу к крыше башни.

Ерофеич забрался первым. Он сразу нашел лист с защелкой и, откинув ее, потянул лист вверх, но тот не поддавался.

— Тоже заперто, — сказал старик виновато.

— Только путаешь меня напрасно, — ответил ему Никодим. — Говорил я тебе, что надо сломать дверь.

— Где же ее ломаешь, этакую махину. Не пононешнему делана. Да и как будешь в своем-то доме ломать?

Никодим еще потыкал дверь пальцем. Конечно, ломать дверь в своем доме смешно — Ерофеич прав. И если действительно ее запер отец — неудобно будет перед ним.

А попасть на чердак Никодиму очень хотелось.

Недовольный он сошел опять в столовую и, остановившись перед окном, мысленно представил себе ту комнату на чердаке.

Когда-то в ней жил Михаил Онуфриевич.

Это была небольшая комната, выгороженная из чердака двойной стеной; низкий потолок шел наискось к маленькому слуховому оконцу и спускался там так круто, что Никодим к оконцу мог подходить только согнувшись. Посреди комнаты, у трубы, стояла, обма-

занная глиною, кухонная плита, всего в аршин, с одной выюшкой...

Направо на стене висели три охотничьих ружья, с патронташами и несколько старинных литографий в рамках: на литографиях изображены были романтические ландшафты. В углу за плитой приютилась деревянная кровать, сколоченная просто из досок и прибитая к стене.

Налево, уходя на три четверти в двойную стену, возвышался черный шкаф: он, обыкновенно, запирался на ключ и ключ вешался за икону святого Михаила Архистратига Сил Небесных — в красном углу.

Никодим мысленно отпер шкаф. Там на гвоздике висело что-то черное, какая-то одежда. Никодим взял ее за рукава и развел их в стороны: черное оказалось рясой. «Ряса отца Дамиана».

В молодости Михаил Онуфриевич провел три года в монастыре послушником, под началом у отца Дамиана. Ряса, висевшая в черном шкафу, была подарена Михаилу Онуфриевичу при выходе из монастыря отцом Дамианом на прощанье.

И вот Дамианова ряса теперь появилась перед Никодимом в кресле напротив. Появился, собственно, тот, уже знакомый нам собеседник, но он облачился сегодня в рясу.

— Видишь, — сказал он Никодиму, — совсем не нужно было ломать дверь на чердак. Стоило тебе захотеть видеть рясу, как я в ней явился.

— Да, удобно. Ты начинаешь отучивать меня постепенно от всякого труда.

— Отучивать? Нет. Ты никогда и не был привычен к труду. Трудился всегда я. И тебе будет действительно очень удобно, когда я начну все делать для тебя.

— Даже такие чудесные дела, как похищать рясу через две запертые двери.

— Даже.

— А может быть, мамины письма ты разберешь за меня?

— Что же, тебе очень стыдно сделать это самому?

— Очень стыдно...

Монах помолчал. Потом сказал как-то между прочим:

— Тебе же Яков Савельич разрешил.

Но Никодим за эту мысль ухватился.

— Да, разрешил. Я знаю. И я поступил бы так, как он сказал. Но ты мне решительно мешаешь. С тех пор, как я начал чувствовать тебя, я не могу не считаться с тем, что говоришь и думаешь ты.

— А что я думаю?

— Не только, что думаешь, но и как думаешь. Ты думаешь иронически, а волю мою взял себе.

— Послушай. Соберись с силами и поезжай к отцу Дамиану. Ведь он же духовный отец твоей матери — неужели он ничего не знает о ее жизни?

— Да он ничего не скажет. Разве он может и обязан?

— А ты возьми револьвер с собой. Приставь его ко лбу отца Дамиана и потребуй ответа.

— Фу! Какие глупости ты говоришь.

— Ничего не глупости, револьвер ты захвати с собой: если не на отца Дамиана, то на кого-нибудь другого пригодится. А писем разобрать ты все равно не сможешь.

— И не надо. И отца Дамиана не о чем спрашивать.

— Послушай. Не ты ли уверял меня, что любишь свою мать?

— Хорошо, хорошо. Только прекрати изливание своих наставлений — у меня голова разболелась от твоих речей. А рясу отнеси на место — откуда взял.

Собеседник встал. Ряса упала к его ногам, он свернул ее, взял под мышку и пропал. Никодим не заметил, куда он исчез...

Наутро он поехал в монастырь. До него было недале-

ко: верст сорок, но еще десять верст нужно было проплыть озером, так как монастырь стоял на острове.

Из ближайшего уездного города каждый день в монастырь уходил пароход с богомольцами, только в неопределенные часы. И приехав в город, Никодим уже не застал парохода, но не захотел дожидаться следующего дня и искать приюта где-либо в гостинице, а поблизости от пристани нанять до монастыря знакомого рыбака.

Погода была плохая: дождь, ветер, — встречная волна сильно качала лодку, и только в сумерках, на огонек, добрались, наконец, Никодим и рыбак до острова... Совершенно измокшие и оззявшие вышли они на берег, довольно далеко от монастырской пристани и, вытащив за собою лодку на песок, пошли размокшей тропинкой к воротам. Привратник впустил их, но сказал, что в церкви сейчас идет служба, а если им нужно кого-нибудь видеть, то придется обождать, так как, мол, в церковь-то неудобно идти мокрыми.

Они так и сделали — обождали, а потом, когда служба кончилась, доложили о Никодиме архимандриту отцу Иоасафу и провели Никодима к нему. В келье у отца архимандрита было жарко натоплено. Подали чай с вареньем, и отец Иоасаф — простой седенький старичок, ласковый, лукавый, хозяйственный — принялся расспрашивать Никодима о всяких делах — о ценах на сено, на хлеб. Но Никодим за последнее время сильно отстал от всех хозяйственных забот и не знал, что и отвечать. Он сослался на нездоровье: «Простудился, должно быть, плывучи по озеру», — а ему просто хотелось спать с дороги.

— Экий вы неосторожный, да нетерпеливый, — сказал ему отец архимандрит, — не могли парохода обождать. Однако такому гостю мы всегда рады. Видно, у вас дело какое есть к нам, или просто помолиться приехали?

— Да, есть дело, — ответил Никодим.

— Ко мне али к кому другому?

— Отца Дамиана хочу повидать.

— Прихварывать стал отец Дамиан: стар становится. Поди уж за восемьдесят перевалило. Вы его сегодня-то не тревожьте: завтра лучше; а теперь я вижу, вы спать хотите — пожалуйста в гостиницу. Я распорядился: там келейку вам приготовили получше других.

Поблагодарив отца архимандрита за привет и ласку, Никодим прошел в отведенную ему комнату: свеча еле освещала ее, было в ней немного холодновато и неуютно, но действительно это была одна из лучших комнат в гостинице.

Когда он вошел — за печкой что-то зашуршало. Но Никодим не обратил внимания на шорох: «Может быть, бес», — равнодушно подумал он и от усталости скоро заснул очень крепко.

Ночью он проснулся и, чувствуя, что совсем больше не хочет спать, зажег свечу и огляделся. Комната ему показалась уютнее и лучше, чем в первый раз. Одев уже просушенное, хотя и помятое платье, он выглянул в коридор и при слабом свете огарка, выходящем из его комнаты, увидел в конце коридора старческую фигуру монаха. Монах сидел на скамье, склонившись немного в сторону, и упорно глядел куда-то. Заметив свет и Никодима, он поднялся и направился к Никодимовой келье, слегка прихрамывая: это и был отец Дамиан.

Видеть почтенного отца Дамиана в такое неурочное время в гостиничном коридоре, словно на каком послушании, — было странно, и Никодим с удивлением в голосе воскликнул:

— Отец Дамиан, что вы тут делаете? Ведь ночь глубокая.

Отец Дамиан взглянул на Никодима, но как-то поверх его головы. Он и всегда так смотрел или в сторону, только не из гордости и не от лживости: глаза у него были голубые, очень светлые и очень простые,

но взгляду его было трудно, проходя по сторонам, останавливаться на человеческих лицах. Сам старец был высокого роста, прям и сух; седые волосы выбивались у него из-под клобука. Прихрамывал он слегка, но был слегка и глуховат.

— Да, да, ночь, сынок, ночь глубокая, — ответил он.

— Я к вам приехал, отец Дамиан.

— Ко мне... да... хорошо... ко мне... это ведь архимандрит наш все говорит, что я стар становлюсь, да, покой мне нужен, а мне ночью-то не спится — греховные чары одолевают: какой я старик... плоть мне нужна для усмирения ума и плоти, а не покой... вот и брожу по ночам. В церковь бы пойти, что ли? Помолиться.

— Что же вы, отец Дамиан, здесь стоите? Зашли бы ко мне.

— Зайти, говоришь? Да, да... зайду. Или здесь постоим... постоим.

— Я к вам по делу приехал, отец Дамиан.

— По делу... да, по делу, говоришь... поживешь тут, у нас, помолишься... люблю я тебя, сынок.

— Ох, отец, у меня душа ноет. Вы знаете, я вчера вашу рясу все хотел достать. Как вас вспомнил, сейчас же и ряса ваша на ум пришла...

— Рясу, ты говоришь... да, да... рясу... помню...

— Ту самую, что вы моему отцу подарили.

— Да, да... подарил...

— И подумал: к кому же мне и обратиться, как не к вам?

— Обратиться, говоришь... да, да... обратиться... хорошая ряса... Я всегда хорошие рясы любил... грех... ох, на старости-то все припомнишь и обо всем снова передумаешь... цветики... речка... Дуняша голубушка... все в голове... бабочек мы с ней ловили... за речкой... у рожицы... не знаешь ты.

— Нет, не знаю. Детство свое вспоминаете?

— Детство, ты говоришь... да, да... детство.

— Отец Дамиан, мне страшно и вымолвить то, что нужно. Вы, может быть, сами слыхали: матушка наша пропала без вести.

— Да... пропала... пропала, сыночек, пропала... не вернулась... батюшка твой заезжал... сказывал. Кто же из нас без греха... простится, сынок, простится... я Богу молюсь денно и ночью...

— Батюшка тут был? А когда же?

— Заезжал, сынок, заезжал... Сказывал... жаловался... утешал я его... мудрый человек твой батюшка.

— Отец Дамиан, помогите мне... я хочу повидаться с матерью. Ведь она все вам говорила. Никто лучше вас ее дел и намерений не знал и не знает.

— Дел и намерений, говоришь... знаю, говоришь... да, да, все говорила, все знаю... вернется, думаю, матушка... вернется...

— Так скажите мне, отец Дамиан, что знаете. Вы простите меня за дерзость.

— Сказать, говоришь... какой же ты, сынок, глупый да смешной... Ведь она же мне на духу говорила... как я скажу?..

— Да как же мне быть?

— А что тебе быть, сынок?.. Я подумаю... Ты поживи тут денька три, обожди... я подумаю и скажу... Ну, прощай, сынок.

И, благословив Никодима, старец пошел на свое прежнее место.

Никодим не посмел идти за ним. Подумав, он уж решил было остаться в монастыре дня на три, как советовал Дамиан, и, постояв немного в коридоре, вернулся в келью и запер за собой дверь.

Но случай решил иначе.

(Продолжение следует.)

ОТ ФИРМЫ "АНТАРИС"

АСТРОЛОГИЯ

1. АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ в двух томах. ТОМ ПЕРВЫЙ: Мерц Б.А. "Астрология". Уникальная типология характеров. Система комбинирования различных факторов натальной карты. Для начинающих и профессиональных астрологов. Девор Н. "Астрология". Практически полный словарь астрологических терминов, необходимых каждому исследователю оккультизма. ТОМ ВТОРОЙ: "Сабанский календарь". Взаимодействие символов Зодиака в разных картах рождения. 2. Левин Дж. "Астрология от А до Я". Один из самых популярных учебников по астрологии. Для широкого круга читателей. 3. Редьяр Д. "Астрологическое исследование эмоциональных и психологических комплексов". 4. Редьяр Д. "Астрология личности". Классическое исследование выдающихся астрологов и философов Д. Редьяра. Представляют интерес для психологов, культурологов, социологов и Земли. Для читателей, желающих разобраться в вопросах оккультизма. 5. Гадес "Дирекции, транзиты и прогрессии". Для начинающих астрологов. 6. Бейли А. "Эзотерическая астрология". Выдающийся труд по средневековой астрологии. Анализ систем гармонизации отношений человека и космоса. Для широкого круга читателей. 7. Хоун М. "Новый учебник по астрологии". Квалифицированный разбор важнейших вопросов астрологии. 8. Аргилес Х., М. "МАНДАЛА". Основы астрологии. Для специалистов по астрологии. 9. Фирмикус Матернус "ДРЕВНЯЯ АСТРОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА". 10. Джонс М.Э. "АСТРОЛОГИЯ: КАК И ПОЧЕМУ ОНА РАБОТАЕТ". 11. Джонс М.Э. "Руководство по интерпретации гороскопа". 12. Гурджиев Г.И. "ВЗГЛЯДЫ ИЗ РЕАЛЬНОГО МИРА". 13. Успенский П.Д. "ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ ГЕОРГИЯ ГУРДЖИЕВА". 14. Успенский П.Д. "В ПОИСКАХ ЧУДЕСНОГО". 15. Сенар "ЗОДИАК. КЛЮЧ К ОНТОЛОГИИ". 16. Мхитарян К.Н. "НАУКА АСТРОЛОГИИ". 17. Мхитарян К.Н., Израитель Б.З. "ОСНОВЫ АСТРОЛОГИИ". 18. Палагина И.В. "ВАША ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ АСТРОЛОГА". 19. Палагина И.В. "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОРОСКОПА". 20. "РОССИЙСКИЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ".

Нужно отметить

НАИМЕНОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ в двух томах.
- 1.1. ТОМ ПЕРВЫЙ, 380 стр.
- 1.2. ТОМ ВТОРОЙ, 320 стр.
2. Левин Дж. "АСТРОЛОГИЯ ОТ А ДО Я", 360 стр.
3. Редьяр Д. "АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ", 350 стр.
4. Редьяр Д. "АСТРОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ", 450 стр.
5. Гадес "ДИРЕКЦИИ, ТРАНЗИТЫ И ПРОГРЕССИИ", 270 стр.
6. Бейли А. "ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ", 360 стр.
7. Хоун М. "НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО АСТРОЛОГИИ", 270 стр.
8. Аргилес Х., М. "МАНДАЛА", 140 стр.
9. Фирмикус Матернус "ДРЕВНЯЯ АСТРОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", 330 стр.
10. Джонс М.Э. "АСТРОЛОГИЯ: КАК И ПОЧЕМУ ОНА РАБОТАЕТ", 360 стр.
11. Джонс М.Э. "РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГОРОСКОПА", 190 стр.
12. Гурджиев Г.И. "ВЗГЛЯДЫ ИЗ РЕАЛЬНОГО МИРА", 280 стр.
13. Успенский П.Д. "В ПОИСКАХ ЧУДЕСНОГО", 400 стр.
14. Успенский П.Д. "ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ ГЕОРГИЯ ГУРДЖИЕВА", 400 стр.
15. Сенар "ЗОДИАК. КЛЮЧ К ОНТОЛОГИИ", 450 стр.
16. Мхитарян К.Н. "НАУКА АСТРОЛОГИИ", 200 стр.
17. Мхитарян К.Н., Израитель Б.З. "ОСНОВЫ АСТРОЛОГИИ", 300 стр.
18. Палагина И.В. "ВАША ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ АСТРОЛОГА", 150 стр.
19. Палагина И.В. "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОРОСКОПА", 220 стр.
20. "РОССИЙСКИЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ"

Цена (руб.)	Кол-во. экз.
15	—
14	—
16	—
15	—
16	—
12	—
16	—
12	—
8	—
15	—
16	—
10	—
14	—
16	—
16	—
18	—
10	—
14	—
10	—
15	—
150	—

ИТОГО:.....

фамилия, имя, отчество (или название организации)

почтовый адрес, телефон

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НУЖНО:

- сумму, полученную в графе "Итого" подписного купона, перечислить через сберегательный банк на р/с 468035 МП "Антарис" коммерческого банка "Забота" к/с 161121 ЦОУ Госбанка СССР МФО 299112 или почтовым переводом по адресу: 111123, Москва, а/я 6. "Библиотека астролога"
 - заполненный (печатными буквами) подписной купон "Библиотеки астролога", копию платежного поручения или квитанцию почтового перевода направить по адресу: 111123: Москва, а/я 6. "Библиотека астролога"
- По желанию организации-заказчика высылается типовый договор.
Последний день приема заказов - 1 февраля 1992 г.

Кроме того, астрологи фирмы "АНТАРИС" дадут Вам следующие письменные консультации:

- влияние планет на ваш характер и повседневную жизнь (15 стр. - 30 руб.)
 - тайны эмоциональной и сексуальной совместимости (12 стр. - 25 руб.)
 - календарь значимых событий вашей жизни (бизнес, семья, здоровье) (12 стр. - 30 руб.).
- А также, составят гороскоп вашего предприятия (мы вышлем вам типовый договор).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ НУЖНО:

- перевести через сберегательный банк соответствующую сумму на счет фирмы
- выслать заявку по адресу: 111123, Москва, а/я 6 - с указанием даты и места рождения, конвертом с обратным адресом и копией платежного документа.

Подписной купон
"Библиотеки астролога"
вернуть по адресу:
111123, Москва, а/я 6.
"Библиотека астролога".

АНТАРИС



Елена
ШВАРЦ

Простые стихи для себя и для Бога

Вступление

Молитва

Прорастает сквозь череп
Рогам и сходится в выси
Сводами острого храма,
И тихо струится оттуда
Прозящая молния вверх.
И — наконец — молящее щупальце
Шарит в пространствах нездешних.
И вдруг, не выдержав напряжения,
Рушится все — по плечам и макушке бьет,
И надо заново строить здание,
Пока покаянье
Горло
Живою слезою дерет.

1

Жалоба птенца

Боже,
прутяное гнездо свил Ты для меня
И положил на теплую землю на краю поля,
И туда не вползет змея,
Между небом и мной василек,
Великан одноглазый, раскачивается, как мулла.
Боже,
иногда ты берешь меня на ладонь
И сжимаешь мне горло
Слегка — чтобы я посвистела и песенку спела
Для Тебя, одного Тебя.
Иногда забываешь Ты обо мне —
Волчья лапа вчера пронеслась над гнездом,
А сегодня — шаги кругом
И ружейный во мраке гром, гром ружейный,
Зажарят, съедят, будто я птенец не Твой,
А ничейный. Лучше б ты, играя со мной,
Раздавил бы мне горло случайно.
Кто напев пропоет Тебе тайный?
Или... Или Ты хочешь услышать
Свист чудесный зажаренной птички?

2

Жалоба спички

Боже!
Ты бросил меня в темноту, я не знаю — зачем.
Адамантов костяк мой
На мыло пойдет, и мой фосфорный лук
Угаснет в болоте.
Иногда Ты находишь меня,
Как в дырявом кармане спичку,
И чиркаешь лбом, головой
о беленую стену собора,
И страшно тогда мостовой
От сполохов Твоего взора.

3

Жалоба водки

Боже,
Ты влил мне в душу едкую радость
И тоску без предела, как я иногда наливала
Водкой пузырек и пила, где хотела — в магазине,
в метро.

Боже,

Благодарю Тебя — я не квас, не ситро,
А чистая водка тройной перегонки
В твоих погребах.

Но

Меня мучает страх —
Бес-алкоголик красным зарится оком,
Того и гляди — выпьет все ненароком.
Но я Божова водка, а не твоя,
О мерзкая злая змея!

4

Благодарю Тебя за все, Господь!
Ты чудно создал все миры, и дух, и плоть.
Несчастно-счастливы мы все — волчица, воробей,
В ночной и утренней росе вопим хвалу Тебе.
В друг друге любим мы, Господь, Тебя.
В мученьях сдохну я, Тебя любя.
О мастер — истечения, кровь, твои созвездья...
Чтоб испытать себя, ты — нас миллионом лезвий
Кромсаешь, режешь,
Но
Я — Ты,
Ты знаешь, и в ров к драконам темноты
Себя кидаешь, меня, мою тоску, любовь,
Пусть я — змееныш,
Но в этой темной плоти Ты
Со мною тонешь.

5

О Боже! В кошельке плоски, мы души губим.
Кругом меня все пятаки, я — рубль.
Господь, Ты купишь на меня ужасный опыт —
Когда котеночком в ведре меня потопят.

6

Мне двадцать восемь с половиной
Сегодня стукнуло. Итак:
Была я в патине и тине,
И мозг мой терся о наждак.
Но вот Господь висок пронзил
Тупой язвящею иглой,
Вколол мне в мозг соль страшных сил,
И тут рассталась я с собой.
В пещере столько лет проспав,
Мой дух ленивый пробудился,
Изменился крови состав,
И мыслей цвет преобразился.
Твой огненно-прицельный взор
Прожег весь мир и занавеску,
Но в череп этот страшный лаз
Я тотчас заленила воском.

7

Господи, верни мою игрушку.
Мой любовник — он моя игрушка,
Гуттаперчевая синяя лягушка,
Чуть толкнешь — подпрыгнет, слабо пискнет,
Мой — он, мой, никто его не свистнет,
Он — моя, моя, моя игрушка.

8

Галка серо-зеленых глаз,
Мерцающих в жидкости слезной, глазной.
Я помню — как спас Ты меня в первый раз,
И мне страшно, и бьет озноб.
Пуля должна была ворваться в череп
И прокусить жизни нить, все там разбросать
И белым пламенем ослепить.
Но ты оттолкнул ее,
И пролетела белой лентой вдоль глаз,
Подкинул меня на ладони — поймал,
Подкинул — поймал, и еще не раз
ты мною играл в бильбоке —
Мастер, гипнопотам, мотылек,
В надтреснутый жизни хрустальный бокал
Ловил — в пузырек.

9

Никому себя не подарить.
Распродать бы по частям — опасно.
Все равно ведь мед с цикуткой пить.
Свету мало. Благодать ужасна.

г. Ленинград, 1976 г.

Часть 2. Мы почти гении.

Я родился под мелкой счастливой звездой, поэтому мое счастье видно только мне одному. Ты нужен мне, Зерчанинов, чтобы пустейшие мои мысли не чувствовали себя в книге одинокими. Считай, что ты вымышленная фигура.

Итак, кто сегодня: Кильберг или Винницкий? Винницкий или Кильберг? Да, но один — главный дирижер оперетты, а другой — второй дирижер, а ко второму всегда сочувствия больше. Хотя главный очень рослый и представительный — Кильберг, но и Винницкий совсем неплох, когда дают «Сильву», и вообще еще неизвестно, кто лучше дирижирует в оперетте классика!

Кильберг — красавец во фраке, но слишком важен и суров для оперетты, а может быть, так и надо, чтобы по мановению палочки ученого и важного мужа началось на сцене нечто невообразимое, все эти бесконечные нелепости и глупости, и чтобы у оркестра всегда академический вид, и без тени улыбки.

— Закончить консерваторию, чтобы стать второй скрипкой в оперетте!

Да это же честь, дорогие мои, и для вашего Вити, и для нас всех, это и для здоровья важно, опера старит, а здесь ты всегда у примадонны под юбкой со своим консерваторским дипломом и скрипочкой. Твоей причастности к этому пошлому миру завидуют, поверь. Оперетта — это давно Америка, если хочешь знать. Тот, кто там побывал, меня поймет. Не знающая войн, полная непричастность к горю, наивно верит в любую чушь, лишь бы эта чушь была занимательной, и даже, о Господи, верящая, что она идеал для всего человечества. Оперетта — это театральная Америка. Не о результатах говорю, они жалкие, о пиршестве.

Как это возникает, по чьему сигналу, какими болезнями страдают создатели оперетты, страдают ли, отчего она могла родиться и почему все еще живет, покой откуда, надежная, основательная глупость откуда?

Я готов идти в ученики к оперетте. Стоящая большого труда, она своим результатом понятие «труд» компрометирует. Столько усилий и ради чего?!

Но через всю жизнь мистер Икс с мужичком круглым лицом Георга Отса, Ярон с цыпленком, Богданова-Чеснокова с ее распутным, невероятным носом. Странно видеть могилы опереточных певцов, цирковых клоунов, все это розыгрыш, шуточки.

Я ехал на фаэтоне в горы Словакии по мягкой пыльной дороге смотреть питомник, где родился от счастливого брака зубра и коровы удивительный теленок. Я ехал в гору, покачивался фаэтон, и спины двух возниц покачивались, ехал смотреть новое чудо селекции. Между мною и теленком только проволочная ограда, мы смотрим друг другу в глаза, родителей вообще не видно, чадо же стоит на пригорке, длинные мамины ноги в кочках папиной шерсти. Словаки говорят: за этим чудовищем будущее, в нем много мяса.

Стою, смотрю в глаза оперетты, они — в меня, раскаляются бешеным блеском, и вот уже раскручивается увертюра, в которой обещание счастья, темы повторяются, повторяются, не утомляя, что-то старомодное в них и такое атавистически родное, что смотришь и слушаешь, не отрываясь. Человечек рожден для счастья, это оперетта доказывает убедительней Максима Горького. Счастье заканчивается с последними аккордами оркестра, потом аккуратно складывают панталоны со штрипками, прячут скрипки в футляры, и за пределами оперетты за вас уже ответственности не несут.

Наверное, наша эпоха недостаточно скучна, если мы не возродили оперетту, ведь ее расцвет — именно в скучнейшую из эпох, во времена Габсбургов, Австро-Венгерской монархии. Австро-Венгрия и — место рождения бравого солдата Швейка. Австро-Венгрия — это бесконечный роман Музиля «Человек без свойств», который прочесть нельзя, но о котором говорят — гениально.

Австро-Венгрия — это сколько угодно времени, это хочешь смотреть — смотри, хочешь любить — люби. Как фаэтон, как мягкая дорога, как старый, разбитый диван, как оперетта, которая при всей своей искрометности все-таки всегда: не торопясь, медленно, в гору, находя время, чтобы остановиться и попеть.

Пока здесь, мой друг, я должен поторопиться и написать о детстве. Оно прошло во дворе, на мусорном баке, где в течение года я расска-

зывал своим ровесникам роман «Стерва» в 140 частях, 57-ю услышал только один, сопровождавший меня в малый зал кинотеатра Горького с портретами Переверзева, Ладыниной, Стоярова. Он буквально вымолил у меня продолжение. Я не дождался вечера, рассказал ему одному и оставил шпану навсегда без 57-й части.

Теперь вот досказываю эту часть кому только возможно.

Роман был грубый, но не переходящий границ, важно было создать образ девочки-пацанки, укравшей мотоцикл у отца-грузчика. Важна была тяга к свободе — удрать на этом мотоцикле от вечно пьяного отца, пиццей жизни.

Нужен был я моим друзьям только для этих вот рассказов, в остальном они прекрасно без меня обходились. Так оно и продолжается до сих пор. И, помня это, я часто ставлю неблагодарных зрителей в трудное положение, то крысу брошу в зал («Скверный анекдот»), то по головам актеры пройдут в «Соломенной шляпке», то все двери закрою, вынудив проталкиваться в одну, чтобы попасть в зал. Девочки наши вытягивают их на сцену танцевать, а они отказываются, жмутся, бедные, замороченные, не подозревающие о счастье. Да что ты все время к зрителю пристаешь!

Едет через зал лодка, весло гребца угрожающе висит над головами, зритель в страхе отклоняется, но смеется, над своим страхом смеется. Наконец-то!

Как говорил Бендер: «Побольше цинизма. Людям это нравится».

Эйзенштейн рассказывал, как в Америке у Чаплина дома сочинили игру: один из присутствующих выходил из комнаты, оставшиеся составляли оценки его качествам и свойствам. Чаплину за чувство юмора поставили «четыре». Он обиделся: «Почему «четыре»? — «Потому что обиделся».

Я хотел бы быть самым несерьезным человеком на свете, Зерчанинов, у меня это не получается. Театр начинается с глупости, с пустого листа, с нуля, к этому же нулю в конце концов и стремится. Это нетрудно доказать, можно доказать, жаль, что не поверят.

Они движутся за мной стайкой. Когда-то всемогущие, теперь беспомощные, как тени. Все, что могу, — оглянуться. Феномен исчезновения всегда поражал меня. Только что был — и уже нет вместе с памятью о нем. Что за забывчивость, кто ее автор? Надо помнить ненужное, уникальное помнить. Это все равно, что вспомнить детство.

Каким движением подбирала подол платья Гловацкая, примадонна одесской оперетты. Настолько несущественно, настолько глупо помнить начинающую уже тогда полнеть молодую одесскую примадонну, все равно что морочить голову гостям фотографиями из семейного альбома.

— Неужели это вы?

— Я.

— Какая прелесть!

Я стою под звездным небом и ловлю очертания людей. Гутман, Терентьев, Фореггер. Я ненасытен на встречи с ушедшими. Так боюсь встречаться с живыми, а за ушедших готов хлопотать, они мне нравятся.

— Тебе что — великих, признанных недостаточно?

— Недостаточно. Они в нашем внимании не нуждаются.

Мои же бесконечно скромны. Иногда кажется, что эпоха наша приучила человека не сознавать собственное значение, во всяком случае, до такой степени, чтобы он платил за это значение жизнью. Мы очень негордые люди. И вот чью-то скромность приходится сейчас расхлебывать. А вдруг это из страха быть замеченным и уничтоженным? Никто не согласится добровольно. А вдруг это осознание, что главное сделано? Или обида? Или такое не слишком сильное честолюбие? А может быть, возможности исчерпаны? Отдувайся теперь за них, скромников.

Может ли художник признать над собой приоритет другого художника, своего современника, более мощного, как ему кажется? Может, но я никогда не поверю, что признал настоящему. Просто ему не повезло. Бог — это случай, здесь ничего не поделаешь.

Гутман сверкал, Давид Гутман метался по Москве, Ленинграду, лечил больные театры, лишенные юмора, первый главный режиссер Театра сатиры в Москве, комедии в Ленинграде, неутомимый мюзик-холлыщик.

Он спрашивал: «Вы как меня нанимаете — со склокой или без склоки? Со склокой я беру по штатному расписанию, а без склоки — в два раза больше».

Сатирические обозрения — жанр ушедший. Почему? Их беглость принималась за поверхностность, сегодняшнему актеру, автору не хочется тратить вдохновение на однодневку.

Если это театральные пародии, то, кроме злости, люди театра к людям театра ничего не испытывают, а злость — нетворческое чувство. Если о социальных неполадках, то каждый день новая — не успеть. И потом абсолютно неинтересно жить сегодняшним днем; он смердит, он отвратителен.

И в двадцатые годы был выбор между вечностью и злободневностью, но почему-то уживалось и то, и другое.

Окончание. Начало см. в № 9, 1991 г.

КН НАП

Мих.
Левитин

ТА, САНАЯ ВТОРОПЯХ

— Пожалуй, я этим займусь, — говорил Гутман. — Мы живем, это смешно, это весело, это необязательно, почему не заняться?

Он любил тексты, которые можно стереть резинкой, любил театр, который невозможно испортить импровизацией.

Странно деформированное лицо доброго злодея: выпуклый лоб, вдавленная нижняя часть, грустные глаза. Актеры любили смотреть на него, это доставляло удовольствие. Неудержимо подвижный, странный живой человек. Он подгонял театр, колотил, как старую клячу, кулаком по задку, и она неслась врасскоряку.

Гениально сетовала 1 мая бабка — соседка Гутмана уже после его смерти:

— Гутман на том свете бушует, такого организатора они не имели, им очень повезло, что он среди них.

Никакой памяти о Гутмане, как никакой о подметальщике улиц. Несерьезное занятие, несерьезный человек. Человек без манифеста.

— Детки, я здесь! — говорил он, входя в театр, и жить становилось интересно.

Я тру ладонь о ладонь, возвращаю глупость, где ты — моя любимая? Сколько можно эпохальным заниматься, уже и оперетта претендует на масштаб. А быстро, а бегло, а мелко, а легко, а необязательно — что, не можете, слабо?

«Когда моя тетка подарила мне письменный стол, я сказал себе: «Ну вот, сяду за этот стол и первую мысль сочиню за этим столом особенно умную». Но особенно умной мысли я сочинить не мог.

Тогда я сказал себе: «Хорошо. Не удалось сочинить особенно умную мысль, тогда сочиню особенно глупую». Но особенно глупую мысль я сочинить тоже не мог. Все крайнее делается очень трудно...» Даниил Хармс.

В детстве я отворачивался перед сном к стене и восстанавливал мимически выражения лиц всех встреченных мною за день. Они начинались гримасой и доходили до пупка. Я уставал быть ими, исчерпывал день, засыпал.

И вот сейчас в той злополучной больнице, на койке Марселя Марсо, в первую ночь они посыпались на меня, как колода карт, без разбора, всех мастей, легкие, одушевленные. Такое повыскакивало, что диву даешься, даже из случайных трамвайных встреч, и очень развеселило.

Их было множество, никто не предполагал сосредоточиться на собственной личности, это были обозрения Гутмана, всё есть, на выбор, никто не обманут, зрительские деньги даром не потрачены.

Тут нужна большая человечность. Она может быть подменена большим цинизмом, но Гутман — человеческий режиссер. Он спешил отразить, брал болванку жизни, заготовку, импровизировал. Актерам все понятно, не умственно, весело, стремительно. Знаменитый спектакль-обозрение «Мишка, верти!». Представление — модуль, направление задания могло изменить все, он их и менял, такое устраивал, партнер не знал, чего ждать от партнера, все в предвкушении розыгрыша, Гутман безумно интриговал внутри спектакля, ну нет у меня такой свободы! Гутман, верти!

Мы ищем навсегда, а они — на один раз. Мы проповедуем необязательность, создаем целую систему, а они были просто

раскрепощены и подвижны. Мы — классику, они — сегодняшний день, даже минуту. Но все-таки от них пришло к нам это уютное благоустройство в любом материале, довольство малостью, отношение к материалу, как к шапиту, а не на века выстроенному Колизею.

Я всегда верил, что у меня есть предшественники, что служу традиции, даже когда говорили, что только разрушаю.

А барон Николай Михайлович Фореггер фон Грейфентурн? Здесь просто недоразумение. Живой классик, а так как репертуар мелкотравчатый — обозрения, мелодрамы, оперетты, то и говорить не о чем. Театр до сих пор для нас исчерпывается тем, что он ставит, драматургией.

Остались в истории сочиненные им танцы машин, да и то как подражание Западу.

Вообще этот барон — исчадие нэпа, дурным вкусом потрафлял, и так останется, если мы не поймем сейчас, что нэп для театра — это возвращение к счастью, возвращение к тебе, любимой, которая скоро снова умотает во всякие там свои заграницы, и ты вдыхаешь все ее запахи на память, чтобы по ним представлять дальние страны.

Барон фон Грейфентурн, он же Николай Фореггер, был человек выдающийся, его даже Мейерхольд признавал. Талантливейший пластик, эрудит, академически образованный, он с таким достоинством презрел эпоху, что она этого даже и не заметила.

Знал много, умел все, хотел только одного — не принимать близко к сердцу. Это тогда называлось эстетством.

В мастерской Фореггера, Мастфоре создавались чудеса. А потом театр сгорел, создатель растворился, ушел в балетмейстеры, был падок на женскую наготу и прелесть. Потерял все, но избежал потери самого себя. То, что умер в своей постели в тридцать девятом, считаю счастливой случайностью, недоразумением.

Ну вот был бы я бароном, Юра, или был бы у меня юмор Гутмана, а вдруг бы я... Безумие проходит, сожалею, но безумие проходит.

Я всегда любил пустоту, о глупость моего детства, уходящая, как оркестр из городского сада. Если вам удалось подсмотреть, как в сумерки, отыграв, встают музыканты, потягиваясь, начинают собирать ноты, как хмуро первым убегает капельмейстер и оркестровая чаша посреди городского сада превращается в черную дыру, тогда вы все понимаете. А потом на тех же скамейках, что и оркестр, — местная шпана, тлеют сигарки, Шопен сменяется совсем другой музыкой. Все это слишком красиво, но так неудержимо уходит жизнь, что хочется вспоминать ее, как красивую.

Так кто сегодня — Кильберг или Винницкий? Винницкий или Кильберг?

Я не согласен в оценках пошлости, как и в оценках великого.

Бывает великая пошлость, знаете, великая банальность, и она добра к людям, а этого достаточно. Я никогда до великой пошлости не поднимался. Люди о чем-то не догадываются, бывает, но если они что-то знают?

Семечки у Ланжерона, все залузгано, день футбола, дядя, ненавидящий футбол, выбивает меня, семилетнего, коленкой под зад из переполненного болельщиками троллейбуса на-

встречу другому дяде, футбольному фанату. Голубизна стадиона вокруг, когда ты сидишь на одном из витков спирали, уходящей в небо. Не успел прожить, не належа в песке у моря. Песок казался грязным и колючим, в окурочках. И легкая вонь. Так небрежно пованивает юг, так равнодушно. Подлокотники кресел должны быть багровые и стерты.

Мне дело есть до умерших. Я знаю бессмертный дух своей профессии.

Хочется беспроектной глупости и пустоты, умопомрачительной чепухи, блестящей, неотразимой. Где ее взять?

Может быть, на островах — в Карибском море, в Тихом океане? Одна надежда на острова, где любовь и глупость. Только легкие, необязательные люди способны на чудо. Вот он сидит сбоку, на скамеечке.

— Ну и что высидели, дядя?

— Солнце, мой дорогой, солнышко.

Уходит жизнь. Для моего отца, прикрывавшего лысину соломенной шляпой, солнце уже ушло.

Торговка кильками в газетных кулечках, маленькая, квадратная, с горящими черными глазами, вдавленной нижней частью лица, покатым лбом. Может быть, это Гутман?

— Пойдите, поторгуйте за меня, я на хвyliночку отойду.

А потом, наклонившись: «Ну, что вы там, молодой человек, наторговали?»

А молодой человек умирает от стыда, стоит в базарном ряду, торгует гутмановской килькой и молит Бога, чтобы никто из знакомых его не увидел.

Я все подбираюсь: откуда все берется? Почему эстрада и мещанство — синонимы, что такое халтура, есть ли она? Почему серебряные зубы хохочущих на эстрадных концертах немолодых зрительниц вызывают у меня озноб? Кажется: мертвые головы скалятся.

Но это для меня, для нас, постоянно думающих о смерти, а в мире есть еще и пожиратели раков, любители бань, а в мире есть еще легкое бытовое разложение, анекдоты, нега, закуски.

Мы несчастливы. Да что же нас так тянет в облака? Если закрыть правый глаз и заткнуть левое ухо, прекрасно можно продержаться на земле. Меня занимает земное, пропущенное мной существование. Пузатые мужчины и тощие, вертявые женщины. Накопительство и домашний уют. Мещанство. Его с такой радостью разоблачают.

Революция, конечно, перемешала ценности, идеи всякие, а человек оставался верен своим предкам и устраивался, устраивался. Кроме безумцев, все делали революцию для себя. Диктатор — это вдохновенный мещанин, наша жизнь — кукольное представление, и только солнце придает ей реальность.

Люблю наблюдать, как люди в штiblетах и кепочках разговаривают друг с другом около театра, вернее, выкрикивают что-то неопределенное друг другу. Это артисты после репетиции. Они спешат домой — спать. В провинции они сами создают вокруг себя сутолоку, чтобы не помереть от скуки, иллюзию занятости. И только честные не скрывают праздности.

Все эти пластинки я протащил по жизни за собой, они затерты, как моя жизнь, сквозь шипение и хрипы я слышу не голос певца, а свой собственный детский голосок, полный надежды.

Комплект «Белой акации» в желтом конверте, три пластинки. Наверное, я на диване лежал, подбрасывая бамбуковую палочку, а они гремели надо мной всеми несовершенными, но любимыми голосами хористов московской оперетты. Я прислушивался к советам этих голосов больше, чем к самым мудрым книгам. Это были стоны радости, звуковой радости моего детства. Я их, эти советы, эти пластинки, сохранил.

Создание подстрочников для опереточных арий, дуэтов непостижимо. Приходит же в голову людям подобная чушь! Сейчас они как-то настроились на большую поэзию, окультурились, а раньше писали, как не знакомые с рифмой и смыслом идиоты. Но в этом был великий смысл и жанр.

А еще раньше, в двадцатых, возник водевиль, то есть так и не возник, что-то пытались сделать одесситы: Катаев, Ильф, Петров, — как-то вывести театр из обозрения в водевиль, а потом, если получится, и в оперетту. Но, честно говоря, не получилось, очень смешно, но не получилось. Наверное, слишком много злости, слишком мало радости, анекдотических положений. Водевиль не прижился, не хвати-

ло беззлобности на целую пьесу. Он предполагает добродушие и хорошее настроение. Откуда взяться? «Безумный день», «Сильное чувство»... Одна экспрессия в названии, а на самом деле сценические комиксы, хотя кто посмеет утверждать, что это не театр? А если не пользоваться для этого настоящим театром, а так — играть где угодно, перед кем угодно в перерывах между митингами, страстями, любым другим красноречием? Пусть талант актера поднимет водевиль до уровня высокой комедии.

Все это старушечьи бредни, попытка сделать хищников травоядными. Зрителю кровь подавай, мясо. Ему нужны выкрики и страсти.

Я трус около двадцатых годов, боюсь отойти, там хоть какая-то надежда на профессию, легенда. А здесь с этими постоянными разговорами о содержательности нашей жизни, о содержательности искусства, по-моему, больше жить нельзя. Ну, до чего смешно — наводить порядок в мире, не наведя его в своей душе.

— А вот я оперетту не люблю, — говорит достойная дама. — Ну хоть убейте.

— Что вы, живите! Один не деликатный вопрос: а муж вас любит?

И тут дама сначала возмутится, потом сникнет, она догадается, в чем причина охлаждения к ней мужа. Немножко шарма, прошу вас, не скрывайте, у вас он есть. Немножко фривольности, немножко глупости.

Пустота доступна немногим. Ею владел Андрей Миронов, беспустоты вселялся в него, и, Боже мой, что начинали выделять персонажи. Всякие там бриллиантовые руки становились шедеврами. Ведь совсем ничего, никакого в его герое содержания.

— Но он же играет абсолютного дурака!

А, бросьте! И у дурака можно обнаружить содержание, Андрей же наслаждался безответственностью и пустотой. Это был единственный водевильный актер нашей страны. Способный гениально сыграть ничто. Вот счастливчик! А ему готовили содержательные роли, спасали. Содержательную сыграет любой сносный со средними способностями, а фейерверкер был один — Андрей Миронов. Никому не хочется показаться дураком. Ну и напрасно. Это так обаятельно.

Я стою около серой облупленной башни, в верхнем окне — силуэт барона фон Грейфентурна. Над ним музыка: «Мы — красные кавалеристы...»

Это барон, когда еще был известен в Москве как режиссер Николай Фореггер, называл «буденнизмом», быстро и ловко присваивал своему искусству спортивно-кавалерийские названия, лишь бы отцепились. Барон умел валять дурака. Под любое рискованное движение балерины подводилось мощное идеологическое основание. Движения эти были необходимы создателям, но могли быть истолкованы дурно. Барон, как и все бароны, не думал о последствиях. Он не знал, что люди без воображения только и будут что по этим ложным теориям судить о театре.

Люди верят только написанному. А написанное о театре всегда ложь. Диалог критиков через голову художника. Писать о театре не надо. Достаточно сказать: был такой-то, — остальное мы додумаем сами.

Барон снимает со стены ружье, открывает окно, вглядывается. Ищет кого-то. Не исключено, что барон — ворошиловский стрелок. Нашел. Прицелился. Замер. Звучит: «Мы — красные кавалеристы...» Сейчас спустит курок. В кого он целится? Он целится в меня.

Я спешу, Зерцанинов, и почему мне так нравится спешить?

На одной из репетиций «Парижской жизни» я разразился импровизированной лекцией об оперетте и почему-то ее запомнил. В ней Оффенбах становился психологичен, а Кальман — нет. У Кальмана Сильва могла спеть вместо Стаси, и наоборот, у Кальмана, если следовать музыке, Эдвин — кретин, даун сладкоголосый, а Сильва непомерных размеров толстуха, колонна из мяса. Оффенбаху музыку диктовали не либретто, а характеры тех, кто будет ее исполнять, его артистов со всеми их недостатками и возможностями, Кальман же сочинял для лучших, строил оперетту вообще. Отсюда гибкость оффенбаховская. Она принимает несовершенство как должное, ею можно пользоваться, не обладая высочайшей квалификацией, даже средние поющему драматическому артисту. Кальман же с высоты жанра поглядывал на нас.

Музыка Оффенбаха могла уже никому не принадлежать, просто одно из слагаемых счастья, как и мы все. У Кальмана же она называлась опереттой и стоила дорого.

Буду ли я ставить оперетту, буду ли ставить вообще?

Все, что не мешает сохранить иллюзию, что детство продолжается, буду ставить.

Бернес — уцененный Монтан или Бернес — это Бернес? Злодей Марк, вливающий в наши сердца сладкий идеологический бред. Любую песню, чтобы только длилась вера, не унималась надежда.

Нельзя же так сладко петь идеологию! По-моему, ему вообще был безразличен репертуар, лишь бы душевно. Только сейчас, после его смерти, напевая, я начал разбирать слова, а раньше все казалось любовным. Причем щемяще любовным, как и требовалось в детстве. Встречи и разлуки.

Я читал в «Комсомолке» о его водительском лихачестве, мол, народный артист нарушает, ездит на красный свет, и его тоже выстегали всенародно, но все это вписывалось в облик смелого, неотразимого мужчины, первого супермена советского кино.

Поклонники в Одессе утром под балконом гостиницы «Красная» будили его криками: «Марк Наумович, браво, Марк Наумович, просим!» И он не отказывал, выходил в пижаме на балкон, как глава незначительного государства, ежился от прохлады, укоризненно качал головой, но все же улыбался дамам снисходительно.

Он умер от рака в одной палате с еще одним замечательным мужчиной, Львом Свердлиным. Да что же это мы взяли и всех вдруг забыли навсегда? О чем они говорили перед смертью? Перед невыдуманной, настоящей, грозящей вскоре прекратить мужское их прекрасное существование? Как прощались? Вели простые обывательские разговоры или говорили о жизни вообще? Сколько лжи им пришлось сыграть, сколько неправды спеть!

Все мы были наполнены до краев восторгом причастности к большой истории, окрыленное поколение. А то, что обмануты, в дураках не мы, а другие, нам все равно удалось воодушевиться, зажечь о коробок спичку, сколько всего можно приписать художнику, если отбросить сюжет, а мы отбрасывали, и оставался голос, манера Бернеса, не его героя, он делал нас мужчинами.

Конечно же, он был злодей, злодей Марк, заставлявший нас сквозь идеологическую муть слушать неповторимый голос и догадываться, догадываться. А что оставалось, ничего другого не было.

«Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне...» — и я, въезжая первый раз в жизни в Париж, думал с подачи Бернеса только об одном: «В первом же магазинчике куплю кассету Монтана, всего-всего, не может не оказаться такой кассеты в Париже!»

Монтан — это коротко и почти сразу, как я родился, потому не помню. Бернес — это всегда, значит, и Монтан всегда. В пенальчике-магазине, что между Лувром и «Гранд опера», купил я кассету и весь Париж проходил, сжимая ее в кармане.

А потом, когда барон де Гондремарк в моей «Парижской жизни», оперетке-обзрну, возвращался в Швецию посрамленный, песня из этой кассеты звучала вслед ему.

Наши спектакли неназойливо автобиографичны, в них мы сводим счеты друг с другом и жизнью, не надо ставить о себе, но и для себя найдется место там, где Париж, музыка, счастье. Мы эмигрируем в собственные спектакли, мы уже давно эмигранты.

Было ли мне в жизни весело? Один раз, по-настоящему? Не помню. Хорошо было. Рядом с другом, рядом с отцом, рядом с любимой. А потом сразу мучительно: неужели это когда-нибудь кончится? Не обязательно счастливые концы, но надо давать надежду, надежду на бессмертие — так трудно жить, так трудно не верить.

Безголосые Монтан, Бернес — безголосые, неотразимые, дающие надежду обманщики.

Я ставлю перед собой задачу написать полную чушь. Чушь чушью и останется. Существование веселья где-то рядом я подозревал всегда. Веселья, безмятежности. Это никаким социальным устройством не уничтожить, можно только усугубить. Вымученные варьете, репризный юмор совсем ни при чем, не та тема. Я говорю про богиню Ахинею. Это богиня детства. Мы не были чересчур умными людьми, находили смысл во всем, любили дразнить друг друга — знаешь, брат, может, в своем деле ты и талант, но от рождения не умен, ох, как не умен!

Мы занимались только бесполезными делами. Правда, потом выяснилось, что все, не имеющее отношения к жизни, и стало нашим главным делом, для меня — театр. Но тогда входил приятель родителей, профессор-радиоволновик в мою комнату, брезгливо рассматривал томики Мольера, Шекспира, не глядя на меня, изрекал насмешливо: «Да-а-а, в вашем доме только театра не хватает».

Он был прав. Не хватало театра.

Пусть лжет театр, пусть лжет, чтобы в него хотелось ходить, — о вечной любви, о сплошном непрекращающемся веселье. Я согласен. Пусть крутит «Отверженных» Гюго. Всем нужен покровитель-каторжник. Пусть лжет театр. Мы и не понимаем, что нас подмяли под себя политики, что мы насквозь безнадежно идеологичны. Пусть томление, веселье, покой. Мне это уже не удастся, слишком непрост, издерган, подозрителен.

Порхание моли над искусством искусства не испортит. В конце концов все новое берет начало в какой-то древней забытой традиции, Фореггер у ярмарочных французских шарлатанов с их ударами бычьим пузырем по головам, подножками, кульбитами. А Гутман...

Ах, что вам этот Гутман, ну, что вам этот Гутман, каждым конференсье восхищаться?!

А ведь он рассмешил вас когда-то.

Все началось с великого драматурга и великого лизоблюда Жана Батиста Мольера, во всем первый, во всем шикарный. Бесстыдник.

Он брал сюжеты дворцовой жизни и быстренько, в пять дней, обозрения писал. Обозрения недолговечны. Мольеровские почему-то исключения. Мы их в собрании сочинений читаем. Но тогда куда же делись более близкие наши, с родными фигурами, типами, ситуациями?

Мольер покоя не давал. Казалось, создается вечность, а создавалось временное фуфу, подтирка с музыкой. Раз — и готово. Можно выбрасывать. А ведь писали талантливейшие люди. Что это — самоотречение? Создать театральный момент и тут же отказаться? Или наша жизнь бедней версальской? Это просто гримаса по ходу жизни, жест, отношение, сплошное фуфу. Обозреть-оборзеть. Беззлобно-бездумно. Треп по поводу жизни без обобщений, без вечных типов, неужели ничего не осталось? Ничего, навсегда.

Поиск смысла в пустоте, идеологические установки, но по ходу сколько театральных открытий, идей. Кипело творчество, а получался супчик, временный бедный супчик. Сами создатели, поев, тут же забывали его вкус.

Аромат исчезал уже в сумерки.

Это нервное дело — создавать обозрения. Какой-то спор с самими собой. Здесь много интуиции и очень мало литературы, сплошное самоотречение ради жадного насыщения зала. Залу был интересен только он сам, тут понимание, что аромат исчезнет в сумерки и надо торопиться. Обозрения — это бабочки-однодневки. Встретились и разбежались. Но связи могли возникнуть на долгие времена, идеи возникнуть, требующие разработки, золотая жила обнаружится неожиданно. Вдруг осознавалось сиюминутное, как явление с большим будущим, обоснованно претендующее на три акта.

Из анекдота возник Эрдман. Это самое сильное чудо превращения анекдота в трагикомедию. Из истории с ливерной колбасой — самоубийство по политическим мотивам. А может быть, просто в удачном направлении запустил колбасу, и она полетела, раскручивая пространство? Возник свой прочный стиль, умение работать суммой мгновений.

Ворох исписанных, в архиве, никому не нужных бумаг. Но обучались легкости, диалогу, чепухе, стремительной реакции — всем этим обязательным атрибутам театра. Ненавидели вечность, презирали, учились скользить по поверхности, это очень трудно. Никакого психологизма. Что это означает? Человек не может по заказу лишиться психологического содержания, даже на короткое время, предполагает такое содержание и в себе подобных, но фейерверк — это демонстрация возможностей пиротехники, пиротехнического мышления.

Стоим у окна семьями и глупо на весь мир кричим «Ура!» при каждом новом рассыпающемся цветными огнями залпе, и потом еще долго впечатление отзывается во сне.

Гутман, Фореггер, Терентьев — режиссеры-фейерверкеры. Иногда мне кажется, что палить они могли без усталости, был бы повод, по любому поводу. Им необходимо было действовать. Накапливали они мастерство для большой вещи? Не знаю, не знаю. Их раздражало само понятие — «большая вещь». Только набросок, только тратить.

Все, что осталось надолго, — не виновато, не виновато, просто обнаружилась внутри вещи шкатулочка, а в ней волшебный механизм театральной игры, когда ни включишь, звучит музыка, которую слушать можно вечно. Так получилось с Мольером, Эрдманом.

Обозрение еще как-то держится на эстраде... Оно привилегия хорошо зарабатывающих людей. Считается недолговечной халтурой. Это как быстренько напакостить и скрыться, зная, что никто не накажет.

А театр — это бухгалтерия, служебный вход, зарплата, долгое сидение за столом, анализ текста, сплетни, пересуды по поводу пьесы, монотонное создание художественных образов, которые уже давно созданы, их надо только обнаружить, как говорил Луи Жуве, они живут рядом с нами. Бессмертие не создать, оно само выберет, где расти. О, этот страх, что о тебе будут думать как о художнике несерьезном.

Белый иностранный катер пересек нейтральные воды. Маленький квадратный человек с грустными глазами, покатым лбом, плоским лицом, в белоснежной капитанской форме отдавал команду. Видно было, что ему наплевать на запреты. Не Гутман ли?

Катер шел по направлению ко мне. Не доходя нескольких метров до того места, где я стоял, катер замедлил движение, капитан поднял руку и крикнул в рупор так громко, что его акцент услышало все побережье: «Сколько вы получаете?»

Я растерялся: «Неужели это он мне?»

— Вы — мистер Дэвид Гутман? — крикнул я, сложив трубкой ладони.

— Сколько получаете? — властно, тем же каркающим голосом повторил рудор.

Пришлось ответить.

Недоуменное молчание, крики чайки над водой, вероятно, капитан не сразу пришел в себя, потом прохрипел свирепо: «У нас вам платили бы больше», — и, развернувшись, катер ушел от меня навсегда в неизвестном направлении.

Как увижу заседание, умереть хочется, свободное место в президиуме, которое каждый так и сверлит глазами — а вдруг мне?

Только один раз порадовало меня такое сборище проявлением живого потрясающего цинизма, если слово «цинизм» здесь уместно. В Кремле на вручении государственных премий.

Слово дали скульптору Томскому, старейшему создателю Ленинианы, а он уже давно впал в маразм, об этом забыли, стоял и благодарил Ленина, партию, застопорил всю церемонию, трибуну покидать не собирался, суетились организаторы, скучал зал, и я увидел, как в президиуме, не скрывая своего удовольствия, хохотал над происходящим, вцепившись пальцами в барьер, не кто-нибудь, а Михаил Царев, один из создателей общественного маразма, он наслаждался беспомощностью организаторов, бредом Томского, как наслаждаются результатом своего собственного труда.

Поразительно, что скрыть не пытался, вероятно, в этом есть какое-то удовлетворение, какое-то возмездие, что удалось одурачить огромное количество людей, превратить в идиотов. В этот момент он показался мне торжествующим Талейраном, торжествующим свою победу над Наполеоном. Это было подтверждением его презрительного отношения к людям, уверенности, что люди достойны только презрения. А может, я преувеличиваю, может быть, просто смеялся?

Барон Фореггер с докторским саквояжем в руке входит в поезд, чтобы проследовать в Харьков на консультацию. Он лечит музыкальный театр, он укрылся в жанре музыкального театра, как в непроходимых джунглях, здесь могут не найти меткие идеологические стрелки, барон ставит балет о футболе композитора Оранского, такой кочующий тренер, у которого жизнь не задалась, но который всем нужен, плевать они хотели — задалась, не задалась. Главное — специалист хороший. Жизнь начинала мощно и бесцеремонно пользоваться в своих утилитарных целях. Она поглотила, но и прикрыла от исторического возмездия за поиск, за эксперимент, за легкомыслие, за любовь к культуре. Все-таки Фореггеру, Гутману удалось умереть в своей постели. Одному — в тридцать девятом, другому — в сорок шестом.

А Терентьев — что Терентьев, веселый самоубийца, он сам нарывался, он был насквозь обэриутянин, хулиган. Ничему на свете не соответствовал, задирался.

Когда профессор Марио Марцадури прислал мне книгу «Собрание сочинений» Игоря Терентьева, я был потрясен. Собрание сочинений из спичечных коробков, салфеток, замусоленных бумажонков? У Терентьева было абсолютно несерьезное отношение к своему творчеству или чувством неиссякаемости это было?

«Прогонят?! — создадим еще один мир — только и всего. Наши запасы неисчерпаемы! Никаких лестничных восхождений не признаем! Все делается по щучьему велению! Никаких усовершенствований! Кроме ерундовых!» После него только и осталось что воспоминание о ком-то прошедшем мимо и обдавшем тебя теплом. Какое-то хорошее человеческое воспоминание. Может быть, это и все, что должно от нас оставаться?

Создатель театра при Петербургском Доме печати, того самого, где работали обэриуты и Филонов, любимый театральный обэриутский режиссер, поэт, которому Маяковский подарил свою желтую кофту, а мы-то думали — куда она делась?

Постановщик «Ревизора» с его белыми мышами, бегущими по двери деревянного сортира, «Ревизора», впервые извлечшего все фонетические возможности гоголевского слова. Звукоизвлечения Терентьева.

Если бы ему сказали, что он — неудачник, не поверил бы, удачи не искал, завидовать не умел, с легкостью отказался ставить «Хочу ребенка» в Театре Революции, хотя на этом настаивал Третьяков, с легкостью — в пользу Мейерхольда.

Никому не мешал делать историю, пусть себе! Все разбросано им где ни попадя, и каким чудом Марио Марцадури издал в Венеции собрание сочинений Игоря Терентьева?!

Это все равно, что нарисовать пустоту. Вдруг мы доживем до того времени, когда ничего не останется обойденным, все в общую карусель счастья?

Тогда — справедливость, и Терентьев с его поисками беспредметного театра, где персонаж перетекает в персонаж, где звук обретает смысл, а слово его теряет, где женщина в спектакле «Фокстрот» слышит на лестнице шаги идущего ее убивать человека и, сидя у зеркала, крестится пуховкой, оставляя следы пудры на платье, где вместо объявленного ревизора возвращается все тот же Хлестаков, тогда — справедливость, и мы поймем, что настоящие открытия делаются походя, что надо отдавать, отдавать, отдавать и по возможности — весело. Им сейчас потихонечку занимается мир, ведь он был рисовальщик замечательный, поэт особый, человек веселый, в манифесте обэриутов он назван единственным близким им режиссером.

Я учу свой актерский курс на поэтических глупостях Терентьева. «Мистер мир начал меня имитировать. За ним все летят потеряться и затеряться, я не ягений, только президент флюидов».

Блестяще разыгранная жизнь — как музыкальная пьеса, стремительная, с тонким ощущением развязки. Прекрасно знал, чем ему это грозит, но заявление в партию подал в том самом городе Екатеринославе, где до революции отец его служил жандармским полковником. Тут же был арестован, припаяли дело о диверсии на химзаводе. На первом же допросе следователь ударил его лицом о стену.

Терентьев остановил допрос, сказал: «Нет, так дело не пойдет, дайте бумагу, я все подпишу». А затем, приговоренный к расстрелу, но успевший очаровать всю днепропетровскую следовательскую братию, на вопрос — чего ему перед смертью хотелось бы? — попросил собрать весь следственный отдел ОГПУ и прочел им полтора часовую лекцию, как добиться любых показаний от обвиняемого без физического на него воздействия. В свое время Терентьев закончил юридический факультет МГУ. После блестящей его импровизации на вышеизложенную тему повели Терентьева вдоль длинного коридора на расстрел, но в конце неожиданно втолкнули в какую-то дверь и заперли. Расстрел был заменен лагерем.

— Что ты чувствовал, папа, когда тебя вели на расстрел? — спрашивала потом дочь.

— Невероятную легкость и ужасное любопытство.

Вот оно, обэриутское отношение, несерьезность, возведенная в абсолют, вера в абсолютное ничто и в его безграничные возможности. Терентьев был гений, это заявление неприменимо к театральным людям, бездоказательно, ну почти гений, гений жизни, потому что театр — не искусство, а всего лишь одна из форм жизни. Беззаботность, детство все равно сменяется когда-нибудь идиотической обеспокоенностью, политическими играми, наградами, престижем, своим местом в этой жизни. А жизнь — это рваный мешок за плечами, из которого все время сыплется тщательно спрятанное содержимое.

Лагерная бригада, приведшая в восторг Горького весельем и молодечеством на Беломорканале, — последний театр Игоря Терентьева. Хотел бы видеть, чтобы во всем мире нашлось хоть что-то более независимое и веселое, чем эта порочащая чушь бригада:

Кремль,

Видишь точку внизу?

Это я в тачке везу

Землю социализма. (Игорь Терентьев)

И слез никаких не надо, он присылал жене лагерные рисунки, смешные рожи своих актеров, в основном уголовников. «Вот это справа — Машка, моя последняя любовь, надеюсь, ты не ревнуешь?» И смотрела на жену с фотографии малинница Машка, которой было суждено обнять и дать последнее убежище замечательному режиссеру Игорю Терентьеву.

— Каким, вы думаете, будет конец вашей жизни? — спросил меня журналист.

Я хотел бы художником быть здесь, а жизнь окончить бомжем в Париже. Что может быть лучше, чем дремать на скамейке под мостом у Сены? Но это глупо, не по-обэриутски заглядывать так далеко, надо оставить Господу место для импровизации. Сдуем пену, Зерчанинов, и закончим эту историю. Твое здоровье.

документальная литература

художественная литература

Совместное
советско-германское
предприятие
"КВАДРАТ"
В 1991-1992 гг.

выпустит следующие книги:

информационно-рекламные издания

журналы

- Е.КЕРСНОВСКАЯ. НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. Альбом на русском и немецком языках. 383 стр. 400 иллюстраций. "Тулаговская" изолетопись в школьных тетрадках.
- КНИГИ ТИАС. Перевод с немецкого под общей редакцией Андрея Вознесенского, оформление и рисунки Ханса Фика. 103 стр. В трех томиках - стихи, афоризмы, рисунки, слова-картины. Твердый переплет, японские двойные страницы с тиснением и высечками.
- Б.АБЕРКРОМБИ. ТАИНСТВЕННЫЙ ХОФМАНН. 256 стр. Шпионский боевик, действие которого разворачивается в Москве, Лондоне, Базеле и Баден-Бадене.
- Ж.СИМЕНОН. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ. 592 стр. Детективно-психологические романы о полицейском комиссаре Мегрэ.
- П.ШИМУЛИС И А.ВИНГРАС. МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ. 416 стр. Исповедь бывшего медиков. О режиме и питании беременной женщины. Советы по уходу за младенцем. При подготовке книги использован опыт американских, немецких, чешских и советских медиков.
- МОНАШЕСКОЕ ДЕЛАНИЕ. 206 стр. Краткое изложение словами святых отцов и подвижников благочестия православного учения о монашестве. Обзор некоторых направлений религиозной и философской мысли Православия.
- БРАТЯ ВАЙНЕРЫ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПАЛАЧА. 512 стр. Японская литература написан в 70-е годы. В центре этого произведения "еврейский вопрос" (расследование убийства в 30-х годах известного актера и режиссера Михозлса) и деятельность КГБ.
- АД ЗЕРКАЛ. СБОРНИК ЯПОНСКОЙ ПРОЗЫ. 128 стр. Книга известного XX века - от развлекательного до "чистой", элитарной прозы.
- КРОМЕ ТОГО, совместно с издательством "Наука" и агентством ЮСИА СП "Квадрат" начинает выпуск серии из 29 книг американских ученых-философов, политологов, экономистов. Первые из них:
- Р.ХОФСТЕДТЕР. АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ. 400 стр. Портреты крупнейших американских политических и государственных деятелей (Т.Джефферсон, А.Линкольн, В.Вильсон, Ф.Рузвельт и др.).
- Р.ДАЛЬ. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ДЕМОКРАТИИ. 128 стр. Книга известного американского политолога, одного из основоположников теории плюралистической демократии.

СП "КВАДРАТ"
103009, Москва, Калашный пер., 10
тел (095) 291-94-91, телефакс (095) 230-22-14





Юрий
АРАБОВ

ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ

«...поэзия должна быть глуповатой» — это предположение классика задает любому, кто пишет стихи в России, вопрос: почему именно? Будто сам Пушкин благословил, в гроб сходя, плеяду дураков прошлых и будущих времен, ведь глупец в некотором смысле равен графоману.

Окидывая историю отечественной литературы, замечаешь обидное несовпадение авторского ума и талантливости сделанного во многих произведениях наших классиков. Кого, скажем, сейчас волнуют стихи по-европейски образованного Брюсова? А глупости геликона Маяковского будут жить, вероятно, до тех пор, пока на земле не переведутся подростки в духовном и физическом смысле.

Любители стихов оправдывают подобный парадокс обычно тем, что в поэзии главное — музыка, что в одних стихах она звучит, в других — нет. Но такое свойство стихов еще более проблематично, ведь музыка XX столетия сложна и, скажем так, антимузыкальна. Штокгаузен — это тоже музыка. Как и Прокофьев.

Определение талантливости, словно ящерица, выскальзывает из рук. Между тем, ухо ценителя безошибочно определяет «хорошее» и глохнет от «плохого». Как говорит один критик, «я хорошее чувствую спиной».

На мой взгляд, дело здесь не только в спине, но и в энергии, в теплом ветре, в токе, который свойственен вещи «талантливой». Точнее, любое талантливое произведение есть гомункулус, заряженный (или незаряженный) энергией творца. Этот заряд существует помимо слов, помимо смысла. Его можно назвать тайным посланием автора читателю, значение и смысл которого не вполне ясны и самому творцу. Тайное послание может существовать как в вещах «понятных» («Пока свободною горим, пока сердца для чести живы...»), так и в «зауми», в вещах «бессмысленных» («Крылышка золотописьмом тончайших жил...»). Единственным верным доказательством присутствия тайного послания в стихах есть долговечность их в истории.

Например, значение В. Хлебникова трудно переоценить. Уходя в джунгли родного языка, расщепляя слово на молекулы и атомы, он ставил эксперимент по практическому выявлению зоны, территории, на которой может (не может) закрепиться и быть узнаваемым тайное послание.

Тайное послание нельзя рационально «схватить», но можно вычислить территорию, на которой оно может существовать, можно вычислить кислород, которым оно дышит, флору и фауну, ему свойственные.

В основном культурная традиция определяет наличие и «считывание» тайного послания. В российском стихе послание делается, в частности, при помощи ритма, рифмы и мюмперско-демократического имиджа. Это те флажки, за которые, по всей вероятности, не выпрыгнет «волк». «Имидж» подразумевает наличие лирического «я», он должен быть достаточно органичным и глубоким, швы «сделанности» не должны выглядывать наружу. Ритм стиха необходимо тесно слить с биологическим ритмом автора. (Обаяние рок-музыки состоит именно в этом.) Верлибр мне кажется сомнительным из-за его ритмической смазанности, что не соответствует ни «биологической», ни культурной традиции нашей словесности (А как же «Слово о полку Игореве»?).

Приверженность и «спайка» с какой-либо литературной школой вредны для тайного послания. То есть достоинство литературной школы состоит лишь в том, насколько точно она «огораживает полянку» тайного послания.

В городе Н.

В городе Н
 живет гражданин Н.
Нем от рождения,
 требующий перемен.
Бледен зимою и чуть розовеющий
 к лету,
но не уступит, мне кажется,
 он по значению Фету.
Именно Фету, а может быть,
 даже и Тютчеву,
ибо в душе он скрывает от всех
 добродетель кипучую.
В городе Н
 много больше количество стен,
чем потолков. И бывают
 закупорки вен.
Еще и волхвы наблюдали
 падучую в небе звезду.
Они набрали на конюшню,
 но кто-то сказал, что не ту.
Звездой отмечен,
 железной армейской звездой
растет гражданин Н,
 пуская детей на постой.
В классе седьмом я узнал
 то, что Пушкин убит.
Пуля, чиркнув молоко,
 угодила в желаемый центр.
А вот гражданин Н
 обнаружил у дочки рахит.
Об этом не знает никто,
 но и нету чувствительней сцен!
Учитель сказал конвоиру
 на груди цитат: «Фарисей!»,
и тот, недоев, недовыпив,
 пошел сочинять донос,
ведь несколько ценных скрижалей,
 увы, но разбил Моисей.
А вот гражданин Н
 пустые бутылки донес.
Потому что в городе Н обитает гражданка О.
Что там Гертруда, Гекуба
 и прочая мутотень.
Были вдвоем и составили слово
 «Но».
(В переводе с родного на наш
 означает, к несчастью, «Нет».)
Но «Да» говорит Н,
 встав на гранитной скале,
будто фортуне он
 сделал в два хода мат.
Рыбы мигают, и месяц похож на скелет.
А я слышу с детства единственное
 «Дюрренматт!».
А что Дюрренматт,
 когда существует К.
Он к Н и гражданке О
 приходит, как некий кий.
Беседу разбив и щенка утопив в реке,
он ночью откроет газ
 и закроет свои зрачки.
Потому что в городе Н
 нет, конечно, города Ц.
Нету зеленки для вело-
 сипедных колен.
Рухнуло солнце, все думали,
 что конец.
А это сорвался с жены
 гражданин Н.

Романс

Покатился стакан и нарезкой упал,
так чего ж ты залился слезами?
Пусть стакан, пусть его ты зубами кусал,
пусть все пломбы оставил в стакане.

Пусть загадочный мастер его создавал,
но чего ты рыдаешь по фене?
Ты ж его не купил, ты ж его заиграл
год назад в позабытой кофейне.

И ребенок смотрел на тебя, подлеца,
И Толстой с Достоевским глазели,
как ты клал его в брюки с глухого торца
и еще прикрывался газетой.

Он на Севере диком стоял одинок
и задумчив на горной вершине,
а теперь вот валяется пальмой у ног,
как и ты, на глубоком отшибе.

Ну, упал он, паскуда, с крутого стола,
ну, хозяйка порезала ногу,
так она ж его после сама собрала
и в окошко отправила к Богу.

Ведь нельзя же соленые жечь огурцы
и повертывать газовый краник,
чтоб сияли всю ночь голубые песцы,
чтоб стакан отыскал подстаканник...

Друг мой дикий! Загадочный друг без креста,
мы еще доживем до эпохи,
где поменьше стакан
влезет в больший стакан,
образуя прозрачные блоки.

Ну а коли не спелось и коль не сжилось,
мы не станем заламывать руки,
а укатим куда-нибудь в Лос-Анжелес,
где, к несчастью, один только рюмки.

Северная элегия

Джону Хаю

Когда дует ветер,
облака говорят со свистом,
так, наверное, мертвые
осуждают друг друга.
То ли норд языку зарубежного учит слависта,
то ли холодно, мокро...

Пора закрывать фрамугу.
Мокро, други, и я надеваю ватник.
Я хочу говорить, но в глотке —
одни цитаты.

Так, когда яйцо протекает во время варки,
то в воде образуется облако вроде ваты.

Это тебе не Америка, Джонни.
Земля лапидарна,
то есть развозит минут за пятнадцать,
а сохнет годами.
Сапоги промокают. Грибы и того подавно
не растут почему-то в лесу,
но, увы, норовят в чемодане.

Может быть, оттого, что здесь в основном сосна.
Но топят березой,
распиливая опушки.

Чтобы тебя не сослали,
надо себя сослать
самому. И чем севернее, тем лучше.

В мокром доме напротив
с шести зажигают свет.

Вдруг завоет кобель, и ему отзовется сука.
Я весь вечер гадаю, когда заглянет сосед.
Основная черта нашей жизни — скука.
Скука, Джонни. Это — болезни вроде
в сердцевине греха, лихорадке,
в любом сарае...

Вон к причалу идет, словно сыр, рябая.
Как увидит катер, тотчас уходит.
Я не знаю, откуда берутся силы,
чтобы слушать въевшееся годами:
«Лето было холодным, сентябрь — дождливым,
в октябре выпал снег,
но к апрелю слегка подтаял».

В реке — много воды, а в воде кета
тут была при Хрущеве
перемешана с лососиной.

Мне почему-то кажется,
что между нами — Китай,
то есть барханы
и килограммов пятьсот апельсинов.

Зато нету сволочи, Джонни.
Из сволочей —
только слепни, из форменных гадов — жабы.
В грозу ужасней былых речей
разрывается облако, как дирижабль.

И литераторов тоже нету.
Слегка пописывает козел.
Коза... Но нету сил для дуплета,
чтобы сравнить ее, с чем хотел

бы ты, Джонни,
выбирая слова из зол
для трансмутации (как выражается Кол).
Но свойство спящих российских тел —
налагать на крайнюю плоть предел.

Размышление о вечном вопросе

Если вдруг заиграет Бетховен
и сундук понесут над толпой,
я завидую мертвым героям
и грущу, отчего я живой?

Разве плохо почтить в воскресенье,
навсегда протрубивши отбой?
Лечь под землю, как скромный Есенин,
чтоб над прахом кончали с собой?

Я ж играл почти ту же пластинку,
из души выстригая лишай.
И невинности ту же бутылку,
как и он, своей глоткой лишал.

Разве плохо лежать в мавзолее,
чтобы юноши шли не спеша,
чтоб рыдала жена, не трезвея,
сложена, как чехол для ножа?

Погружаясь в тот бархат по локоть
и с челом, будто выиграл в очко,
разве идол не мой Валя Котик?
Этим — всё, а другим — ничего...

Я хочу некролога большого,
чтоб глядел, как центральная весть,
чтобы подпись была Горбачева
и Иртеньева, если он есть.

Я хочу вернисажа в мертвецкой,
чтобы спонсор ковал дефицит,
чтобы там выставляли советский
мой натруженный гастроартрит.

Я музея хочу на Сельхозе.
Да, в квартире (метраж 22),
чтоб прибрали ее, пылесоса,
и чтоб кран починили тогда.

Я хочу, чтобы улицу в Битце...
Только если отбросишь конец,
перепутают тело в больнице
и для смеха завяжут конец.

И чужое немывое тело
отошлют с непутевым гонцом,
чтоб шептали друзья то и дело:
«Как же он изменился лицом!

Как же он, не dokonчив куплета,
так вот, сразу кастрюли лудить...»
Я, пожалуй, не буду поэтом.
Буду лучше других хоронить.

Гайто Газданов
О ПОПЛАВСКОМ

Холодный парижский вечер, потом ночь задыхающегося предсмертного сна и две строки, которые не могли не вспомниться, — строки, написанные в далеком предчувствии:

Пока на грудь и холодно и
душно
Не ляжет смерть, как женщина в пальто...

Внешне все ясно и понятно: Монпарнас, наркотики и — «иначе это кончиться не могло». И можно было бы, только пожалев об этом, не задумываться более, если бы эта смерть не была гораздо значительнее и страшнее, чем она кажется. То, что Поплавского всегда тянуло в «эту среду», мы все давно знали. Зачем ему были нужны эти люди, проводившие голодные ночи в кафе, не представлявшие, казалось бы, никакого интереса, эти псевдоинтеллектуальные нищие, не менее жалкие, чем парижские бродяги, ночующие под мостами? И все же Поплавский неизменно возвращался туда. Менялись его спутники, проходило время, а он все путешествовал там же. Он любил, чтобы его слушали, хотя не мог не знать, что его Монпарнасу были недоступны его рассуждения с цитатами из Валери, Жида, Бергсона и что его стихи были так же недоступны, как его рассуждения. И единственное, что могло сблизать Поплавского с этими убогими людьми, — это то, что и он, и они не вращались в жизнь; не знали ни крепкой любви, ни неразрываемой независимости некоторых человеческих отношений, ни того, как следовало бы жить и к чему следовало бы стремиться. Но «их» смерть не была бы утратой. Смерть же Поплавского — это не только то, что он ушел из жизни. Вместе с ним умолкла та последняя волна музыки, которую из всех своих современников слышал только он один. И еще: смерть Поплавского связана с неразрешимым вопросом последнего человеческого одиночества на земле. Он дорого заплатил за свою поэзию. Были ли люди, которые искренно и тепло любили Поплавского — были ли такие среди его многочисленных друзей и знакомых? Думаю, что нет; и это очень страшно.

Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем — в любой среде, в которую попадал. Он всегда был — точно возвращающимся из фантастического путешествия, точно входящим в комнату или в кафе из ненаписанного романа Эдгара По. Так же странна была его неизменная манера носить костюм, представлявший собой смесь матросского и дорожного. И было неудивительно, что именно этот человек особенным, ни на чей другой не похожим голосом читал стихи, такие же необыкновенные, как он сам:

Вдруг возникнет на устах
тромбона
Визг шаров, крутящихся во
мгле,
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.
И сквозь жар ночной, священный,
адный,
Сквозь лиловый дым, где пел
кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.

Он носил глухие черные очки, совершенно скрывавшие его взгляд, и оттого, что не было видно его глаз, его улыбка была похожа на доверчивую улыбку слепого. Но однажды, я помню, он снял очки, и я увидел, что у него были небольшие глаза, не улыбающиеся, очень чужие и очень холодные. Он понимал гораздо больше, чем нужно; а любил, я думаю, меньше, чем следовало бы любить.

Я не знаю другого поэта, которого литературное происхождение было бы так легко определить. Поплавский неотделим от Эдгара По, Рембо, Бодлера, есть несколько нот в его стихах, которые отдаленно напоминают Блока. Поэзия была для него единственной стихией, в которой он не чувствовал себя, как рыба, выброшенная на берег. Если можно сказать, «он родился, чтобы быть поэтом», то к Поплавскому это применимо с абсолютной непогрешимостью — и этим он отличался от других. У него могли

Борис
ПОПЛАВСКИЙ
ДОМОЙ
С НЕБЕС

Роман

быть плохие стихи, неудачные строчки, но неуловимую для других музыку он слышал всегда. И в литературных спорах, которые он вел, часто крылось одно неискоренимое недоразумение, отделявшее его от его собеседников: он говорил о поэзии, они — о том, как пишут стихи.

В последние годы он иначе писал, чем раньше, как-то менее уверенно: он чувствовал, как глохнет вокруг него воздух. Это был результат той медленной катастрофы, которая привела к молчанию его ранних и лучших товарищей. Их имена известны всем в литературном кругу и неизвестны почти никому в широкой публике. Все они перестали писать — и вместе с тем каждому из них было что сказать. Но в том диком и глухом пространстве, которое их окружало, их слова не были бы услышаны. И они замолчали.

И Поплавский остался один. Своеобразный заговор визионеров, в котором он участвовал, вдруг разорвался и исчез. И его литературная обреченность стала еще очевиднее, еще трагичнее: у него в жизни не было ничего, кроме искусства и холодного, невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер.

О нем трудно писать еще и потому, что мысль о его смерти есть напоминание о нашей собственной судьбе — нас, его товарищей и братьев, всех тех всегда несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциация созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть, — и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет; это не будет непременно физическая смерть, это может быть менее трагично: но ведь и то, что человек, посвятивший лучшее время своей жизни литературе, вынужден заниматься физическим трудом, — это тоже смерть, разве что без гроба и панихиды. В этом никто не виноват, это, кажется, не может быть иначе. Но это чрезвычайно печально.

И я, кажется, неправильно поступил, ставя глаголы в настоящем, а не в прошедшем времени; потому что большинство тех, с кем мы начинали нашу «жизнь в искусстве», для литературы уже умерли.

Мы были с Поплавским в кинематографе, оркестр играл неизвестную мне мелодию, в которой было какое-то давно знакомое и часто испытанное чувство, и я тщетно силился его вспомнить и определить.

— Слышите? — сказал Поплавский. — Правда, все время — точно уходит поезд?

Это было поймано мгновенно и сказано с предельной точностью. Его другие суждения, когда он давал себе труд задуматься, а не говорить подряд все, что приходит в голову, отличались такой же быстротой понимания.

Он был по-детски обидчив, необыкновенно чувствителен ко многим неважным вещам, мог огорчаться до слез, если в выходящем номере журнала не оказывалось места для его стихов. Его было легко купить — обещанием денег, напечатанием одного стихотворения — он соглашался на все. Были случаи, когда этим пользовались, и по отношению к Поплавскому это было особенно нехорошо.

Он меня спрашивал однажды:

— Скажите, вы согласились бы что-нибудь напечатать бесплатно, потому что это для искусства?

— Нет.

— А если бы вам не заплатили?

— Не знаю, я думаю, что это невозможно.

— Вот, а мне обещали заплатить, а потом ничего не дали, сказав, что это моя дань искусству; и предложили мне вместо гонорара поддержанный костюм. Но он велик на меня, я не знаю, как быть.

Я помню, что не мог ему сразу ответить. Потом я стал объяснять, как, по-моему, следовало поступить. Он слушал, качал головой, затем сказал:

— Вы можете позволить себе известную независимость, а я не могу, вы знаете, я ведь материально совершенно не обеспечен.

И тогда внезапно я почувствовал к нему пронзительную жалость, такую, какую можно почувствовать к голодному ребенку или калеке. Помню, как сейчас, эту ночь, темную

и прохладную, узкие и мрачные улицы Латинского квартала, по которым мы шли, и это чувство жалости. Этот человек с хорошими бицепсами, в то время 23-летний спортсмен, успевший понять многое из того, что и не снилось большинству его маститых и общепризнанных коллег, был в жизни совершенно незащищен.

С деньгами он не умел обращаться. Когда они у него бывали — что случалось чрезвычайно редко, — он покупал граммофоны, испорченные пластинки, какие-то шпаги «необыкновенной гибкости», галстуки яркого цвета; если после покупок что-нибудь оставалось, он тратил это на Монпарнасе.

У Толстого есть где-то замечание о том, что человек не бывает умным или глупым, добрым или злым; он бывает иногда умным, иногда глупым, иногда добрым, иногда злым. Если это применимо ко всем людям, то по отношению к Поплавскому возможность категорической оценки исключена вовсе; он был сложнее и глубже, чем другие, иногда неподозреваемой сложностью и неподозреваемой глубиной. В нем было много непонятного на первый взгляд, как непонятна была та душевная холодность, с которой иногда он говорил о самых лирических своих стихах. Одно было несомненно: он знал вещи, которых не знали другие. Он почти ни о чем не успел сказать; остальное нам неизвестно, и, может быть, возможность понимания этого исчезла навсегда, как исчез навсегда Поплавский.

Теперь это сложное движение его необычной фантазии, его лирических и мгновенных постижений, весь этот мир флагов, морской синевы, Саломеи, матросов, ангелов, снега и тьмы — все это остановилось и никогда более не возобновится. И никто не вернет нам ни одной ноты этой музыки, которую мы так любили и которая кончилась его предсмертным хрипением.

На последней панихиде в жалкой церкви с цветными стеклами, на которых неумелой рукой нарисованы картины священного содержания, было множество народа. Кроме тех, кто знал Поплавского как человека и как поэта, были еще люди, неизбежно присутствующие на всех похоронах и панихидах и столь же обязательные, как гроб и яма в земле, и столь же неотделимые от мысли о чьей-либо смерти. Горели свечи, капал на руки горячий воск, брызги дождя долетали сквозь открытую дверь; и, как всегда, было то чувство последней непоправимости, которое не в силах заставить забыть ни изменившиеся обстоятельства, ни время, ни даже личное счастье.

Он ушел из жизни обиженным и непонятым. Я не знаю, могли ли мы удержать его от этого смертельного ухода. Но что-то нужно было сделать — и мы этого не сделали.

Ушел Поплавский, и вместе с ним — его постоянный бред: море и корабли, и бесконечно длящийся бег далекого океана.

O Mort, vieux capitaine, il est
temps, levons l'ancre!
Ce pays nous-ennuie, ô Mort!
Appareillons! ¹

И опять то же видение: ночь, холод, вода, огни — и последнее отплытие из тяжелой и смертельно скучной страны.

¹ О, Смерть, старый капитан,
Время пришло, снимаемся с якоря!
Эта страна нам наскучила, о, Смерть!
Отплываем!
(франц.)

Таня и Олег, прыгая по скалам, спускались к воде — она впереди, играя, наслаждаясь бесстрашием, точностью движений и силой коричневых ног, он сзади, часто срываясь, неуклюже оступаясь и обдирая руки, переволнованный, обалдевший от любви, стеснительности и жары. В другое время он охотно принял бы участие в гонке, сам бы пощеголял отчаянностью, но сейчас кровь слишком стучала у него в ушах, так что он едва поспевал за нею; наконец, измучившись и вспугнув целую колонию nudистов, как худые красные раки, прятавшихся за камнями, они сползли на плоские глыбы скалистого мыса и сели, все овеваемые свежестью водяной пыли, пролетавшей над ними при каждом ударе волны. Ветер усиливался, на горизонте лежала тонкая белая полоска, там за горизонтом была буря и оттуда высокими рядами шли волны, по временам в нетерпении теряя кипящие белые гребни.

Подходя близко, волна вырывала перед собою синюю яму, на дне которой с шумом перекачивались блестящие камни, подымалась высокою синей стеной, вот-вот захлестнет и, взметнувшись, ударяла о скалу. Тогда пена поднималась выше их головы, в трещинах между скалами синева, кипя, набегала вперед, но волна уходила, и тогда из них в обратную сторону kloкотали целые водопады.

Но так надоело сидеть, Таня подалась ближе, скинула туфли, и широкие подошвы ее выцветшей пижамы потемнели от воды, но и этого ей было мало, ошалев, она лезла на мокрые камни, и Олег неприятно постариковски пугался за нее, потому что под ослепительным небом море и ветер, видимо, на глазах сатанели, теперь волна приближалась в ракурсе с дом величиной, Таня в смешливом ужасе шарахалась назад, крича что-то, но ничего не было слышно, и дикой свежестью на лицо и грудь с неба валилась вода, платье и волосы липли к лицу, они жмурясь утирались, фыркали, а в ответ с бутафорским, хрустальным громом, обдавая их с ног до головы, вновь и вновь наступали волны, одна из них, особенно сильная, чуть не стащила Олега за собою, так что он едва удержался, уцепившись руками и ногами, и не на шутку струсил; зрелище теперь было грандиозное и опасность немалая, потому что в таком котле никакое плавание не поможет, да и Таня, как часто бывает с сильными от природы людьми, спорта не понимала, плавала плохо.

Среди непрерывных фонтанов, в непрекращающемся, счастливом шуме, они теперь смеялись до упаду, обнаглев до безрассудности, между двумя волнами лезли в самое пекло; Таня раскрывала руки, зажмурившись подставляла лицо воде и, хулиганя и наслаждаясь, окончательно расшевелила и успокоила Олега.

Наконец, натешившись, измученные, счастливо усталые, мокрые, как щенки, они полезли назад, нашли свои туфли и неуклюже принялись их надевать на мокрые, розовые, как раковины ноги, кое-как пятерней причесали волосы и двинулись в обратный путь уже по горной тропинке, и, скоро выйдя из каменного хаоса, наткнулись на белую скупающую группу русских дачников с папиросами и «Последними новостями» (1)*, которые с каким-то суеверным недоумением уставились на них.

Снова желтая широкая спина Тани, теперь уже не такая страшная, враждебная, покачивалась перед Олегом, а он был почти счастлив, ведь еще целый месяц таких художеств, но скоро у калитки им пришлось расстаться, ибо Тане теперь нужно было влезть в окно собственной комнаты, так как все взрослое буржуазное общество давно сидело за столом на площадке. А Олег, вновь попав в свою низовую категорию

и оставшись один в лесу, побрел куда глаза глядят, искать Безобразова, чтобы вместе с ним, как индейцы, пробираться на кухню и жевать там свой вечный рис с томатами и постным маслом, который теперь они на четыре дня вперед варили на мангале, впрочем, аппетиты у них были волчьи, а есть после моря — великое наслаждение.

После обеда Таня запиралась заниматься, но, едва закрывались ставни, тотчас же засыпала в духоте, плечом и лицом на странице все той же, замусоленной от ее сонной тяжести. В полдневной пустыне Олег блуждал дик и нелюдим, с выгоревшими волосами, то там, то сям бесцельно появлялся на скалах. Время ожидания шло медленно, и все вокруг казалось неинтересным, чересчур назойливо ярким, то грозным, чужим, враждебно, ослепительно равнодушным. Волны все так же медленно, мягко ложились на песок, и, казалось, вода дремала там полминуты, прежде чем опять пошевелиться, нисколько не ускоряя своего привычного ритма, оттого, что Олег, злобно щурясь на синюю даль, ждал, сидя на песке. Ему бы хотелось, чтобы все, как это бывает иногда в кинематографе, ускорилося, понеслось к шести часам. А в шесть часов в мертвой тишине, внимая хрусту собственных шагов по гравию, он, как к львиной клетке, подходил к даче и стучал в окно, не получая ответа. Осторожно раскрывал ставень, и разбуженная ярким светом и пристыженная Таня с отоспанным, красным, кухарочным лицом вскакивала и принималась причесывать волосы.

Вскоре в комнату также через окно влезала Надя, широколицая девушка необычайно кукольной, атлетической красоты. В противоположность Тане она была непосредственно и наивно, кокетливо смешлива, на все смотря огромными вызывающими синими глазами, хотя так же, как и она, инстинктивно по-звериному молчаливая и скрытная, а вслед за ней вперся ее душегуб, охранитель, высокий, сумрачный красавец с убеждениями, говорящий на странном парижском русском жаргоне, смеси галлицизмов и зощенковских словечек. Надя и Таня всегда молчали вместе. Таня зло, умно, напряженно ожидая, схватывая, утилизируя, осуждая всякое слово. Надя наивно, грубо, глубоко смешливо, как небо, раскрыв свои огромные выпуклые, голубые глаза, совершенно лишенные взгляда, великолепный, податливый по-звериному, неуловимый экземпляр русского сексуального творчества.

Это было прекрасное соединение атлетических молодых тел, скученных в небольшой комнате, выбеленной известкой, в окне которой вовсе не было ни рам, ни стекол, а только зеленая итальянская, античная ставня в одну створу. Но над ними плавала, висела, вечное мучение, наследственная, чопарная скука глубоководной русской чеховщины, не устаивающей говорить ни о чем земном и милом, не умеющей без скуки говорить ни о чем возвышенном; дух, борющийся с телом. Внешнее, грубоватое, деланное товарищество, напряженная, суровая, любовная борьба внутри. Вечная, нерадостная, мучительно-знакомая русская гимназическая атмосфера.

Приходил (может быть, на руках) и человек-обезьяна, молчаливая, темно-коричневая статуя из одних мускулов, с красивым, замечательным, губастым лицом испанского преступника, аристократа, художника. И наконец, невесть откуда, но уже через дверь постариковски являлся Аполлон Безобразов, встречаемый сумрачным, многозначительным взглядом вдруг темневших Таниных глаз, и еще одна глубоко измученная жарой, грузинского вида барышня.

Разговора не получалось, потому что Олег столь же внутренне как старший снобировал их, как внешне неумело пресмыкался, жаждучи из-за Тани поддерживать компанию, терял искренность и достоинство и, мучаясь этим, злобно внутренне передразнивал их по-

* Примечания см. в конце публикации.

луруские обороты речи.

Поэтому все любили танцевать. Во-первых, конец разговорам, во-вторых, сексуальное освобождение, тайный сексуально-эстетический разряд до скуки старившей сердце молодости. Любили и выпить, но боялись, ибо где-то около ходил и жил грозный бородастый создатель, поддержатель, блестящего, золоточковый бывший революционер, ныне ученый химик и крупный деловой мужик.

Странно в солнечной тишине сада на скалистом мысу звучал механический голос граммофона. Печально, надтреснуто, как будто издали, из Парижа, как будто по телефону слышимый, слышимый. За окном ослепительная, полуденная духота сменилась теперь неподвижной сияющей духотой вечерней...

Медленно-спокойно, печально-упорно, как пчела, звенел граммофон, и все продолжало наливать красноватой, отраженной яркостью неба.

Вдруг понимая, вдруг видя что-то новое, чужое и неизбежно мучительное в Тане, Олегу уже не верилось, что это она только что все утро бродила, хулиганила с ним. Сумрачно кокетничая с Безобразовым, Таня опять была величественной, каменной, тяжело-надменной.

Несколько раз уже Олег пытался встать и пригласить Таню, но сердце начинало так мучительно биться, и он казался вдруг сам себе настолько неуклюжим, уродливым, узкоплечим, что он, психопатически боясь отказа, не мог решиться, но все-таки наконец встал. И едва помня себя, едва прикасаясь к Тане, обнял ее. Граммофон заиграл «Jalousie»,¹ медленное, навсегда памятное цыганское танго того лета, и так, едва дотрагиваясь до нее, едва смея двигаться, поплыли они по комнате, и комната поплыла перед ними в розовато-душных сумерках неподвижного августовского вечера. Они танцевали; сердце Олега вдруг обнаруживало, открывало, понимало, что они вместе плывут в бесконечную и бесконечно долгую боль, унижение, поражение, обиду, разлуку, но сила отплытия, отрыва, отчаливания от земли и старой жизни была так могущественна, так нова, так стремительна, что Олег, не помня себя, не защищаясь, сам до боли раскрываясь, шел на нее, как будто шел на битву, тая, гибнучи безвозвратно, продаваясь в рабство в горячем розовом неподвижном воздухе вечера.

Звуки, тихо звеня, тихо, глухо рождаясь, медленно летя сквозь густой воздух, буквально отрывали теперь, губили Олега, сладко до боли, больно до сладости входя, всплывали, врезаясь в сердце. Казалось, огромные дали, фрески, горы, сказочные описания городов и путешествий раскрывались где-то за окном, и он кончиками пальцев не смел прикасаться, не смел чувствовать грозного необычайного тела танцующего с ним божества. Танец кончился, но Олег теперь знал, что надолго раскрылось, проснулось сердце. Знал также, что Таня не любит и, может быть, даже никогда не полюбит его. Сумерки сгущались в нем ощутительно до задыхания, мучило его, сладостно резало душу что-то летнее, грозное, неповторимое навек...

День наконец кончился, бесконечно долгий летний день. Слабосердечная истерическая экономка собирала обедать. Таня странно-угрюмо согласилась встретить Олега после того, как проводит Ивана Герасимовича, который стоял на другой даче. Они оба по уговору должны были вернуться домой, но тотчас же за калиткой, не сговариваясь, расставались, исчезая в темноте по темным своим делам. Олег в неудобной позе сидел при дорожке на хвое и ждал. Тьма в лесу была непроглядная. Музыка в Сен-Тропез не играла в будний день, и там далеко-далеко где-то за горами гудели моторы военных аэропланов, совершавших

ночные полеты. Иногда одна из огромных звезд начинала двигаться между черными ветвями или две-три симметричные сразу. Но, пересекши небо, они исчезали в ровном рокоте, и снова ночь вокруг была непроглядна, прекрасна, враждебна, и Олег в ней, как доисторический охотник потерян, напряжен, весь превращен в слух. Для него, городского подростка, кофейного юноши, эмигрантского молодого человека, выросшего в дожде, все продолжало быть необычайным, и тишина была так сильна, так страшна, так совершенна, что Олег все время слышал шум крови в ушах. Далеко-далеко, издали слышал Олег, как идет Таня, слышал последние слова, которые она посмеиваясь бросила Наде: «Ты поосторожнее с ним», — и тихий, четкий, издали приближающийся хруст — гравия под ее крепкими ножками, ее крепких ножек по сухим веткам...

В ту ночь, полную звезд, полную тяжелым запахом хвои, среди теплых, во тьме не позабывших солнца камней, они впервые поссорились, и Олег, оторвавшись от Тани, в непродолжительном безумии храбрости ушел блуждать по берегу, в зловещем свете поздно вставшей ущербной луны, повторяя про себя любимые, грубые фразы свадебного марша Лоэнгина, и вдруг разом погасло возбуждение, сердце физически сжалось предчувствием непоправимого, и он бросился искать ее и не нашел. О ужас, ужас, древняя потерянности, античное отчаяние среды великанов судьбы и природы. Бегом вернувшись к дачам, Олег с дикой мукой в сердце остановился растерянно на перекрестке нескольких дорожек. Луна теперь поднялась выше, и весь лес был изрезан белыми полосами, но где в них Таня... Куда ушла... Дома ее не было, Олег уже успел заглянуть в низкое окно... Где, куда, в какую сторону пошла в этом грозном хаосе деревьев, луны и камней? Отчаянье, отчаянье... Я ее никогда не увижу, все пропало, и над ним, вырезаясь черными силуэтами на театрально посиневшем небе, наклонялись огромные хвойные чудовища, как будто их ветви, качаясь, вытягивались в неподвижной лунной буре, бесшумной буре лунного света, как исполинские черные волосы, относимые бесшумным ветром...

В ту ночь, полную звезд, они впервые поцеловались, на несколько часов в ошалении чувственности совершенно потеряв чувство действительности. Но не миром, не сладостным примирением и новой жизнью встретились их губы, а чем-то яростно, беспощадно недоброе. Таня в его сильных лапах вся перегибалась, застывая на земле, как в каталепсии, он же, безрадостно шалея, мямля, ломал и целовал эту крепкую, горячую плоть в тревожном, тяжком обалдении неожиданности и тайного подвоха, покуда, изомлев и настрадавшись-насладившись, она, охваченная каким-то раскаянием, не сказала ему... «Нет, я не могу любить, есть человек, с которым я связана, которому я должна... Я устала, измучилась и не в силах теперь напрячь душевных мускулов, раскрыться сердцем навстречу вам...» «Значит, вы не хотите играть на чистые деньги, а только на мелочь, так не надо мне вашей похабной мелочи... Счастливого оставаться...» Олег, весь обожженный, весь взбудораженный Таниными зверскими ласками, отрывается от нее и, вдруг сатанея, вдруг со всею страстью любви ожесточаясь, каменея, подхваченный, скрученный воинственным сумасшествием обиды, исчезает во тьме. Таня думает, что он вернется, застегивается, ждет; мрачно, презрительно, горько встает и уверенно, не спотыкаясь, спускается с откоса сквозь заросли, быстро доходит до спящего Сен-Тропеца. Как атлетическое привидение, бродит по улицам и вдруг встречает всю полувзрослую банду Олеговых врагов. Пьет и танцует с ними до утра, и тоже до утра Олег проискал ее, простерег, проблуждал, обливаясь слезами, страшась, раскаяваясь, наив-

¹ «Ревность» (здесь и далее перевод с французского).

но думая даже, не упала ли она где-нибудь со скалы. Сам мечтая броситься откуда-нибудь повыше, покуда утро не начинается голубеть и он, как от удара зажмурившись и закрывшись от него руками, не заползает в палатку, не проваливается в тяжелое, счастливое небытие, потому что с этого дня, с этой ночи и началась Олегова каторга.

И снова над Сен-Троpez раскрылся ослепительный августовский день. Он, может быть, был еще безупречнее, еще лучезарнее, еще спокойнее, потому что, отрокотав свою солнечную службу, цикады вдруг ослабели, затихли и замолкли совсем, как будто их никогда не бывало. Раскрыв глаза, Олег не сразу, а только на второй такт кровообращения, вспомнил случившееся. Сначала увидев снова яркие, восхитительно новые ветви в синеве над собою, ему захотелось засмеяться, растолкать Безобразова, но ровно через секунду сознание чего-то непоправимого и неотложного толкнуло, сжало ему сердце так, что он сперва болезненно расширил глаза и сейчас же зажмурился, и тотчас же непоправимое начало сбываться, и ад Олега начался.

С утра Таня ушла на базар в Сен-Троpez вместе с экономкой; бежать за ними, искать ее было бы бессмысленно и смешно, потому что Таня на людях отлично владела собою, особенно каменно цедила слова, сквозь зубы с теми, с кем с глазу на глаз выясняла отношения. В атмосфере мира это еще прибавляло к остроте счастья, ибо включало как бы кусок нелюбви в ткань любви, отмечая, подчеркивая пройденное расстояние, или кусок начала любви в ее продолжении. Как приятно иногда как бы со стороны церемонно поздороваться с любимым человеком на балу, когда в лучшем своем платье и в ярком всеоружии своих чар он является нам в том загадочном ореоле минутной официальности и смущения или нарочитой чопорности, в которой он некогда впервые предстал изумленным очам, но в часы ссор эта деланная отчужденность настолько походит на настоящую, что Олег буквально страдал от Таниной вежливости.

Следственно, нужно было скоротать время до после-обеда, и в этом мучительно-тревожном состоянии это было адски трудно. Снова Олег заплыл за тридевять морей и, не без труда воротившись на совершенно пустой пляж, с которого все русско-французские молодые люди убралась тонкими ногами по своим дачам, наткнулся вдруг на предмет своего давнего и бессильного вождения — белую душегубку, принадлежавшую одному аристократу с наклеенными волосами, особенно недоброжелательно всегда смотревшему на Олега.

В то утро море блеснуло в последний раз Олегу своим ослепительным синим покоем. Он еще не знал, что это в последний раз, он еще не верил в разлуку, как живое долго не верит, долго против очевидности не верит в смерть. Быстро и неуклюже вихляя, лодка отдалялась от берега. Вот уже то место, до которого обычно, назло дачникам, Олег доплывал. Не вернуться ли? Ведь ты устал от плавания, и ладони болят от весла. Нет, дальше в синее-синее, туда, где белым холмиком, подобно барке, в отдалении виднеется заброшенный маяк, буй, мишень для стрельбы, не понять что.

Еще раз Олег отвернулся от берега, чуть не перевернув душегубку. Безграничное синее, необъятно-голубое снова раскрылось перед ним... Дальше и дальше. Волны теперь, когда он вышел из-за мыса, превратились в длинные, высокие, глубокие, равномерные, синие горы. Они, идучи к берегу, тормозили лодку, и она, казалось, не двигалась больше с места. Раскаленное солнце пылало над его головой, но, не

смотря на тревогу о том, что теперь от берега и до островка далече, Олег по временам забывал все на свете и, положив весло, засматривался, опрокидывался в непорочное счастье зрения. Особенно внизу, там на большой глубине было дивно красиво. Сквозь темно-лиловый хрусталь на дне все еще видны были какие-то черные полосы и более светлый песок. Сзади Сен-Троpez — Сен-Максим, все исчезло и сблизились тонкой полоской песка под зеленой полоской сосен. Зато горы наоборот выросли, надвинулись, и над ними белые облака высокими клубами увеличивали еще их высоту. Направо и налево показался неизвестный берег, сильно качало, и нужно было проснуться и, наваливаясь, грести содранными руками. А когда Олег начал уже приближаться к островку, вдруг вылезшему из воды, большому, скалистому и сплошь покрытому птичьим наслоением, волны открытого моря так били, так высоко поднимали лодку, что она почти доверху наливалась водой, но не тонула, ибо весь крытый нос и корма ее были непроницаемыми для воды. Но самое трудное оказалось вылезти. Скалы сразу без перехода уходили в глубину. Между камнями бурлила вода, пена и все вокруг было покрыто острыми ракушками. В страхе Олег посмотрел назад, но вернуться, не отдыхая, было совершенно невозможно. Наконец решившись, он выбросил весло на камни, слез в воду, вытолкнул, вытащил, укрепил лодку и, поцарапанный, с дикой болью в спине, качаясь от усталости, волнения и торжества, вылез на горячие скалы, окруженный облаком потревоженных птиц. Как далеко он, однако, забрался, и сердце рвалось от одиночества, страха лазури и шири моря. Возвращаться было мучением. Два часа он блуждал, ослабев, обносимый волнами, причалил наконец за версту от исходного места, наконец, с жалким видом измученного человека, ждущего похвал, вдоль берега вернулся к пляжу и сразу увидел Таню, прищуренно лениво и зло на него смотрящую, вполголоса, медленно разговаривающую с его врагами, он уже собрался с духом подойти, когда прямо к ним, на них, подошел узкоплечий, худой, как скелет, арабского вида молодой человек, и по тому порывистому движению, которым Таня встала, и они тотчас же, ни с кем не прощаясь, ушли в лес, на другой конец пляжа, Олег понял, что это и есть ее жених. (2)

Солнце село над берегом черным, так представлялись мне скалы, где бьется кандалник с судьбой. Жизнь моя, обещаю, что ты меня не покинешь, дай еще попрощаться с тобой. Солнце село, и опять загорелся день, горы спрятались в каменные крылья, зеленые перья холмов горели на солнце. Высоко, высоко первородное существо, вечно новая, неповторимая лазурь, повторялась в воде. А далеко в море, еле видные в молчании полдня, неподвижно все в той же позе лежали острова, куда раз в день из Леванду уходил коричневый баркас, долго, долго в раскаленной тишине стучал, щелкал своим допотопным мотором, наконец затихая, и снова цикады кричали, хотя голоса их были слабее...

О, раскаленное счастье, лето, мир без счастья, как ты прекрасен, безжалостен, ослепительно совершен над моей каторгой, ибо именно над пустыней, над циклопическими крепостями, где задыхаются арестанты, над каменоломнями, где сухо и глухо стучат молоты закованных людей, над Рио-де-Жанейро, над Каледонией, Гвианой стоит такое ослепительно безупречное солнце.

Каторга Олега началась. Таню теперь больше нигде нельзя было встретить, и только в обеденное время, когда он, как беспризорный, околачивался около кухни, на мгновение появлялись ее выцветшие синие штаны, и снова до ночи она пропадала неизвестно где, вместе со своим курчавым цыганенком-женихом с его

таким хрупким, таким болезненно тонким, никогда не загоравшим библейским лицом, и так же, как некогда Олег самодовольно радовался, как храбро она умела, ни с чем не считаясь и не показывая виду, уединяться с ним, бесконечно бродить, купаться, лазить по скалам, так же и теперь, с тем же совершенством звериного исполнения, она исчезла со своей узкоплечей жертвой, и Олег, несмотря на неустанное внимание, не встретил их ни разу, не увидел мельком нигде, ни на пляже у ленивой воды, ни в лесу, где палатка ее выродка казалась совершенно необитаемой, ни в горах, ни на дороге. Исчезла, перестала быть. Олег пытался читать, он привез сюда множество книг, так что едва донес чемодан, но до сих пор не прочел ни единой страницы, все казалось ему мертвой благополучной чепухой, иногда он входил в черное бешенство, напрягая мускулы, ища их, рыскал по скалам, но и это было бесполезно, они, казалось, уехали из Фавьера.

Черный от загара, мускулистый, всклокоченный, в каторжных выцветших нагольных фуфайках, он блуждал по Леванду, встречаемый и провожаемый удивленными и недоброжелательными взглядами. Сидел на молу, мимо которого не проходило пароходов, или в церкви, где не было молящихся. Теперь ему нравились грязная вода в порту, бутылки и жестянки на дне, газетный киоск. В мертвом унижении, в унижительном осатанении ревности, он появлялся то там, то здесь, больше не купался и даже не делал гимнастики. Что до горных пустырей, скал, облаков, морских горизонтов, обо всем этом и не думал вовсе, все это казалось ему теперь шутовской декорацией, грубо намалеванным балетным занавесом. Все это грубо, грубо, грубо, зло твердил он про себя, какие все-таки у Создателя примитивные вкусы в живописи, и только иногда за поворотом тропинки, между двух скал, поражала его микроскопическая бухточка своим бесполезным, никому не видимым совершенством, там он ложился животом на песок и лицом к самой воде, мурлыча без слов, без мыслей, без жизни, рассматривая камни и гравий на дне. Желтые, нагретые, каменные стены окружали его со всех сторон, все теряло пропорции и разноцветный гравий на дне казался ото всего независимым, неподвижно счастливым миром. Микроскопические волны набегали, согревая руки... Боль замирала... Лицом в песок засыпал, спал час-другой, забыв себя, и вдруг вскакивал, налитыми кровью глазами озирался и, ломая руки, опять принимался за тщетные поиски.

О каторга, каторга ревности, под ослепительным небом, зачем он сюда приехал, поддался, соблазнился, отрекся от аполлоновской жизни, неподвижно-надменно-атлетической, без счастья, без природы, без участи. И вот весь, годами скопленный пыл слишком высоко забравшегося одиночки вырвался на землю навстречу Тане.

Не видя, но постоянно видя ее перед собою, она казалась ему еще прекраснее. Мягкое и злое лицо с удивительно нежными, злыми и чистыми губами, насупленные брови и такие совершенные звериные и точные движения поражали его прямо в сердце. В полдневной тишине она была повсюду, она была нигде.

Все теперь было отвратительно Олегу; море не звало купаться, горы не звали бродяжничать, ступать по песку было тяжело, как по клею, есть не хотелось и только что ночью сон — спаситель не бежал с глаз. После обеда они теперь все вместе, кроме Тани и ее нахала, все вместе, впав в черную меланхолию — мрачность неудачного лета, — собирались под деревом на одеяле играть в карты или на тюфяке в палатке, которая, просвеченная солнцем, казалась арабским розово-желтым полосатым шатром. Надя ссорилась со своим атлетическим славянофилом, он грубо по-хозяйски ругал ее за карточные ошибки... «А что ты

вообще умеешь, ну ладно, сдавай... Ладно». Православная барышня, не выдержав жары и собираясь уезжать, смотрела на все огромными непомерными глазами, в которых недоумевала грусть. Человек-обезьяна был погружен в свои необъяснимые испанские мысли, он теперь подвязывал волосы ремешком по-индейски, у кисти накручивал какую-то тесьму, показывая в этом доисторическую дикарскую элегантность в украшении своего совершенно голого тела. Аполлон Безобразов, высохший и заросший бородой, состязался в неподвижности с камнем, на камне превращаясь в камень, отсутствовал и на удивление всем читал Олеговы, с таким трудом и так бесполезно, на спине принесенные книги.

И куда это делись без следа все многотуманные книги Олега, все толстые тетради его, вдоль и поперек исписанные. Все это оставил Олег в Париже. Уже месяц целый он не читал, не писал, не молился. Дикая свобода от Бога и страх Бога сопровождали его повсюду. Так, казалось, он свежее... встретит незнакомую ему жизнь лицом к лицу с миром, без защиты и без утешения, а жизнь, как нестерпимое солнце, не скупясь била ему в лицо.

О, город, город, ближе к ночи, когда уже сгорела заря и только зеленый отблеск ее бесконечной полосой светится на западе, но воздух еще душен, не успевши опомниться от палящего присутствия солнца, когда стены еще совсем теплы, а над ними, как раскаленное железо, таинственно-ярко вспыхивают красные линии неоновых ламп, малиновым заревом падая на листья и лица, в то время как четко, плавно, из раскрытого окна расточается по воздуху невидимый джаз радиостанции. Луна над разноцветною водою кажется теплой и близкою, подать рукою. Углубления железного виадука становятся темно-лиловыми, а там над ними уже вспыхнули тусклые ряды электрических лампочек, означающих в ракурс видимую станцию подвесной железной дороги.

Нечего делать; разомлев вдруг от бесполезной силы своей и от вечерней душной городской задушевности, выбившись из ритма самозащиты, загорелый молодой человек сидит на платформе, которая периодически пустеет. Тогда что-то совсем дачное появляется в ней, и вновь возникает на противоположной стороне стойки согнутая фигура бродяги, которая сейчас опять исчезает за многоногой толпой пассажиров. В промежутке станция кажется теперь железным кораблем, где они двое и распухший от однообразия контролер, подвешенные где-то над городом и временем, молчаливые путешественники без направления и без возврата, и надо все-таки уходить; «как это всем есть куда податься», а ему вот, Олегу, в сущности некуда и поэтому ему безразлично пойти, спустившись на набережную, направо, или налево, или пересечь мост Пасси. Олег, волоча ноги, пересек мост Пасси и мимо того же киоска Трокадеро, где снова загорелся декантский газ, дошел до неприветливой авеню Клебер, помедлил около Триумфальной арки, пошел, валандаясь, по полям Елисейским.

Город давил его, вчера, намеревшись только что вернувшегося с океана, что-то величественно-душное было в знакомой печали раскаленного вечера на границе осени, на границе ночи. По широкому проспекту прохожие шли толпою; люди были здесь почище, но не было в них любимого им, фамильярного приволья французского пролетариата, глумливо, остроумно перекликающегося под деревьями, иные тащили пессимистических детей, иные сидели в мопассановских позах на желтых, железных стульях, другая порода, чем там на станции, где он опять, тщетно проклиная себя за свою слабость, ждал Таню. Там слезающие люди

были веселы тяжелой, изомлевшей веселостью пропащего воскресенья; широкоплечие подростки посмеивались с блестящими, ослепевшими девушками; отцы возвращались из предместий с целым садом цветов, в клеенчатых мешках для провизии, а священнику было жарко в черном своем талесе, и он по-демократически обмахивал средневековой шляпой свой лысый лоб, на котором от нее оставалась круговая, багровая черта, а позже всех, как-то боком, из вагона вываливается совершенно пьяный человек, едва не застряв в автоматических дверях, и так боком, совершенно вопреки законам равновесия, подвигается к выходу, и все, с симпатией, опаской и тайной завистью, на него озираются, а он, тоже кого-то до безобразия переждав, не дождавшись в кафе, что-то сумрачно говорит в пространство, делая тяжелые, неверные жесты.

Олег только что вернулся и с нездоровой радостью-печалью осматривает свои владения, потому что город, особенно эти улицы, был местом, где он впервые до конца, до слез, возмущился своим одиночеством и, стерпев его, ожил какой-то новой, стоической, замкнутой, зрительной жизнью, но сегодня он снова, как тогда, не защищен был ни от чего, снова шел куда-то, ждал чего-то и, конечно, невольно взял курс на Монпарнас — встретиться с товарищами-литераторами, и скоро — по знакомым местам — он очнулся от надоевшей боли тщетного ожидания на метро Гренель. Снова, побив все рекорды благородства и бесхарактерности, он ждал ее почти до десяти часов и снова один попал в тот сумрачный час, где каждый, разместившись, счастлив своим местом, а на улице остались одни лишние люди, обманутые любовники, безработные иностранцы. Среди них в затихшем уличном воздухе однообразно кричали газетчики, и радио неестественным басом возглашало результаты велосипедной гонки; их жгли натруженные ботинки и дикое желание не то напиться, не то пожаловаться кому-то старшему и всемогущему, не то подраться с первым встречным.

Шествуя, Олег проходил миры и кварталы с другими прохожими, принадлежащими, казалось, к другой расе. Их разделили промежуточные улицы, пустые и мрачные. Так, на Сен-Мишеле он сразу без перехода попал в сплошное шествие двадцатилетних подростков с дисгармоничными голосами, порочно свободными движениями и наложенными плечами. Люди здесь громко переговаривались, дурили и толкали прохожих. Олег, сшибая их, выкатил плечи и, побитый без единого удара, потащил ноги вдоль стены, вдруг опустившись от усталости на свое привычное место бывшего молодого человека. На Авеню де л'Обсерватор нужно было пересечь еще один рубеж двух миров, стык двух физиологий, потому что человек с бульвара Монпарнас совершенно другой породы, и моды, и жесты, и голос другой; то Франция, самоуверенность живой почвы, от которой, как ни рвись, все равно останешься по пояс в здоровом тысячелетнем перегное костей отцов, а то голый человек, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалиптически одинокий.

Вдали огни Монпарнаса уже освещали вечер. Олег ожил, и сердце его забило. Старые друзья — старые счеты — старые самолюбия — старые унижения, и со всеми, решительно со всеми у Олега были сравнительные, невыясненные отношения. Всем им он в свое время или перехал или перекланялся, на тех сердился, стыдился этих, потом еще путалось другое желание пококотничать своим загаром, здоровьем и вновь открывшимся ему счастьем дикости, пустыни, земли, так что Олег сейчас, мгновенно забывши газетную бумагу и окурки в холодной воде дешевого дачного места, наврет целую Джекклондовскую-Африканскую поэму. Что-то напряженное, резкое, невнимательное к собеседнику уже кипело в нем, он шел к товарищам, вновь

уже провалившись незаметно в знакомый, скучный невроз, «кто кого пересмеет», уже заранее с тоской зная, что заговорит, перегалдит всех и вдруг очнется среди всеобщего упрека, скуки, совершенно потерянного с ними контакта, хотя встретят его радостно, как своего.

И действительно, едва обошел веранду «Ротонды» (3), такую знакомую по давнишним художественным неудачам, Олег уже издали сквозь открытые окна «Наполи» увидел своих элегантных негодяев Черношвита, Околишина, Светобаева, и они искренно обрадовались ему, великодушно-грустно расспрашивая о море, когда он деланно-неуклюже, по-бандитски, в раскачку копируя какие-то старые американские фильмы, подошел к ним, но не успел ни расхвастаться, ни обидеться ни на кого, потому что почти одновременно, но с другой стороны подошли к столу Ала Рашкавадзе, Гуля Барк и Катя Муромцева, три подруги или, вернее, две подруги, Гуля и Ала, сутулящиеся молодые женщины, одетые во все чужое, но элегантные, неискренно, но остроумно насмешливые, и Катя, новый человек на горизонте, залетная птица, простоватая, высокомерная, купеческая дочь из большеглазой, широкобокой, крепко за жизнь держащейся породы.

Все встали и принялись церемонно целовать руки, чего Олег растерявшись сделать не посмел, но с удовольствием забрал в свою толстую, голую до плеча лапу холодную влажную руку Алы. Вот это девушка, подумал он, худые руки, на лице какое наслаждение, полураскрытая худая рука спящей Алы. Это тебе не Таня, медвежья лапа.

Разговор начался с жалоб на духоту и на сердечную боль от близкой грозы, а та, легка на помине, вдруг тяжело прокатилась громом по крышам домов.

— Смешно, — сказала Гуля, — гром шумит, как будто дело делает, а дождя все нет.

И как будто ей в ответ тяжело, сначала редко, потом сплошь забили по широкому тенту крупные капли дождя, мостовая сразу потемнела, и гарсоны в спешке, морщась, стали заносить стулья, а сидевшие слишком близко к окнам пересаживаться к стене. Дождь теперь так шумел, что трудно было говорить. Ала, по-грузински злобно тараща глаза, закурила папиросу, и вдруг ночь осветилась ярким, дивным светом и с неопишимым треском, рванувшим уши, молния упала где-то неподалеку в сторону бульвара Распай. Олег вскочил и бросился смотреть, хотя неизвестно на что. А когда вернулся он, Ала и Катя успели уйти куда-то, почти со всеми остальными, и только Гуля Барк мрачно продолжала курить, негромко говоря что-то Черношвиту, загорелому, сорокапятилетнему сюрреалисту с лицом испанско-индейского пастора, в железных стариковских очках, и тот, не оборачиваясь, вежливо поддакивал, издавал нечленораздельный звук. Этот Черношвитов, словако-испано-русско-французско-раскольниче-антропософский одиночка, был последним открытием компании, позднейшим, но едва ли не самым сногшибательным. Но скоро тот, как старый опытный волк, хорошо защищенный дикостью своего благородства — отщепенца — встал и по старинке церемонно простился, подав руку дощечкой, может, потому, что чувствовал, что именно сейчас он, может быть, нужен, что Гуля, выпав из компании, на мгновение за него зацепилась. Так что против воли Олег и Гуля, оба сердясь на кого-то и на что-то, остались друг против друга, старые знакомые, не знали, за что ухватиться, чтобы хотя бы для приличия заговорить, но обоих трогало и раздражало это смущение и сбитость с толку, но только что он решил наконец заговорить — вернулись Ала и Катя со своей бандой, подозрительно вдруг повеселевшей.

— Олег, идем в кабак к цыганам.

— Да ведь это не настоящие.

— Не настоящие, но поют почище настоящих.

В кабаке на рю Монпарнас, необъяснимо и неприлично названном «Кабаре о Флер», едва вошли, глухой и частый ритм электрического граммофона пробудил в Олеге какую-то давнюю счастливую и грубую ноту. «Ага, начинается парижская жизнь, распронагни его мать». В тесном, карнавально освещенном помещении, сбившись в проходе, толкались, дурачились французские молодые люди, переодетые матросами, они танцевали промеж собою, подражая негритянским телодвижениям, центр которых, однако, был перенесен с переднего на задний план. Потом свет потух, зажегся прожектор, и в белом луче его появились накрашенные и феерически четкие лица русских певцов, что, помолчав мгновение, вдруг все сразу привычно по-кабацки оживились, запели знакомыми, чуть церковными голосами:

Милый друг, побывай у меня,
Ты бывай, бывай, бывай у меня.

Олег и Катя очутились рядом между окном и высокой стойкой, и после первой же рюмки между ними возник знакомый, но всегда новый электрический контакт, мгновенно изолировавший их от всех других, которые по-своднически, то есть чисто по-монпарнаски улыбнувшись, повернулись в другую сторону. Катя щурила свои длинные цыганские глаза без ресниц, и щеки ее ярко и, видимо, против ее воли горели от выпитого спирта.

— Дорого здесь, — сказал Олег, рискнув повести разговор на свой деланно-босаяцкий манер. — Выйти бы охолостить по одной в бистро, а потом вернуться потанцевать.

Против всякого ожидания тон этот понравился Кате, и она согласилась, и в тусклом кафе на Эдгар-Кинэ симпатичные и низкорослые французские матросы, на этот раз уже совершенно настоящие, сообщнически посмотрели на него и уже с ним незаметно выпили и расплескали по пяти рюмок сногшибательного кальвадоса. В ушах Олега загудело, возвращаясь, он не слышал собственных шагов, но зато они говорили наперебой о лете, о Дании и еще о чем-то, что казалось необычайно смешным. По их возвращении кабак показался другим, более тесным, более ярким, ярким и темным в одно время, и в него они, как в родной дом, вернулись.

Дайте да ходу, ходу пароходу,
Натяните да паруса.
Я за то его любила, за кудрявы да волоса.
Ах, да вы пейте, да пейте иль не пейте,
Все равно тоска сгрызет.
Коню гриву вейте иль не вейте,
Все в канаву да завезет.

Олег уже тяжело дышал и начинал быть опасен в смысле скандала, хотя пьяный, как назло, сильно слабел и его именно тогда ничего не стоило побить, конечно, человеку его спортивного уровня. Освещение опять мило по-балаганному переменялось, зажглись красные лампы, и они начали танцевать; вдруг смирев от необычайного этого факта оказаться в объятиях друг друга, вдруг помолодев и изо всех сил заботясь о напускном благообразии, и Олега, как иногда особая культурность ума, поразила необычайная музыкальная податливость этой красивой, крупной молодой женщины; при быстром движении на поворотах все сливалось в один разноцветный туман; все было одновременно и чрезвычайно приятно и совершенно безразлично сквозь сладкий почти приторный запах Катиных волос.

Умное, тяжелое тело, как хорошо, что существуешь, думал Олег, танцуя. И само без науки знаешь, кого тебе любить, а ведь умом, сколько ни думай,

ничего не поймешь, не то всех, выходит, надо любить, не то никого. Как воплощенная живая музыка в движении, ты то замираешь на четверть мгновения, то плавно идешь назад, то с разгону поворачиваешься, покачиваешься, наклоняешься, и сколько смысла в грозном остерегающем сиянии твоих глаз. Когда-то Олег чуть не задохнулся от удивления-благодарности, прочтя у Гегеля, что тело есть воплощенная, явная, реализованная душа; значит, не обуза, не завеса, а совершенство и роскошь творения, злое, оскаленное, дрожащее, как струна, когда над ним среди хлопанья флагов и рева толпы вот-вот щелкнет, ахнет выстрел стартера, и тогда нужно будет, в мгновение выпрямившись, всю душу, все сердце, всю жизнь вложить в первый отчаянный бросок, чтобы грудью, зубами, лицом вырваться вперед, потому что все в состязании зависит от этого первого рывка, или то же тело легко, тяжело, привольно, с шумом дышащее, выдыхающее воздух под водку, когда привыкнув к ритму, привычным движением выкидывает оно перед собой руку, всем существом, как лента, как рыба, подаваясь вперед; тело плывущее, тело танцующее, тело любящее со сжатыми зубами; уже не хранящее, не берегущее себя, счастливо, злобно храпящее, борющееся, побеждающее, теряя голову, слабеющее, освобождающееся вдруг. Как наивны те, кто хотел бы иметь другое тело, не находя себя в себе; и впрямь они или не знают своей красоты или не подозревают безобразия тайного своей души.

Забыв о своем отдельно-бытии, забывшись, Олег и Катя танцевали, как будто они в самом деле были одним существом. А когда они возвращались к стойке и поравнялись с хорошо подстриженным, гладким, похорошевшим от водки лицом Околишина, этого еврейского лорда без гроша в кармане, он с слегка сообщнически покровительственным видом, но так умело, незаметно сказал Олегу:

— Поздравляю, только не радуйся слишком скоро.

Но Олег не внял предупреждению, сердце его, со всем его золотом, скопленным, тяжелым, невыносимо таяло, раскрывалось, тратилось вдруг на этого неизвестно откуда, на радость ли, на горе ли взявшегося, высокомерного, нового человека, который теперь танцевал с каким-то молодым метеком, то есть французом в терминологии Олеговой, высоко до деревянности, до комизма, но элегантно носившего лакированную голову. Катя вдруг остепенилась и пришла в себя в руках дисциплинированного кавалера, и цыганское чернокрылое, чернобровое антично-коровье лицо ее теперь совершенно ничего не выражало, и вдруг Олег поразился как бы сквозь сон, до чего она была хороша в ту минуту, когда, выставив назад красивую, полную ногу чуть неправильной формы («Ага, кавалеристка и ты»), кончавшуюся такой безупречной горбатой ступней в тонкой туфле, чуть заметно, ни много, ни мало, а ровно сколько нужно, касалась носком оранжевого пола позади себя, и Олег не мог не восхищаться даже ее партнером — «Муштрованный сукин сын, с каким удовольствием je lui aurais cassé quelque chose¹ — но вместе с тем смутно, глухо, позорно чувствовал, до чего Катя привыкла, привычна, естественна в хорошем обществе, для него совершенно недоступном, муштрованных, сдержанных, энглезированных собачьих детей, которым он так завидовал, и до чего трудно ему будет с его ненавистной ему широкой натурой не понравиться ей — „c'était déjà fait”² — а войти в ее жизнь, удержаться около нее. В эту минуту он ощущал себя всклоченным босаяком, и ему хотелось не то драться, не то проснуться, уйти, раскрыть своего Гегеля. Да, а Гегель, подумал

¹ я бы ему что-нибудь сломал.

² это уже произошло.

он и понял, что и Гегель ничего здесь помочь не может, ибо только увеличивает осатанелость, остервенелость его и так обычно некстати и на горе себе являющуюся решимость. Но горькие мысли вдруг оборвались, потому что Катя бросила кавалера, подсе- ла и, взяв Олега за руку: «Ну, тяжелая голова, замрач- нела, спел бы лучше что-нибудь, говорят, поешь хоро- шо», — и вдруг подурнев и раскрасневшись, но все- таки успев подмигнуть ярко-розовому, но по-прежнему безупречному Околишину — «мол, насвистался мой поклонник», — засмеялась, показывая неровные зубы, неловко прикрыла их фантастически белой рукой, стала вдруг до того по-братски, по-бабьи, по-исподне- му мила, что Олег понял, что не на день, а на долгое время пропала его голова, в то время как снова ожив- ший хор пел теперь:

Стаканчики граненые упали со стола.

Упали не разбились, разбилась жизнь моя.

Олег теперь все больше пьяно мрачнел, и неведомо откуда возле него оказалась Ала, худая, глубокомыс- ленная и мило-беспомощная глубокая грузинская княжна.

— Слушай, Алик, ты опять и пьян, и мрачен, и влюблен, кроме того держу пари, что ты сейчас будешь драться.

А Олег неожиданно серьезно деловито, не до шуток просто:

— Кто она, Ала, откуда взялась...

— Купеческая дочь из Дании, тебе под стать, толь- ко ничего у тебя не выйдет, потому что не умеешь ты фасон держать, как у нас в лицее говорили.

Олегу показалось, что это о нем поет хор:

Прощаюсь поне с вами я, цыгане,

И к новой жизни ухожу от вас.

Вы не жалейте меня, цыгане,

Прощай, мой табор, пою в последний раз.

«Как хочется хоть раз, в последний раз поверить. Не все ли мне равно, что сбудется потом... Любви нельзя понять, любви нельзя измерить, а там на дне души, как в омуте речном»...

Да, конечно, не все ли равно и не минуло ль в море то яркое облако, эта память о летнем просторе... Ночь грозовая смотрит в окно, ты забудешь и счастье и горе, ночь и дождь, и не все ли равно, как все это промчалось давно.

Катя сидит на полу, покрывши кончики туфель темно-зеленой шелковой юбкой, старым, в крови пе- редававшимся жестом держит гитару. Уста ее едва шевелятся, голос ее еле слышен... Что она поет, напевает, говорит, уставившись куда-то в дальнюю стену пустой комнаты широко открытыми глазами. И здесь среди белой современной мебели, разбросанных книг и пустых бутылок, бумаги, чемоданов, в этом уже покинутом жилье, в хаосе переезда Катя на ковре спокойная, родная, бесконечно русская, едва касается пальцами гитары.

«Не надо ничего, ни поздних сожалений, ни равно-душных слов, былого не вернуть; лишь хочется еще на несколько мгновений в речную глубину без страха заглянуть»...

Да, Олег, без страха. Пыль клубится над жаркой землею, степь без края погасла, устало, еле слышно пыльной тоскою песнь в степи у костра погасла... Солнце землю спалило огнем, все свалилось во сны без отрады, только голос над мертвым костром напе- вает по древнему ладу... Жизнь промчится, а жить не успеть, что ж, помолимся Богу, с гитарой будем пить, будем ждать, будем петь песнь о счастье, несущемся даром...

Медленно сквозь пьяную душу Олега несутся звуки,

только что, вдруг замерзши, вдруг присмирив, они долго и еле слышно говорили о снеге, о толщине деревянных стен, о ночниках, свечках, керосиновых лампах, о подоконниках, на которых, опершись на локти, лежат подростки. Бесконечно долго следя, как рано на севере кончается день, и удивительно торже- ственно, удивительным благообразием раскаяния, опрощения, возврата, звучали эти слова в тишине предместья, в глубине ночи.

Дома, куда Катя, пересмеявшись и перехулиганив, пьяно-серьезно пригласила Олега, по-русски лукаво, отчаянно, прямо глядя в глаза, и он понял, и у нее дома ни разу не подсаживался, не приставал, не пытал- ся ее обнять, развываясь курил в кресле, пьяно-высоко- мерно философствовал, грустил, слушал...

«Проходит солнца луч сквозь замкнутую ставню, и в нем, как от вина, кружится голова... В ушах еще звенит твой разговор недавний, как то речное дно, темны твои слова»...

Как будто издалека, из другой комнаты долетает, доносится голос, шепот, причитанье, нытье, напев. Как из мира иного, из жизни иной, Божественно успокоенной, привольной, родной, совершенно лишен- ной вечного обезображивающего усилия, напряжения, изуверства, отчаяния, страха... Жизнь без религии, нет, вернее, с Церковью и свечами, но без вечного злого мистического сумасшествия, одинокого, пещер- ного, раскаленного, Вавилонского пыла недостижи- мой святости...

Ах, леса, леса, овейте, шумом своим успокойте изуверскую дикую душу мою. Ляг во тьме и внимай, как неспешно поет соловей. Потеряй свою душу в вы- соком сосновом раю...

Ах, Катя, Катя, домой с небес, из раскаленного ада святости, жестокости, спорта и книг на землю в смире- нии труда, усталости и физической любви... Ах, Катя, как скучает дьявол-подвижник на своих Вавилонских горах о земле, о траве и о белой круглой тяжелой груди своей родины. Но дверь вдруг открывается, и в дом неведомо откуда и как вваливаются Ала, Черносвитов, Гейс, Околишин, Черепашков, и оскор- бленные, внезапно разбуженные, Катя и Олег подни- маются с мест, и Олег уходит, ошалев от любви и обиды...

Праведность... Сидение на стуле, который каждую минуту исчезает из-под ног, как будто его изнутри выели термиты. А тогда мгновенно задом об землю, затылком об кофейную стойку... Покой в Боге, вот что почти никогда недоступно подвижнику... И все- таки грех знает свой покой; напр., ассирийский покой длинноглазых женщин из кафе, которые все утро проводят за тщательным омовением, одеванием, рас- крашиванием своего тела. За телефоном или в кроват- ти за иллюстрированным английским журналом, но и этот покой кончается беспокойством: ожирения, гонореи, скуки... Или тогда твой металлический покой без возврата, о, Безобразов, стеклянный ангел над золотой колесницей...

Покой в Боге, покой весны... Бог примиряется с человеком, когда тот откупается от него обрезаньем, женитьбой, капитуляцией, охлаждением мистической опасности, гениальности, одиночества, детства... По- тому что девственников Он сам преследует, терзает Своей непосильной любовью... «О прекратись, исчез- ни, погасни, — стонала Тереза в мистическом обморо- ке, — или я умру, сгину, не выдержу, и душа моя оторвется от тела».

Вечная внутренняя борьба, неожиданные самые глу- бокие, самые горькие падения просто от усталости, переутомления слишком долгих молитв, до звона в ушах, соленого, кровавого вкуса во рту и свинца- стекла в переносице... Долгие, белые дни без храбро- сти, без счастья, без сил, совершенно без благодати

над недостроенными развалинами потерянной, недооцененной, небрежением проигранной, недоигранной внешней жизни, проклятие раскаленной дороги, свинец в руках и сердце — аскеза, благодарю вашу душу, мать... И вдруг страшно ослепительно, до страха внезапно, раскрываются двери в глубине сердца, с той стороны двойной воронки, и нестерпимая, невыносимая слава, оглушительные слезы счастья, присутствия, физического присутствия Бога, принадлежности, преданности, проданности, обреченности Богу, когда еле успеваешь крикнуть, не успеваешь зажмуриться и сердце уже рвется, горит, разрывается, разрушается, тает, течет, исчезает в потоке Божественной любви, а когда наконец глаза, изъеденные слезами, открывались и Олег, всклокоченный, грязный, с тяжело бьющимся сердцем слезал с дивана... Жизнь сперва представлялась невозможной, но потом, поев, побрившись, он вдруг оживал к болезненно-яркой, бессмысленно-интенсивной жизни Монпарнаса. В слишком широко раскрытых, слишком светочувствительных глазах мир казался полным огня, каждый дом спящим на солнце, притворяющимся добродушным чудовищем, каждый угол, каждое закатное облако, каждый фонарь казался одушевленным существом, притаившимся ангелом, демоном, огненной бабочкой, медленно полыхающей в сумерках... При встречах дикая больная радость общительности вырывалась из сердца... Олег так много говорил, так хвалил, восхищался, галдел, что у случайного встречного создавалось какое-то болезненное, неловкое ощущение, так что тот спешил поскорее от Олега убраться... От одного человека до другого, от столика к столику, иногда смеша до упаду, иногда страха до отвращения, Олег перешумит, пересмеется, переволнуется и, еле живой, с бьющимся на лестнице сердцем, доберется, повалится (и это он, атлет и пловец), рухнет на продавленный диван и, о ужас, не сможет заснуть... Горя сумасшедшим болезненным блеском, бессвязные образы будут нестись перед его глазами, подушка будет слишком низка, все тело будет чесаться, и он поминутно будет вскакивать, палить свет, скрежеща зубами искать невидимых блох... Потом, наконец, собравшись с силами, заставит свои мысли остановиться, весь сжавшись, уставившись, замрет в непроглядной тьме, и тогда новое бедствие, галлюцинации, кошмары наяву обступят его... Мебель начнет двигаться, платье на вешалке примет форму повешенного человека, что-то бесформенное, полудеревянное, полубумажное закопошится на лестнице, и так до рассвета, пока он вдруг не провалится в бессвязные, унижительные сны.

Олег уже два дня не медитировал. Тяжкое, мутное оцепенение счастья, вина, Катиного присутствия превратили его жизнь в поток картин и мрака, среди которых он не может проснуться. Плывет, уносимый горячим течением, вечно спеша, волнуясь, стирая носки, бреясь, целуясь с тяжелой головой, посреди мечтаний: о выигрыше в национальную лотерею, о такси, засыпает и долго не может проснуться или сразу вскакивает, вспоминая, не пропустил ли свидания...

Дни сменяются днями. У каждого имеется рассвет, которого никто не видит, кроме бродяг и пьяных, нехотя щурящихся на небо. У каждого дня имеется вечер, который неуловимо начинается в цвете читаемой страницы, медленно переходящем из желтого в розовый, голубой, серый, черный — тогда почему-то не хочется зажигать свет, чтобы не путаться, умирая от грусти, между двух огней, как некогда Олег между Аполлоном и Терезой. Неподвижно, с книгой в руках, темная личность смотрит в пространство, обдумывая сложную и горькую географию своего оди-

ночества, где-де и через какую границу ему через него попытаться перейти, чтобы вскоре насильственно и с позором быть вновь в него водворену, подобно административно высланному, принудительно возвращаемому в исходную тюрьму.

Весь этот, такой знакомый, скучный горный ландшафт чудесно исчез вдруг с Олеговых глаз. Его заменили вечное ожидание, неустанная тревога и боязнь перепутать свидание, место и время встречи, какая-то занятая, кокетливая беззаботность-озабоченность в разговоре с товарищами, как будто нашел службу или получил наследство. Особенно счастливыми были сборы Олега, когда, неестественно оживившись и вынырнув вдруг из книг, в которых он по-медвежьему обрастал волосами, пух и начесывал брови до лысин, ковырял в ухе и скреб голову, вдруг из мира призраков, из вне времени, одним движением выплывал он в настоящий день, мыл ноги, что редко обычно делал, стоически любя грязь, запах кала, пота, табаку, мочи; стирал и зашивал носки, вытаскивал из-под тюфяка отлежавшиеся и еще теплые брюки, брился, тер докрасна морду грязным полотенцем и помолодевший, похорошевший, на ногтях выкатывался на улицу, расправлял плечи в осенней сырости, еще летний, загорелый, живой летел, шел, все время себя сдерживая, к Кате. Если бы он себе позволил, он бы бежал всю дорогу и только потому не делал этого, что боялся неприлично вспотеть и переволноваться, ибо для него, и так постоянно неестественно возбужденного и пьяного без всякого вина, самым авантжным был именно первый момент встречи, когда лицо еще сохраняло так идущую диким натурам неподвижность, замороженность улицы, холода, одеколona и смущения. Катя жила в отеле на бульваре Монпарнаса, и он по дороге проходил мимо двух пар часов — одни в глубине гаража на Обсерватуар, другие — над зданием бани, и вечно они показывали слишком мало времени, и надо было еще крутить по кварталу, нагоняя минуты, что давалось с трудом. Наконец, последняя оглядка на себя в зеркале (вредная, между прочим, ибо знал он, что увеличивает застенчивость), и Олег, напрягши все мускулы, как боксер, встающий с своего табурета, входил в подъезд. Этот напряженный, отчаянный вид делал его сугубо подозрительным в глазах хозяина, сквозь которого приходилось каждый раз пробиваться чуть ли не моральным насилием, и вот он уже на лестнице. Потому что хозяин и хозяйка были всецело на стороне Сальмона, приехавшего всегда на автомобиле и умевшего разговаривать, и Олег еще вчера наткнулся на характерное проявление этого предпочтения. Катя где-то закрутилась и опоздала, Олег походил под дождем, потоптался под тентом книжной торговли и, вернувшись, сквозь стекло двери увидел записку, нацепленную на крючок от ключа, входя не удержался, чтобы не отогнуть пальцем и прочесть: „Mr. S. ne viendra pas ce soir“¹. Олег успел уже подумать, что этот сукин сын сам о себе так величественно в третьем лице написал, когда на него налетел хозяин с угрожающим „Qu'est ce qu'il y a?“². Олег смирился и ушел, но зато Катя его вознаградила, нарочно громко шутя перечитав записку ему при хозяйине, и, так продолжая посмеиваться и помахивая запиской, поднялась по лестнице.

Эту встречу, когда Катя одевалась при нем, он вовсе не оценил тогда, но теперь, когда больше ее не видел и не мог видеть, малейшие ее детали отчетливо до мучительности оживали перед ним. Вспомнил он, как Катя душила кончиком пальца губы свои и мочки ушей, все время лукаво, тревожно, в упор смотря на него в зеркало, и как он беспомощно гордо удержи-

¹ М. С. сегодня вечером не придет.

² В чем дело?

вался или попросту все не решался обнять ее и поцеловать, переминаясь и не ценя своей силы тогда заставить ее опоздать к Сальмону. И все-таки она опоздала почти на час, опоздала из-за слез, которые вдруг потекли, накатившись из-за края ее огромных глаз без ресниц, и тогда сурьма расплывалась по щекам, и все надо было начинать сначала.

Перед самым отходом, в приготовлении к которому было все отношение Кати к Олегу (отношение опустившегося человека, двойственное из-за слез, опоздания, чуть прикрытых насмешек над запиской и того, что она так тщательно одевалась, красилась, душилась, стоя у ночного столика и с усилием глотая из горсточки какую-то шоколадную крупу, от вида которой Олегу становилось больно на сердце), Катя, смеясь неизвестно над чем, молвила:

— Каким это вы жалобно-гимназическим голосом это сказали: «Ах, уже надобно идти».

А он, Олег, мгновенно насупившись и приготовясь к отпору:

— Вам не нравятся жалкие голоса.

— Нет, я люблю такой голос. Так спрашивал всегда тот белобрысый из университета, которого я любила...

Олег ожил, но это и была его последняя удача, которую он смог еще оценить. Мука разлуки с Катей уже туманила ему голову, и он плохо соображал, зачем ей понадобилось тащить его до самого «Кафе дю Дом», а главное, еще более, зачем ему было туда входить вместе с ней, хотя уже несколько раз он начинал прощаться. Не понял он тогда, может быть, самой большой своей победы, а именно, что Катя хотела, чтобы Сальмон увидел его. Хотела нарочно столкнуть их на узкой дорожке, защититься Олегом и ожить к гордости счастья.

Сегодня же Олег, поднимаясь по лестнице, вспоминал другую яркую до муки минуту. Конечно, Олег переделикатничал. Потом, вспоминая, невесело скажет: „Par delicatessen j'ai perdu ma vie...“¹. Десять раз Катя ждала, что он потеряет голову, поцелует, обнимет всею тяжелою своей теплотой, но знакомство с Безобразовым и Танины дни не прошли для него даром. Олег то сиял нарочно счастливым холодным теплом, то действительно смутно боялся чего-то непоправимого, аскетически страшился падения в горячий омут, и это было грубо. Катини руки вдруг разжимались, что-то злое, кокетливо скопческое появлялось в его неуклюжей усмешке, но зато во сне свет ее тела раскрывался всецело, и он просыпался, весь дрожа от счастья, как будто бы вдруг с солнцепека попав в темную комнату, ничего почти не видя и не понимая в первую минуту. Снился ему какой-то низкий деревянный дом, где-то среди ярко освещенных песков, поблизости, но не в виду моря.

Он, Катя и Таня рассматривали какие-то загадочно символические картины, картонки, карты, которые от их внимания оживали и начинали двигаться.

Потом все трое, радуясь тому, что это возможно, совершенно голые шли по какой-то узкой оранжевой дорожке, прорубленной в скале, ярко и ласково смеясь, и так по скалистым ступеням сошли на берег.

Потом в комнате, обитой белыми чехлами, в ярком сиянии сада, Катя лежала на Олеге, наполовину оставаясь все-таки на воздухе, и все его тело пило, вбирало в себя ее присутствие, потом еще другие сны.

В тот вечер, который Олег вспоминал на лестнице, поднимаясь за Катей и жадно всматриваясь в тяжелую грацию ее ног, как мускулы на них напрягались при шаге и как, подымаясь на ступеньку, они обнажались, как двое работающих древних божеств, немного более обычного, в тот вечер они уже долго сидели обняв-

шись, все же не решаясь откровенно целоваться в уста, но со страхом счастливо нежничая и глядя друг друга. Катя наконец отлежала руку, откинулась, закурила папиросу, запрокинув голову и выпуская дым к потолку. Синяя охотничья куртка ее сбилась, задра-лась кверху, и между ней и старой шелковой юбкой блеснула беспорочно белая, удивительно гладкая полоса тела. Рука Олега, дойдя до этого места, остановилась как бы обожженная, но через нее по всему ее телу разлилась горячая яркая радость какой-то несбыточно горячей откровенности. Катя поняла и замерла в тревоге, надеясь, боясь его предприимчивости, но Олег снова не решился продолжать в том же духе, и Катя, осмелев и передвинувшись, вся выгнулась, дугой свесив ноги с края кровати и слегка раздвинув их. Она отвернула голову и сказала по-цыгански сквозь зубы: «Ах, я должна была бы совсем не так с вами обращаться», — прямо намекая на то, что они теряют счастливое время, но Олег, так давно уже ведший насильственно целомудренную жизнь, весь похолодел от неожиданности и, испугавшись, что он не возбудится, как следует, действительно болезненно-нервно остыл совершенно.

Катя встала, вдруг постаревшая, с лицом, налитым кровью, она вообще слишком легко краснела, и тонкая ее кожа быстро наливалась кровью от счастья, от лжи, от злобы. Она пила воду, глотала шоколадную крупу, курила и шурилась.

Успеем еще, успокаивал он себя, не зная, как это часто бывает, что это и были самые счастливые их дни, по-детски недооценивая и пренебрегая ими, не ведая, что завтра скоро Таня снова выпустит свои когти, и счастье его с Катей запутается в ссорах.

Между зеркалом и чемоданом ничком лежит Катя, совершенно одетая, даже в пальто с милыми его меховыми эполетами. Быстро закрыв дверь, Олег скинул пальтишко вместе с пиджаком, подался к ней и легко поднял ее с земли, со страхом почувствовав на руках мягкую и дорогую тяжесть ее спины и бедер. Положил на кровать, целомудренно одернув юбки, вдруг на кровати Катя очнулась, быстро невнятно забормотала что-то, тяжело-отсутствующе осмотрелась, узнала Олега и, вдруг протянувши к нему руки, притянула его к себе и, обычно такая гордая и неприступно-расчетливая, головная, спряталась головою к нему в светер и, отчаянно прижимаясь к нему, зарыдала.

Долго, долго бормоча и сопя носом, Катя плакала, потом устала, слабо повела головой и задремала, клюнув носом рядом с Олегом, мучительно отлежавшим руку, не смевшим двинуться. Из ее бормотанья он узнал, что они встретились вчера с Сальмоном в «Кафе дю Дом», и тот, чувствуя недоброе, повез ее пить, что, выпивши, они, наконец, объяснились, и что она впервые откровенно с ним говорила, и что он вдруг перестал хамить и задаваться, съезжился, подался и заговорил о том, что ему уже тридцать пять лет, что он не хочет губить ее молодости, сразу перевернув сердце ей, наивно недооценившей свою власть и ожидавшей ругани, грубости, может быть, даже драки. Что после этого он по-товарищески напросился к ней наверх и что сперва все было очень хорошо, а потом опять все было то же самое, после чего она ревела, до пяти часов не спала, утром же оделась, чтобы идти по делу, и вдруг завертелось все в голове.

Время шло. Плача, сопя, бормоча во сне, Катя все крепче пристраивалась к Олегу, тычась в него носом, как медвежонок, ища защиты, и сердце Олега таяло, рвалось, сопело, бормотало от нежности, но было ему тревожно, не очнется ли она вдруг и не рассердится ли на себя и на него за свою слабость. Однако Катя очнулась совсем по-другому... Засмеялась, даже напу-

¹ Из-за деликатности моя жизнь прошла мимо.

дрилась, шутя над собою, и послала Олега в бакалейную лавку, но до этого было еще одно небольшое, но мучительно счастливое словесное происшествие. Олег, согрешившись около Кати, скинул свой морской светер, не забыв со спортивным кокетством закрутить рукава безрукавки до самого толстого плеча, обнажив свои перетренированные руки. Катя прильнула к этим рукам лицом, закрыв глаза, и вдруг, помолчав, сказала: «Как хорошо, что у тебя такая гладкая коричневая кожа... Страсть не люблю волосатых рук, черную спутанную шерсть на руках... Бррр...» — и вся болезненно, не открывая глаз, содрогнулась от отвращения, и Олег понял, что длинная черная борода на белых и, вероятно, скелетических руках росла именно у Сальмона и что, это ее вспомнив с отвращением, Катя прижалась к нему, Олегу... Торжество его в эту минуту над соперником было полное, как всегда в невыносимых случаях, он внешне пропустил эти слова мимо ушей, ревниво схоронив их в сердце.

В итальянской бакалейной колбасной Олег закупил сосисок, пива и квашеной капусты с салом, зная, наверно, что всю эту убоину он как вегетарианец есть не будет, но это его не трогало, ибо, как здоровый человек, он от волнения забывал совершенно о еде и сне.

Платя, Олег не преминул жалко пококотничать перед кассиром, независимо извлеки Катини сто франков, хотя и показав этим самому себе, что в эти сказочные дни его и Катини деньги казались общими. Все же, идучи на свидание, Олег старался хотя бы папирос купить на свои, чтобы хотя бы первоначально не курить, не тратить ее «Лаки Страйк», хоть их и до страсти любил. Но вокруг денег, вдруг расставшихся их денег, и начало внешне разлагаться их счастье, ибо именно из-за денег были их последние самые ядовитые обиды.

Таща все в объятиях, Олег возвратился в отель и уничтожил хозяина счастливым своим видом. Но наверху выяснилось, что ни ложек, ни вилок, ни стульев в комнате нет, Катя прямо на чемодане, на бумаге расставила харч. Села рядом на пол (она вообще любила сидеть на полу, уютно по-помещицки покрыв юбкой даже самые кончики туфель)... Олег неуклюже, неудобно сел на другом краю (он всегда нервно следил за своими движениями, стараясь красиво и мужественно вставать, закуривать, и поэтому часто был до смешного неестествен, даже комичен).

Теперь Катя, выплавав свое горе, руками ела капусту, запивая ее прямо из полбутылки английского пива с тмином, и с набитыми щеками смеялась милым своим пухлым лицом, сплошь напудренным в спешке, так что и ресницы побелели. Как здоровый человек, духовные муки которого в конце концов выражаются в диком голоде, Катя ела почти по-волчьи, почти жрала, бравируя неряшеством, мужицким манером, в то время как руки ее, белые до фантастичности, громко говорили о ее высоком происхождении... Теперь на нее нашла безудержная смешливость, она рассказывала анекдоты, пыталась рассказывать все с полным ртом, закрывая его руками, чтобы в спешке смеха не опростать на собеседника, наконец, до того пережралась, что уже не могла сказать ни единого слова и только неумело сдерживалась, чтобы не икать. Что-то скотское, милое, родное, животное, было в этом обжорстве для Олега, которого любовь по-прежнему лишала всякого голода и которому все было равно, кроме нее... Отдышавшись, они сели снова на кровати лицом к окну, рядом, и окружили себя табачными облаками... Катя, пересмеявшись, молчала, тяжелыми масляными глазами уставившись в тусклую, окруженную овальными мирами дыма электрическую горелку.

Медленно углы комнаты исчезали в темноте. Окно

было совсем голубое, и там, по ту сторону улицы, уже желтыми пятнами зажегся свет в соседнем доме. Там жили люди тяжелой, мерной, уверенной жизнью, враждебной обычно Олегу, но сейчас, казалось, он помирился с нею и с дождем. Подойдя к окну, он видел темные, низкие облака, блестящую улицу, зеленоватый свет фонаря на углу, но и это было теперь нужно и не щемило сердца. Часы шли. Они почти ни о чем не говорили, вдруг смирившись жить и быть счастливыми, с глубоким удивлением, благодарностью покоя, переговаривались в темноте. Теперь Катя лежала у него на коленях, сама устроившись, сама уткнувшись лицом в его темный черный светер собачьим русским родным жестом, который так любил Олег, и снова ему захотелось в Россию, все ледяное европейское барство скатилось с плеч, и он чувствовал себя русским всклокоченным студентом с противоречивыми убеждениями. И было что-то в их молчаливом сидении в чужом гостиничном номере чужой страны от синевы русского леса, от несказанной грусти позднего вечера в Сокольниках, где, часто слишком далеко зашедши со своими лыжами и отбившись от своих, они сжижались на белой смерзшейся снежной шапке на скамейке и всматривались в непередаваемую синеву снега, кончавшуюся чернотой деревьев. Медленно, высоко над вершинами сосен, летели вороны, и протяжный неспешный грай длительно сжимал сердце, и вдруг, издали кажущийся светящимся домиком, со звоном по снегу приближался трамвай, и два красных огня чем-то сказочным, пряничным, заброшенно-грустным светились над ним.

От курения пересыхало горло, Олег пил воду, зажигал спичку, снова усаживался, пристраиваясь поудобнее, и снова длилось счастливое время с баснословной щедростью, которую дают обеспеченность, молодость, отчаянность. Только иногда гарсон стучал в дверь или вспыхивал и гас свет. Катя спускалась к телефону, но скоро возвращалась, рассказывая, что переусловились, наврала, но осталась свободной.

Потом, идучи домой, Олег спрашивал себя, в чем же собственно дело и почему порвалась для него связь времен так сильно, что он вдруг совершенно потерял прошлое, почти не думал о Тане — кстати, где она, — и он радовался, что ему все равно.

Каждый из нас ходит по улице со своей одиночной камерой на плечах, и, как только остановится перекинуться словом с приятелем, пруты, как живые, врастают в землю перед ним. За одним столом, как в американской каторге, люди разговаривают из-за решеток, вежливо, по-волчьи сверкая белыми зубами. Но как наивен тот, кто примет эту обходительность за полноценную монету, как быстро ударится он мягкой мордой в невидимые прутья. Ибо у каждого человека есть такая предельная цена, за которую он тотчас же продаст любого товарища (разве какая-нибудь на свете дружба перешибет любовное свидание)... Для меня эта цена франков пять—десять, для другого немного поболее, смотря по образу жизни. В Фавьер Олег хорошо понял, что живет в каменном веке, что под легким слоем пудры ледниковая грубость жизни выпрастывается на каждом повороте, что можно рассчитывать только на себя или на временно замороженного любовью человека и ровно столько дней, сколько длится наваждение. От этого была его новая ставка на физическую силу, здоровье, образование, высокомерие, ибо наглая замкнутость казалась ему честнее, вежливее неосуществимой любезности и в ней ему чудилось больше первородного греха, больше откровенности в органической невозможности кого бы то ни было морально полюбить, к кому бы то ни было отнестись без скуки, внимательно... Поэтому Олег знал, например, что компанию могут водить только люди с одинаковым количеством свободных денег,

а у кого поменьше — проходи, братьей, сторонкой, ибо никогда все равно не сольешься с кругом, автоматически попадая на жалкое второстепенное место; когда, нарушая благообразие, придется вдруг, вспотев от унижения, попросить: «Володя, я тебе хочу сказать кое-что по секрету». Причем данный Володя уже читает на твоём лице, в чем дело, и, не желая бороться, уже согласен заплатить, но едва заметно переглянулся уже с остальными, мол, «опять начинается». Счастливый, не водись с невезучими, проходи стороной. Несчастный, не подходи к фартовику, каждое слово ваше горечь и упрек для другого, обида и подвох... Олег вдруг вырос, вдруг стал взрослым, едва у него раскрылись глаза на звериную жизнь, где каждый из-за малейшего развлечения, то ли бриджа, синема или просто обеда в меценатском доме, охотно бросит другого со всеми его трагедиями и где удивительная частота всеобщих встреч свидетельствует только о том, что очень часто ни у кого из ловчил ничего не получилось на этот вечер, кроме кафе. Олег вдруг возмужал, и, о чудо, отношения его с товарищами вдруг улучшились, ибо он сумел отказаться от давнего постоянного тайного упрека другим в бессердечности, поняв наконец почти до конца свое бессердечие собственное. Теперь он научился вдруг, деревенея и выкатывая грудь, быстро, без сентиментальности прощаться и уходить или не подходить вовсе к компании, если чувствовал носом, что они уходят кутить. Усвоил нравы каменного века и перестал ставить иных в неловкое положение ни проявлением, ни требованием жалости, ибо чувствовал наконец метафизическую невозможность другого неоскорбительно пожалеть, глубокое унижение, похожее лишь на злую обиду самому оказаться жалеему... Что-то сухое, веселое, крепкое появилось в его обращении вместе с безрукавками, моноклем и американской стрижкой наголо вокруг головы по краю куста-оазиса на верхушке.

Не жду пощады и стыжусь ее оказывать... Всегда на войне, всегда в лесу, всегда начеку и на изготовке, и вдруг в Катиной комнате глубокая безопасность, глубокое спокойствие наполняли его; вечный поединок между ними вдруг прекращался, и Олег нежданно молодец, опускал плечи и говорил совсем другим, безыскусственным, не слышащим себя голосом вместо вечно напряженного, деланно-веселого, чуть скрежещущего голоса мучительства жизни.

Комната медленно темнела, тонучи в синеве сумерек и папиросного дыма. На полу, на чемодане еще валялись остатки каннибальского пиршества: недоеденная капуста в потемневшей картонке, пивной полуштоф, окурки. Они сидели на кровати рядом, низко, близко друг около друга. У Кати прошел припадок беспричинной сытой веселости, и она молчала, неподвижно в профиль глядя поверх тусклой медной решетки кровати в окно, а там за окном шел тяжелый и бесконечный осенний дождь. День быстро убывал, уже протитуционное убожество отдельной комнаты было почти невидимо. Света не зажигали. Спокойно, отсутствующе, в оцепенении счастья Олег смотрел, но Катя не поворачивалась, хотя было заметно, что она чувствует этот взгляд. Лицо ее с правильным, почти греческим носом выражало какое-то счастливое мрачное смирение перед сумерками, дождем, бездельем и собственной порочностью. Над чуть припухшими веками начерченные ресницы, как черные лучи, прямо, не загибаясь, оттеняли большие, слегка коровьи глаза. Рот был широкий, с сильно выступающим подбородком, и с чисто греческим великолепием, от гладкого невысокого лба отступали темно-коричневой волной блестящие надутые волосы... Запах этих дорогих и грубых духов прилипал ко всему, и ночью, пришедши домой и снимая рубашку, Олег с изумлени-

ем находил его на плече и вороте, там, где прикасалась к нему тяжелая Катина голова. Голый и целомудренный в своем старом монашеском одиночестве, Олег с изумлением нюхал рубашку, как будто не верилось ему, что Катя действительно существовала.

Катя была не очень умна, во всяком случае не умна на разговор, но обо всем без сложных доводов судила удивительно верно и в немногих словах. Было в ее особом роде ума то драгоценное, редкое у русских качество, которое можно назвать чувством масштаба, и редкая нелюбовь преувеличивать. Рассуждала она вообще, как играла на гитаре: тихо, спокойно, мрачно, деловито, чуть слышно напевая без особого голоса, но с абсолютно точным слухом. Любила Толстого и Чехова, уставала от Достоевского, что всегда было для Олега доказательством хорошо поставленной головы. «Ты заметил ли, — как-то сказала она, — Достоевский никогда не описывает природы, не видел, вероятно, леса, всю жизнь проговорив, а если улицу, то обязательно ночь и грязно.» И Олег потом долго смеялся, пораженный спокойной верностью этого замечания. Ибо все-таки она была погибшая девушка. Как-то на другое утро Олег разбудил Катю около одиннадцати, вытащил ее, смеющуюся и порозовевшую от холодной воды. Это было одиннадцатого ноября в день перемирия. Условились они идти смотреть парад войск, но к одиннадцати часам он давно уже кончился, и только, проходя по бульвару Монпарнас, видели они, как усталый, но в тяжелом порядке, возвращался в казарму колониальный полк в защитных шинелях. Первые ряды шли молодцевато, но задние с французской безобидностью, добродушием, не оставляющим их даже в армии, перли не в ногу, почти вразброд за пулеметными повозками... Было решено во всяком случае пойти в Лувр или хотя бы в Люксембургский музей по соседству, но, проходя мимо, Катя вспомнила, что скоро надо будет обедать. [...] рование пустого днем кафе, целиком наполненного малиновыми отсветами бархатных диванов. После шоколада и жареного хлеба Катя вдруг заказала Манхаттан-коктейль, затем вермут «Касис» и «Куантро» и они попросту тяжело, жалко, счастливо напились среди бела дня, смеясь и ссорясь в пустом кафе на изумление гарсонов, в глазах которых Олегов кредит неожиданно возрос. Но платила за все Катя. Из кафе оставалось только идти домой. Олег, оставив Катю в ресторане напротив отеля, ибо она, пройдя железную школу пьянства в колледже, безупречно под хмелем владела собою, пошел нетвердо домой обедать исключительно из приличия и классовой борьбы. Когда же он вернулся, Катя спала на кровати в уже полутемной комнате, не сняв даже коричневой шубейки-дохи. Так и сейчас на лице Кати, еще освещенном последней голубизной дождя, явно можно было прочесть что-то опустившееся, неудачливое, рано растраченное, может быть даже непоправимо утерянное; но вместе с тем было на нем то особенное античное благообразие сознательной неподвижности, гордо-меланхолической обреченности самому себе и жизни, которая в глазах Олега только и придавала значительность движениям людей и без которой они казались ему какими-то прыгающими мышами просвещения.

Опять завертелось огненное колесо жизни... Между бритьем, походом и первыми счастливыми поцелуями под дождем... Была у Кати такая русская, неизвестно как передавшаяся монастырская повадка, когда Олег, низко склонясь, целовал ей руку, целовать его в голову по-архиерейски, почти по-нянькински, и на дожде крепкие ее духи казались каким-то ненормальным весенним чудом, как запах сада, вдруг, снежною ночью, распустившегося в декабре... Фонари горели ярко на

¹ Так в рукописи.

снегу... Снег летел крупными хлопьями, и на длинные бархатные перчатки с кожаной обратной, как лисья лапка, которые Катя по последней моде носила на номер больше своей руки, снежинки налетали и долго не таяли, красуясь на меховых эполетах ее простого английского пальто, которое напоследок сам для нее выбрал и купил ее отец, красивый седой господин с розовым лицом и золотыми зубами, весело-притворно на людях ухаживающий за своей дочерью — хват, жила и толстый корень, вокруг которого на семь верст траве не расти... Дни летели за днями в нежном, снежном очаровании почти целых суток вместе, когда, как будто потеряв счет времени, с откровенно цыганской отчаянной щедростью молодости и обеспеченности Катя тратилась на Олега почти без остатка, вдруг перескочив через жадную свою хватскую природу, так что оба не знали уже никогда, ни который час, ни вообще вечер ли или уже ночь на дворе и обедали ли они... Олег ничего не писал, даже к дневнику не прикасался или только, раскрыв его и бросив взгляд, сразу наткнувшись на бесчисленные «белый жаркий день, как лошадь в гору, в поту печали» и т. д., смеясь писал поперек страниц... «Живу, живу, живу... Наконец живу...»

И вот сегодня от непобедимого, кокетливо, вечно расшвыриваемого здоровья Олега не осталось ничего... Сегодня в белый ослепительный зимний день Олег вдруг проснулся на сто верст от поверхности жизни... Вчера он лег слишком поздно, говорил слишком много, как заведенный, и, когда собеседников не осталось, продолжал истерически галдеть у стойки «Кафе дю Дом», куда под утро сползаются всякие окончательно бывшие люди. Там он находил себе последних собеседников, каждый из которых уже по несколько раз подвергался хозяйскому запрещению «сервировать» — за неплатеж, хулиганство, попрошайничество; потом за давностью все это забывалось, и только жирный меланхолический гарсон с каким-то особым отсутствующим видом наливал им, они же заискивали, хорохорились и всячески унижались, хотя нравы были скорее короткие, там были беспаспортные шоферы, лишённые бумаг, сутуловатый бродячий хиромант, шестипалый купец с золотоподобной цепочкой, длинноволосый художник, слышащий голоса, а перед кафе на тротуаре топтались неудачники еще горшей категории, узкоплечие педерасты без признаков белья, арабы и заросшие бородой глубокомысленные пьяные старики, не решающиеся даже подойти к стойке... По негласному уговору с хозяином, из этого кафе, дабы оно по закону не утратило права на ночную торговлю, никого в участок не водили, волочили только немного по Де лямбру, грандиозно давали по шее, и неопишуемая личность, миглом протрезвев, скрывалась в сторону Эдгар Кинэ, чтобы, дав кругу, через полчаса снова появиться на бульваре. Олег прогалдел здесь с толсторожим, славянского вида небритым Гамлетом в разбитых очках, поминутно оглашая воздух молодцеватой матерщиной, без которой после известной степени усталости и печали не мог связать двух фраз (исконная национальная пунктуация, облегчение и жалоба, обвинение всего на свете), пролопотал до изнеможения и полного, неохотного зимнего рассвета и со слюной во рту, со звоном в ушах потащился к себе на Пляс Итали.

Дело в том, что они сильно поссорились с Катей утром из-за советской литературы, но в сущности, конечно, не из-за этого. Не встретились после обеда, а вечером назло ему она засела играть в бридж со всей бандой, которая злобно приветствовала это появление, как признак скорого заката Олеговой звезды, потому что так уж и повелось в этом мироздании кончаться романам, а именно насупленной актерской игрой в бридж одного из мелодекламаторов и унизи-

тельным злым дежурством другого за соседним столиком, усиленно и тем более неудачно старающегося держать себя как ни в чем не бывало... И только в час, когда Олег, перемучившись, переждав до черного отвращения, пересердившись, мрачно упорно курил обгорелыми губами, все-таки выдерживая фасон и не спускаясь вниз, где повадились картежники кретинизироваться, она, как мифологическое видение, высокогрудое, белорукое и щурящееся от смеха, появилась вдруг на ступеньках лестницы и, слегка раскачиваясь и нарочито и очаровательно двигая бедрами, прошла между столиками, а за ней, как тритоны и прочая тяжелая мокрая морская ерунда, полезли ненавистные Олегу литературные личности конкурирующей эстэтнославянофильской банды... Смотря на них, Олег злобно подумал о том, как багровеет и уродуется человек от долгого смеха, как платье его сдвигается со своих осей, губы распухают, руки наливаются кровью... Красиво, легко, гнусно двигая боками, Катя приближалась к его столу... Тритоны, моржи, тюлени окружали ее, рыча, дуя, плюясь, куря, фальшивя, поправляя отсиженные штаны... На минуту сердце Олегово остановилось, все превратившись в отчаянную мольбу, молитву, чтобы она заметила его, остановилась, присела подле, но когда он уже все считал потерянным, она вдруг, сделав скромное лицо, сиданула на самый краешек стула, в то время как ее мифологическая свита неохотно, принужденно начала с ним здороваться, вдруг забурлив, отступив, опешив, не сумев-таки удержать волшебницу от ненавистного похитителя... Но едва Катя исполнила немую Олегову просьбу, тотчас же вспомнил он железный закон недобрых их отношений, закон Линча всякой русской любви, тотчас же окаменел, оледенел, отвернулся в сторону, где стояли гарсоны, несомый неестественной храбростью ожесточения, подозвал одного из них, заплатил, нарочно передав чаевых, и, не прощаясь, как часто делал, отчалил на металлических ногах-пружинах, плохо соображая направление... Перешел на другую сторону бульвара Распай и там около аляповатого ресторана забился в тревоге отчаяния, сомнения, нерешительности, заковывал по кварталу, не зная уже, не вернуться ли, во всяком случае, совершенно потеряв возможность идти домой...

Проснувшись, Олег долго не мог встать... Вчерашнее словесное исступление сменилось совершенным упадком сил и какой-то давно не испытанной хрупкостью, стеклянностью во всем теле... Трудно было поднять руки, хотя отлежанные на жестком ложе, они болели и чесались... Но кроме того, Олег не совсем соображал, где он и почему нет Безобразова в комнате, настолько все теперешнее, грубое, яркое, постыдно тяжелое, отошло от него за тридевять земель, и этой давно позабытой им стеклянной хрупкой физиологии невольно в его больном мозгу соответствовали совсем другие годы, другие лица... Новая его жизнь, постыдно напряженная, отражение его нового полнокровия, здоровья, исчезла куда-то, унесенная, смытая переутомлением, и, как во время раскопок под современным городом жестянок обнаруживается другой город, средневековый, а под ним третий, античный, четвертый, эгейский, пятый, неолитический, и как, должно быть, реставратор смывает яркую лубочную икону и под ней открывает другую, зеленофиолетовую, Рублевскую — Богородицу, как наводнение, смывая песок, обнажает циклопические стены, так и сейчас чувствовал он снова в себе некую снежную душу, еле живую, сумеречно цепенеющую в венке из воска при приближении первого горестного столкновения с жизнью души, которой вовсе уже не уместиться, не отразиться в новой его тяжелой, пьяной от скопленной крови физиологии... Но сколько их было, этих душ, и Олег, куря папиросу в кровати, вспоминает...

Вот она стоит неподвижно на углу, без друзей, без единого знакомого, без приличного платья, узкоплечая, невыразимо покорно смотрящая на четырехчасовое зимнее небо, уже готовое распасться снегом, разлететься, осыпаться снежинками. В венке из воска и мокрыми ногами только что обошедшая всех своих приятелей-презрителей, поднявшаяся на четыре лестницы и никого не заставшая дома. Душа, которой некуда, совершенно некуда деться... А возвращаться домой в отель «Боссежур», в желтый, пыльный свет под потолком... Лучше головой о мостовую, лучше ходить весь вечер. Сумрачно по-зимнему синели подворотни домов, люди спешили, охраняя свои свертки. Но Олег уже объелся шоколаду до тошноты, истратив на него все деньги, от тоски то и дело заходя в булочную и покупая конфеты по сорок сантимов... Холодно, неподвижно придерживая тающий венок из воска, цепенела пьяная от одиночества душа, смотря на медленно и неуклюже, как брови, опускающийся вечер, повернувшись спиной к своему отелю. Ярко, празднично-печально сквозь редкий снег звенели трамваи теперь уже уничтоженного восьмидесяти второго номера... Улица пустела, и вдруг среди тьмы отчаянья яркая мысль: «Но ведь сейчас уже больше семи часов, пока дойду до Глясьер, до русской столовой, будет восемь... Поем каши и пойду в кинематограф...»

Вторая душа, которую вспомнил Олег, любила рано, часто до рассвета, подняться с кровати... Эта душа еще ничего не знала о спорте, об усилении, сутулая и узкоплечая и большеглазая, она любила в чистом и пустом рассветном городе слушать соловьев, которые не спеша привольно тренькали, скулили, ворковали за высокой стеной католического монастыря, маленькие и высокомерные птицы, верные своим тысячелетним ритмам... Туманно синела лоснящаяся мостовая, а вдали корпуса строящихся домов казались античными крепостями из розового мрамора, над которыми маленькой перламутровой раковиной луна тонула в рассветной голубизне неба; что-то таинственное, омытое свежестью лесов, источников, пещер было в этом неторопливом ворковании...

...А вот еще одна душа совсем в другом роде... С моноклем, с бахромою на штанах, с пороком сердца и с порочным сердцем (4), идет, лукаво радуясь, луна оставлена Лафоргом ей в наследство... Душа 1925 года.

Розовый жар неподвижного городского заката, скука, испарина, боль в сердце, а на углу, с ночным горшком на голове, пляшет неизвестный человек, а вокруг, как бабочки грехов, реют в воздухе листки его стихов...

Слабость, слабость с утра, грязные, натруженные ноги, галстук с горошиной, позднее вставание, насмешка над парком, над солнечным днем... Ночью в кафе, среди табачной гари, сквозь ледяное окно монокля блестящее, зловещее ошаление остроумия, выдумки, баснословные рассказы... Ниспровержение всего, утверждение чего попало, великолепное презрение к последовательности и стихии из всех карманов... В сортире в «Ротонде» сочинительство карандашом на двери, пальцем на зеркале, на почте на телеграфном бланке и с невозмутимым видом на улице на корешке газеты и вечное злое остервенение, полет, парение зловещего юмора, усталость с утра, нечистоплотная еда, стоя или на ходу, прямо руками...

А завтра снова выйдя к вечеру на улицу, огромная тяжелая летняя луна, низко плывущая над крышами, тяжелая музыкальная истома нескончаемого дня, еще разлитая во всем, раскрытые ворота, натруженные за день промежуток в брюках без калсон, воскресным вечером хриплое пение пьяных солдат, и в каждом

огне за каждым фонарем улыбающийся дух преисподней, мертвец, скелет, полуженщина-полуполицейский, огромный клоп, играющий на рояли... Из черной воды белые ноги, красные головы утопленников, дребезжание автоматического рояля, запах мочи и первое шуршание рано сгоревших листьев под стоптанным башмаком... Тупая, мучительно приятная боль в сердце, волны испарины... Вкус пива, запах ладана, сена, церкви, спермы, кухмистерской и над всем этим еще раз огромная ошалелая луна — богиня воды и сумасшествия, ослепительная, физически ощутимая в воде, в теле, на земле, на руках, во всем. Невнятный голос с бульвара.

Ослепительный луч в комнате, я уже не сплю, но зачем вставать, мне двадцать пять лет... Как это было давно, давно, как это все было, было, было...

Ночь, улицы опустели, свинцовая тяжесть во всем теле... Икаю... Качаюсь. Ах, все равно, имели, имели они меня, кто, все, весь мир, и вдруг разом мордой о скамейку... Пускай могила меня накажет...

Из-за чего собственно они поссорились? Конечно, не из-за советской литературы, а из-за Слоноходова... Слоноходов, широкоплечий, тяжелодумный красавец, расслабленный богатырь, евразиец, закрывая широкой ладонью свой идеально греческий подбородок, рассказал ему, что Катя, долго похаживая вокруг да около, не так давно прямо предложила... и что он, было, принялся за дело, но на середине сочинения ее желтые неровные зубы и общая нервная атмосфера произвели на него тягостное впечатление, и он, не довершив дела, бросил ее на произвол судьбы, но не это в точности, а фраза Кати, брошенная как бы мимоходом: «Вы знаете, Олег в меня сильно влюблен, что мне с ним делать?».

Исконно дьявол ходил за пустынножителями, девять за послушником, девяносто за настоящим чернецом... Но точно так же святые преследуют грешников, как большая совесть человечество... так Аполлону Безобразову навязчиво снились душераздирающие небесные сны. Бог меня преследует, скажет он однажды Олегу, с видом потерянного человека...

Олег теперь опять встречался с Безобразовым... Любил оный назначать свидания всегда в различных новых кафе с неожиданными нравами. Воскресным весенним вечером они встретились на Бульвар Себастьянополъ в желтой, ярко выкрашенной пивной, где оглушительно шумел самодельный оркестр. Прямо смотря перед собою в зеркало, упершись в свое отражение и наслаждаясь его неказистостью, вечным инкогнито своим, Аполлон слушал невероятно, необычайно фантастически врущую гармонику. Остальные музыканты играли средне, но она, вводя в «Хоту» самостоятельную вставную музыкальную фразу против такта, поднималась до такого свинячего, чертячего, адского визга, что казалось, она это делала нарочно... С остановившимся багровым лицом, окаменев от напряжения, гармонист колдовал над своей раздвинутой колдобиною, тренькал, бубнил, гугнявил, верещал и, казалось, был совершенно глух...

Гармоника выла... О чем выла гармонь та... Улица слабо шумела... О чем шуршала улица... Неслышно шевеля губами, говорили люди... О чем они спорили... Аполлон Безобразов молча, упорно смотрел на свое визави, отражение в зеркале. О чем он думал... Отражение высокомерно угрюмо смотрело на него, но что оно видело стеклянными глазами, различало не видючи... Олег, как глухонемой демон, за шумом музыки, за резким блеском дешевых ламп судорожно жестикулировал стаканом, спичками, бровями, напрягал мускулы, сопел, раздувал ноздри, Аполлон рядом с ним казался человеком другой расы и даже удивительно было, о чем они могли говорить...

Олег рассказывал Безобразову о Татьяне, Кате,

совокуплении полов, классовой борьбе, законе Линча. Но о чем думало зеркало его, отраженное в зеркале зеркала. Зеркало, болтая, повторяло лицо, но лицо теряло в зеркале смысл, ища его в нем... Зеркало повторяло бессмыслицу лица, ищущего в зеркале смысла, стола, лампы, но не повторяло музыки, и поэтому неповторенная музыка становилась неповторимой. Аполлон в зеркале и Аполлон на берегу зеркала казались тождественными, но Олег, Олег зеркальный отличался от Олега, говорящего в зале, потому что зеркало не повторяло звука, и снова они оказывались тождественными, потому еще, что звука этого за музыкой не было вовсе слышно. Олег до боли кричал в сплошном визге гармоник, но даже сам не всегда слышал себя, и поэтому Олег говорящий был равен Олегу не говорящему, и оба они подобны были Олегу зеркальному, не могущему говорить. Но о чем думал Безобразов... Ровно о том же, о чем верещала музыка, ни о чем и обо всем вместе, в точности о чем попало, с той разницей, что музыка отчаянно выла мимо цели, а он сознательно отрицал ее... И так целый вечер Олег жестикулирует, музыка орет... Олег молчит говоря... Музыка звуча не относится к делу, а Аполлон неподвижно смотрит на свое отражение...

...Ты зеркало мирового тепла, ставшего вещами, и ровно спокойно, безо всякой мути расстилается оно перед тобою, как перед голубым лицом мира. Добродетель же зеркала есть и твоя добродетель: все отражать, всюду присутствовать, терять себя, теряться в зеркале зрения, непоколебимо не дрогнув, встречать ослепительные человеческие глаза. Так встретился ты и, почти не дрогнув, отразил тяжелые Татьянины глаза, и только на мгновение зарыбила поверхность, разошлась чуть видными кругами, полосами, лучами и снова расправилась. Нет, Аполлон, ты не найдешь Бога в человеке, пока не полюбишь в человеке Бога. Все личное кажется тебе неприлично-назойливо привязанным к самому себе, больше всего обреченным самому себе, обязанным благородством игры защищать свою неповторимость, и поэтому неприлично бояться смерти. Зрение же одного полдневного зрителя есть продолжение зрения другого, если это хорошее зрение и он умеет забыть себя, забыться в зримом, самодовлеющем совершенстве зримого. Но ты устал, Безобразов. Ты незаметно для себя смертельно устал торжествовать, устал видеть, устал быть виденным. Так самый яркий час недалек от первого вечернего сумрака, а ночью исчезает и зритель и зримое, и только звезды и горячие живые сердца неподвижно кипят в своей ненасытной жажде счастья. Потеряв жажду, ты ее потерял, эту вездесущую ночную жизнь, Аполлон, ты теперь самый поверхностный человек в мироздании, потому что жажда и боль — его глубина, а тебе не больно.

В конце концов получается следующий результат уравнивания: Олег измучен, но доволен (Аполлон-де во всем с ним согласился), Аполлон доволен (Олег просто не смог разрушить этого довольства, принесенного им с улицы), музыкант доволен (его выслушали), публика довольна (он кончил)... Олег говорил о себе, Аполлон говорил «да» и «конечно»... В общем наговорился, переговорили и договорились.

Как ныне собирается вещий Олег... зловещий... Осоловевший... Олег идет по бульвару... Переговорили и договорились. Впрочем, говорил больше я... Опять он у меня выскользнул из рук... Величественен, но однообразен, утомительно совершенен... Погоди, найдет и на него баба лягавая: *Monsieur Personne cherche Madam Personne*¹. Хотел бы я видеть... Ах, душа, когда же ты наконец посмеешь быть как он, огром-

ной, высокомерной, зловещей, вещей, увидишь наконец бесчеловечное величие вещей... Их необычайную законченность, их святую обреченность своей единственной форме, их святую глупость и бесполезность вне ее. Их абсолютную обреченность своему назначению.

Аполлон не отвечал, и все-таки для Олега разговор был. Он почти не слушал, и все-таки Олегу было больно, потому что слова, падая в омут безобразности, слабея, теряя вес, замолкали с особым жалобным звуком... Они обезвечивались, теряли убедительность и вес... Нет, они даже не глохли, ибо Аполлон Безобразов не был вовсе средой без отзвука, наподобие юмористов, растрченных, дезэлектризованных поллюдей; нет, звук иногда даже усиливался, но как-то искривлялся, попадая в его атмосферу, вытягивался, раздувался, как человек, на лету, во сне меняющий форму, теряющий голову. Слова на лету меняли значение, безопасные, смешные становились страшными, угрожающими (слова о поле), счастливые — печальными (слова о небе, о силе, о разуме), новые — древними (все слова вообще)... Аполлон не отвечал, но на носу его был написан ответ... И Олег вдруг глох, смущался, падал куда-то, стыдился неприличной неважности, суетливой трагичности своих слов. Особое мучение неподвижности, как магнитная аномалия, окружало его, все теряло силу и цвет, так что Олегу казалось, что даже вещи, на которых случайно останавливались Безобразовы глаза, сначала чувствовали смутную тяжесть, неловкость, наконец начинали явно шевелиться, корчиться под его взглядом. Например, круасан¹ в своей корзинке: только что Олегу показалось, что он начал дрожать, едва Аполлон в него уперся взглядом, и вдруг судорожно зашевелился, как будто он взглядом этим выжимал из хлеба живую душу... Ты в живых людях видишь насквозь, то есть одни скелеты... Что же делать, скелет всегда интепесен. *L'homme est bavard, toute squelette toujours elegante*².

О одиночество, ты всегда со мною, как болезнь сердца, которой не помнишь, которую не чувствуешь, и вдруг останавливается дыхание, как одиночная камера, что всюду ношу с собою... Глухонемота... Беспамятство... Неграмотность. Один на бульваре, не помнящий родства, останавливаюсь, ослепленный своим богатством... Свободен, совершенно свободен пойти направо или налево, остаться на месте, закурить, вернуться домой и лечь спать, посреди дня или среди дня пойти в кинематограф, мигом из дня в ночь, в подземное царство звуковых теней. Ах, наказание, каторга, рай, наслаждение, награда, и снова Олег смеялся над своим народом, не додумавшимся до одиночества, иначе как подпольного, страдающего и вынужденного, не дошедшим до индивидуализации. Один, Один, Один. Свободен, как лев в пустыне, лев-вегетарианец, но кто он... Студент... Нет, Олег провалился на первом же экзамене, о позор, на сочинении о Гоголе... Писатель... Да, в отхожем месте, пальцем на стене, в мечтах, в дневниках, в отрывках без головы и хвоста... Монах с грязными ногами и наодеколоненной головой. Пролетарий, нет, безработный буржуй, нет, нищий идеолог буржуазии... Бездельник... Нет, Олег целый день занят чем-то... Философ... Но ведь он ни единой книги не дочитал до конца... Дурак... Нет, потому что ему всегда казалось, что это он сам мог написать... Никто... Никого. Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедования... И вместе с тем какая

¹ Булочка.

² Человек болтлив, скелет всегда элегантен.

¹ Месье Некто ищет Мадам Некто.

неповторимая русская морда, с бесформенным носом, одутловатыми щеками, толстыми губами... Но вдруг нос становится тоньше, губы уже, и саркастический, спокойный презрительный аполлон-безобразовский свет падает на лицо. Что-то дьявольское, дальнее, монастырское, небожительское просвечивает сквозь него... С холодным удивлением, вдруг, будто проснувшись, всматривается он в окружающее, но сейчас ему уже далеко до дивной аскетической неподвижности этого метафизического бандита, да, кстати, где он, этот герой без единого приключения... Совершенно неизвестно, и уж если Безобразов исчезнет, то хоть живи в соседнем доме целая армия товарищей, его не разыщут. Потом Безобразов это все и никто, и, может быть, он уже переменял свою фамилию и искренне считает себя французом.

Олег идет по авеню де л'Обсерватуар к Итали и с удивлением понимает, что Катя всего этого не знает... Ничего неземного, неподкупного, ледяного в ней нет; как красивое белое животное, грустное и спокойное, Катя всегда и за всем видит землю... Она удивляется, почему Безобразов не работает, почему у всех нет денег, почему Олег не сдает экзаменов на шофера такси.

Вот у тебя какая линия жизни, ты до девяноста лет проживешь и успеешь написать девяносто книг... У нее есть деньги, но работа для нее благодать, победа над сном, над пьянством и мертвой печалью... Она теперь мечтает открыть модную мастерскую.

Будем работать, Олег... Будем жить, жить, жить... А потом бросим их всех, уедем в Россию, куда-нибудь на Урал, на завод, за которым сразу лесная пустыня, магнитные скалы... Будем ходить рваные... Хорошо... Среди рваных... Научимся говорить на блатном кучерявом зощенковском жаргоне... Ах Россия, Россия... Домой с небес... Домой из книг, из слов, из кабацкого испитого высокомерия. И Олег говорил: да, Катя... И глаза его зажигались, как зажигались они от всего, от музыки, от вина или же от уличной драки. Но дальний спокойный иронический голос Аполлона Безобразова говорил в нем.

Быстро овеяв горячее лицо весенним холодом ночи, посвистывая, неслась американская машина мимо огней, огней, огней. На перекрестках кафе казались игрушечными и люди в них несложными автоматами, обреченными на нищенскую судьбу, и все они с невольным завистливым уважением встречали злые, спокойные, внезапно обнаглевшие до ангельского спокойствия глаза Олега.

Проехав дворец Инвалидов, мост, реку, Елисейские поля, со стоном тормозов обогнув Триумфальную арку, машина на авеню Фош еще прибавила ходу; ночь была поздняя и полиция исчезла из глаз. На Порт-Дофин стальной конь чуть с разгону не наехал на дерево; фонари на минуту отчетливо ярко осветили скамейку и клумбу, и снова равномерно быстро начали исчезать за спиной голые деревья Булонского леса, ряд за рядом, фантастически возникая из темноты, несясь навстречу белому свету, пропадая. Деля Гейс, чтобы разминуться со встречной машиной, тушила свет, и тогда, освещенные снопом встречных лучей, они проносились зажмурившись, и снова дорога вспыхивала далеко впереди. А наверху были звезды, огромные весенние звезды...

Потом машина остановилась, и, пока пьяницы совещались, таинственно, сумрачно близко запел соловей; проскулил, пророкотал, прощелкал свою арию и снова замолчал. Но автомобиль прыгнул с места, и снова деревья понеслись мимо.

Наконец, все слезли у моста Сюрен, пешком по мокрой траве спустились под откос, переключаясь

в темноте, по мосткам над черной водой поднялись на неосвещенную баржу, бывший ресторан-поплавок, где, казалось, не было никакой жизни, но едва спустились по трапу, тренькающий шум граммофона встретил их.

Широкий салон с плюшевыми диванами вдоль стен был желто освещен свечами; кто-то танцевал, а в глубине помещения, за грубо сколоченной стойкой какие-то плоские монгольские физиономии наливали красное вино.

Олег минуточку потолкался со своей хорошо одетой компанией, потом бросил ее, и у стойки началось пьянство.

Темно; огней не зажигали, а над туманной водой цыганский голос пел: «Едва ли мы снова встретимся с тобой. Как быстро тяжестью счастливой, вино по жилам разлилось, глухим цыганским переливом мгновенье счастья пронеслось. В скольжении танца, в ритме спешном, печаль забывши до утра, кто ты, случайный друг и нежный, как холодны твои уста. Еще не смея, не решаясь, над неподвижной рекой, лицо склоняется, касаясь виска горячею щекой. И снова, вместе жизни холод вином тяжелым победив, плывет душа в волнах тяжелых вина, печали и любви».

Нет, с кем ты целуешься, Олег, разве ты не целовался только что со скукой до грубости настойчиво, но почему опять и музыка, и темнота, и запах волос, и тусклый блеск свечей слились для тебя в одно глухое тяжелое счастливое море, куда без страха, вдруг отвергнувшись страх, лихо, отчаянно ты плывешь в неизвестном направлении, и кто это у тебя в объятиях, кого обнимаешь ты тяжелою рукой, легко и крепко прижимая ее к себе? Да ведь это Катя... Опомнись, Олег, да ведь это Катя в серебряной кофте низко склоняется своею блестящею надушенной головою к твоему плечу. Катя, откуда ты? Разве жива еще? Разве ты еще дышишь, запеваешь, танцуешь... Не умирает ли разве все, что мы перестаем любить, не исчезает ли с лица земли, как дневные сны? Катя, Катя, откуда?... Из Копенгагена. Куда, Катя?... Дальше, Олег, дальше, где жизнь, другая жизнь, новая, начинается... Забудь прошедшие дни... Олег забыл прошедшие дни, и тем слаще по-новому, по-незнакомому тело ее, мягкое и горячее, прикипало, прижималось к нему, во власти неведомого сожаления, очарования непоправимого. Олег и Катя плыли, в одно мгновение отчалив от берега жизни в темное море цыганской музыки.

Мчались печальные дни, как несчетные снежные тени, снова встретились в бездне они, в бездне холода сна и забот. В шуме, музыка, мчись и звени, воздух полнится сумрачным пением, ненадолго случайно счастливое время придет. Ах, Катя, Катя, пропало наше счастье... Почему, Олег, не пропало еще вовсе... Ты попробуй как надо, как люди, серьезно за мной походить... Смотри, выйдет и больше того, чем ты сам ожидаешь...

Олег смеется... Выйдет... Они все хотят, чтобы что-нибудь обязательно вышло из отношений, тогда как он хочет вообще выйти из отношений вон... Боже, кто-то еще верит в такое счастье так поздно, так поздно, поздно осенью солнечной наважденья... Разве все это не сгнуло куда-то, как дощатые балаганы, вдруг, в одну ночь, снявшиеся с мест бродячей ярмарки... Какое еще там счастье, когда за жизнью, за морским пейзажем, полным стрекодух сосен, раскрылся, развернулся вдруг железный скалистый хаос знакомого апокалипсического пустыножительства. Его, Олега, невольного заветного гусарского монастыря... Пьяный, ошалевший от музыки, Олег ни на минуту не забывал раскаленного снежного ветра одиночества, пустыни, греха. Да, говорило ему что-то, покрутись здесь, поплачь, поцелуйся, подерись; ведь

все равно теперь большая дорога, без конца, без начала, от звезд к звездам. Шути, пой и целуй кого попало, не придавая никому значения, не привязываясь, не уважая никого... Не придавая никому значения, не ценя, не уважая никого, все более пьянел, неприлично прижимая Катю к себе, грубо толкался, расширяя плечи... Он наглел, становился заметен, галдел, обращаясь ко всем на «ты». Катя не сопротивлялась, но по окончании танца исчезла куда-то, и Олег долго не мог ее найти. Потом она вынырнула из толпы, танцуя с небольшого роста смуглым человеком с энергичным испанским лицом. Но, едва они закончили танцевать, Олег опять было подался к ней, и, заметив это, она испуганно закружилась в коричневых руках инородца, дикого неграмотного певца-самородка и компанейского душки. Глухая злоба начала просыпаться в сердце Олега; глухая злоба и недоброе намерение, особенно соблазнительное, потому что цыган был низкорослый и, должно быть, измученный бессонными ночами... Врешь, братишка, кишка тонка; на этакую белую русскую кобылу зариться, зло повторял Олег, кусая толстые губы, на которых оставался вкус дешевого красного вина... Опять, потеряв их из виду, протиснулся к стойке, и здесь на целые полчаса погрузился в тяжелое жалкое спортивное бахвальство, ибо речные жители, официанты и сторожа этого темного плавучего заведения, были крепколицые поджарые меланхолики и ветераны русского спорта времен Санитаса и Геркулес-клуба...

Кое-что Олег действительно знал, а о прочем отвечал наугад... «Да как же, да, конечно, знаю... Вместе тренировались в Расинге...» — постепенно он превращался в чемпиона русского клуба, затем в рекордсмена эмиграции на четыреста метров, наконец в спортивного журналиста. Он врал, но не очень завирался, смешивая ложь с правдой, и толстые его руки делали остальное...

Потом вдруг вспомнил и, теперь уже совершенно пьяный, снова кинулся, толкаясь, искать Катю; скоро наткнулся на нее, и она тотчас же, мельком посмотрев на него, заявила, что вообще больше не танцует... Олег, сбитый с толку, отступил к граммофону, и вдруг мимо него, громко смеясь, спиной к нему, его не замечая, пролетела Катя, веселая, пьяная, раскрасневшаяся, грубо похорошевшая в жестких объятиях цыгана. Глаза Олега встретились с острыми угольными зрачками конокрада, и тот в остервенении успеха, сознательно хамя и перехамливая, торжествуя над этой мускулистой душой, как трезвый Давид над пьяным Голиафом, бросил на лету:

— Слушай, заведи еще раз эту, смотри, как мы хорошо пританцевались.

Вся пьяная кровь бросилась в голову... Как, и здесь его «имеют»!

«Нет, погоди, фараоново племя, я тебе покажу, как я ценю твое счастливое, элегантное общество, как я нуждаюсь в приятелях с автомобилем, литературных покровителях Монпарнаса. Вы думаете, вы меня «имели»...» Вдруг, от абсолютной апатии перелетев в грубое, злое абсолютное действие, Олег сделал шаг, схватил валаха-коновала сзади за воротник, легко оторвал его от Кати и, с размаху повалив, бросил об землю. Цыган обрушился с высоты своего карликового роста, повалив и разбив что-то, и сразу смятение и вопль, знакомая, счастливая атмосфера скандала свели Олега с ума. Как он любил эти секунды, когда скандал идет, назревает, становится неизбежным, страх и наслаждение решимости разорвать цепи доброты, приличия, благоразумия, сорваться, прорваться в древнее, дикое, жестокое, ужасное... Олег еще дрожал, чувствуя во всей руке разлитое наслаждение, еще живое ощущение того, что чужое тело, как вещь, как мешок, как гиря, поддается, валится, уступает, и как

часто после драк он с любовью поглаживал разбитую свою кисть...

Цыган, перетрусив и обалдев, но храня достоинство, по-детски, по-дикарски кидался теперь на Олега, сдерживаемый народом, театрально хватался за пустой револьверный карман, а Олег грубо, тяжело, беспощадно ругал его, ругался последними словами, находя последнее наслаждение в нарушении приличия жизни, благообразия, дико, по-звериному освобождаясь от всего и от всех.

Бравируя, хамя, задаваясь, разыгрывая великодушие, Олег надевает пиджачок, в то время как на него сыплются упреки, уговоры... Свежий воздух палубы освежает ему лицо... Едва Олег поднялся на нее, еще даже не сойдя с корабля привидений, шум потревоженного праздника разом исчезает, и на его место воцаряется ничем не тревожимый покой заброшенных мест, пустырей, речных заводей. День вставал. Река, неподвижная под движущимся небом, лоснилась серой туманной голубизной. Медленно сквозь пыль дождя обозначились дальние мосты и противоположный берег, шлюзы, трубы, низкие корпуса фабрик. День вставал с широкой, спокойной, печально неуклонной щедростью нелицеприятных, спокойно сокровенных, спокойно враждебных природных сил. И уже до вспышки злого сумасшествия (конечно, против Тани, потому что это ее он бил, бросал на землю, публично срамил, сам того не зная), еще внизу, сквозь пьяную тяжелую рассеянность заметил Олег, что низкие четырехугольные окна баржи, никого не спрашивая, ни о ком не беспокоясь, посинели, и огни дальнего берега, теперь уже вовсе погасшие, светились желтоватобледными полосами, смешиваясь с отраженными отблесками рассвета.

Вдруг ослабев, после последней, безумной вспышки нервного мужества, вдруг осунувшись и опустив плечи, он нетвердо шел по мосту... Какая-то подвыпившая компания мастеровых, голося свои негритянские песни, прижала его к парапету, и один из них в неправдоподобно сдвинутой кепке, так что его как бы почти не было видно за копной волос, весело, добродушно-зло обругал его: «Alors, tu n'y vois pas clair, citoyen endouillard»¹. Олег даже ничего не ответил, не пришло ему даже в голову отвечать, ему было даже приятно.

Холод теперь успокоил душу, прогнал хмель и остудил тело, и он, подняв воротник, ежился под дождем... Трамвай в будке пришлось долго ожидать. Яркий белый день резал глаза. Красные люди, входя, весело обменивались условными, но всегда уместными фразами. Трамвай запаздывал. Олег, отчаявшись согреться, стоял у косяка, все глубже уходя куда-то, погружаясь, отплывая. Все, что было за эту долгую весну, казалось мертвым, поразительно успокоенным, дальним, безопасным. Наконец, как теплая колымага, дребезжа, подкатил трамвай, и Олег, забившись в угол, потащился в обратный путь.

Рвите, орлиные ночи, сияния падших огней. Лед просонок, просонье догадок про сон. Учитесь не жить, оживать, отжимать нежить от жизни, отнимать у немотства лучи трубочек. Бывают же такие дни, слишком большие, слишком необъятные для воспоминания, и оно в них теряется, как в лесу... Слишком много случилось за день, слишком много было волнения, счастья, ссор, слез, унижений, удач. Со стеклом в носу, со звоном в ушах, душа доплыла наконец до берега ночи и легла на песок, закрывшись одеялом, как крышкой гроба, закрывши глаза. Голову голубизны тяжело положила заря на весеннее небо. Олег возвращался домой, а день вставал. Каждый из них

¹ Ты что, плохо видишь, дурачина.

занимался своим нерадостным делом. День неохотно голубел, а Олег чесал натруженные промежности и сквозь туман пытался заснуть. Но все же против воли с высоты стола, устало, сыто, голодно, бесстрастно смотрел на мир. День разгорался все ярче, а Олег прятался от него за тяжелые ветви, но день настигал его там и резал глаза. Первый трамвай прокатил, расцвеченный огнями добродетели, сумрака, спокойной совестью рабочих, свежeweмытых водою и сном. Олег, как пьяный, безумно, горько-унизительно жалел растраченные деньги... Лучше бы проел на яйца, апельсины, мороженое, шоколад. Как все-таки он нежно любил самого себя, гладил, укрывал в религиозные лучи. «И все-таки у тебя там где-то.....среди райских цветов», — как-то сказал ему Безобразов. День победил, а Олег сдался, закрылся от него, как большой рак, заполз в кошмарные сны.

Снова Олег проснулся от целого года новых жарких мук, вдруг очнувшись к лучезарному холоду (и пробуждение вплотную срослось с засыпанием), охотно, легкомысленно выпустив сон из рук и почти из памяти. Теперь казалось ему, что он никогда и не собирался обзаводиться семьей, квартирой, детьми.

«Je ne travaillerai jamais»¹, — повторял он, как выстрел в упор, поразившую его фразу Рембо.

Олег чувствовал, что Бог боится его, ужасается его храбрости, любит его таким, как сейчас, совсем другою, страстною и страшною любовью, чем той покровительственной и мирной, которой он любил Олега женатого, бородатого, примиренного с жизнью, добродушно молчаливого, безопасного. Нет, Бог снова любил в нем храбреца, девственника, аскета, пророка, Люцифера, как любит владыка красивейших, гордейших девушек племени, предначертав их для своего гарема, долго, упорно борясь с их метафизической строптивостью. Он чувствовал грозное, напряженное, как сталь, облако божественной ревности над собою, преследующее его, как Израиль в пустыне. Как лебедь преследовал Леду, как бык ластился к Европе, как золотая туча спускалась к Данае. Снова отказавшись от широкой дороги, он вступал на скалистую тропинку отшельничества, избранничества, одиночества, и шаг его был легок по уже горячей мостовой, и, еще одну минуту, он закричал бы, побежал навстречу Богу, как еще так недавно еле сдерживался, чтобы не пробежать всю дорогу до Кати.

Ты думал, Олег, наконец, обойтись без Бога, отдохнуть от его ненасытной требовательности, и вот Он обошелся без тебя... Смотри, природа готовится вступить в свое печальное короткое, летнее торжество, а ты спал и тяжелой головою, полною горячей водою сна, спал и видел сны о земной, кровной, бородатой жизни. Олег, ты опять нахамил Богу, и без него попытался жить, и тяжело, тупо, клоунски ударился лицом об землю. Проснулся, наконец, от боли, оглянулся, а деревья вокруг уже расцвели и развесили яркие, обильные, новые листья... Лето в городе, и вот ты опять нехотя лицом к лицу с Богом, вроде как ребенок, восхотевший спрятаться от Эйфелевой башни за цветущий куст в саду Трокадеро, и, обойдя его, снова мгновенно настигнутый занимающим все небо железным танцором-чудовищем. Ты стараешься не замечать, но на белое небо больно смотреть, и тяжелая потная духота давит сердце. Опять ты в открытом море, в открытой пустыне, под открытым небом, закрытым белыми облаками, в нестерпимой, непрестанной очевидности Бога и греха. И нет сил не верить, сомневаться, счастливо отчаиваться, табаком дымя, успокоиться в дневном «синема». Весь горизонт ослепительно занят Богом, и в каждой мелочи, в каждой потной твари он снова тут как тут. Глаза смерка-

ются, и нет никакой тени нигде, ибо нет дома моего, а есть история, вечность, апокалипсис, нет души, нет личности, нет «я», нет моего, а только от неба до земли огненный водопад мирового бывания, становления, исчезновения, гдс и Катя, и Таня, и я, и Аполлон, только тени, лица и загадочные фигуры.

Почему же все-таки ты проснулся от Кати и Тани и от этих сказочных эпопей, не сумел жить, не выдержал жизни, или это от слабости? Нет, ты втайне остался ко всему безучастен, как рука, которую нельзя раздавить, потому что она уступает и складывается под чужим пожатием, чтобы снова, едва оно ослабеет, сама собою принять исходную форму. Потому что жить нужно религиозно, не осуждать себя за жизнь, не убегая от Бога в действительность, а внося его в нее, орудую и скрепляя все Им. Ты же, едва завидишь, заслышишь, почувствуешь сочувствие, тотчас же бросаешь свою трудную службу и принимаешься смеяться над Богом.

...Он умел любить только в отпадении от Бога, так сказать, инкогнито, и любовь проходила, как пьяная ночь, едва холодное похмелье обид остужало рассветное небо...

Не умел любить религиозно, строго скромно и медленно делаясь своим Богом с любимым человеком. Нет, он скорее сбегал от Бога в любовь и, возвращаясь, ненавидел свое бегство, как постыдную слабость и нечто совсем обидное, с оскорбительным привкусом подострастного небрежения, скрытности, угодливой, как скрытность старших с избалованными детьми, и много путанности, растерянности, фальши оставалось в сердцах, в которых его лохматый облик жил некоторое время... «Польская натура, мягкая и скрытная», — скажет о нем Таня впоследствии и тяжело замолчит, печально всматриваясь в прошлое.

Олег спал два дня, на утро третьего, переспав до безобразия, до боли в голове и сердце и до слабости во всем теле, он очнулся задолго до солнца и, лежа на своем диване, голый, с необычайным удивлением — недоумением, вслушивался в громкое пение и писк петухов и птиц... «Откуда их все-таки такая пропасть в городе?» — думал он, потирая отдавленные плечи. За окном весело стучали шаги.

Воскресное утро начиналось рано для велосипедистов, экскурсантов и других художников ног, успевших уже побриться и сходить в муниципальный душ с расческой и обмылком в заднем кармане; поздно для тех, кто решил выспаться степенно в праведности отработанной недели, спуститься на рынок, чтобы возвратиться с целым цветущим садом в новом клеенчатом мешке. Ему тоже для самого себя, для Бога, захотелось вымыться, одеться, аккуратно, медленно причесать свежую, мокрую голову. «Я не умею, как ты осмысливать одиночество и поэтому тупо, глупо живу в вечном ожидании встреч, в вечном презрении к себе за это», — написала как-то Таня Олегу. «А ты думаешь — это легко?» — самодовольно печально улыбнулся он, читая это признание. И вот опять Олег один, один лицом к лицу с раскаленным белым небом одиночества. И снова с утра принимается он сопротивляться тоске.

Крепче, суровее, будь холоднее, говорил он себе. Sois dur, dur, dur¹, шепчет со скрежетом зубов, выжимая чугунную гирю, отжимая из души, как из свежестиранной рубашки, грязную воду печали. Будь нечувствителен, будь суров, будь камнем, одетым в пиджачную пару, посмей наконец принять каменную законченность, безвозвратную оформленность вещей.

На улице, куда легкой походкой, напрягши муску-

¹ Я никогда не буду работать.

¹ Будь тверже, тверже, тверже.

лы, на когтях вышел Олег, все уже по-летнему, по-воскресному, ярко тихо и однообразно, и Олег вспоминал стихи своего бога:

A quatre heures du matin l'été
Le sommeil d'amour dure encore
Sous les bosquets l'aube évapore
L'odeur du soir fêté¹.

Все почти еще спит, счастливо спит, отработав и снесши деньги в сберегательную кассу или в кабац, спит с закрытыми ставнями, за закрытыми веками, в глубине ярких и бессмысленных, солнечно-эротических снов. Смятые простыни сбились к ногам, ноги раскинуты...

Все в жизни Олега расценивалось по отношению к тому, что он называл нищетою и роскошью, все, кроме денежной нищеты и роскоши, думал он, но против воли нищета казалась ему позором, роскошь же — благородной, естественной, божественной. Нищета есть бессилие, скованные руки, голос уже неслышимый, гложущий на расстоянии аршина. Логос, которому больше не послушен мир. Нищета есть грех, расплата и бессилие. Роскошь есть подобие жизни царства, где все отражает, подхватывает, воплощает малейшее движение ресниц Божьих. Однако жизнь свою Олег стоически, героически осуществил, выпростал, вопреки нищете, скованности и глухоте своей подпольной судьбы. Не получив никакого образования, он вырвал его, отсидев зад на неудобных скамейках, из замусоленных, унижительно плохо освещенных библиотечных книг. Будучи худ и малокровен, воздержанием, каторжной ежедневной борьбой с чугуном вырвал у жизни куполообразные плечевые мускулы, железный зажим кисти. Будучи некрасив, неуверен в себе, осатанением одиночества, всезнайства, доблестью аскетизма овладел тем свирепым механизмом очей, склонявшим, подчинявшим, часто к его удивлению, сияющие молодостью женские головы. Ибо Олег, как и все аскеты, необычайно нравился, и уродство, грубость, самоуверенность только углубляли его шарм. Жизнь отказала ему во всем, но он создал себе все, царя и наслаждаясь теперь среди невидимых трудов своего 15-ти летнего труда; так в разговоре он спокойно-лукаво сиял универсальностью своего знания, так же ошеломлявшего собеседника, как та легкость, с которой он, сидя на диване, поднимал и играл 30-ти киловой гирей или стулом, который он кистью руки за спинку легко удерживал в горизонтальном положении, смеясь над невеселым, неживым, неаскетическим, сентиментальным, неверующим христианством парижских эмигрантских поэтов. «Смерть есть одно из совершенств Божьих» — «un des luxes de Dieu» — может быть, наиболее ослепительное, потому что этот художник не терпит в своей руке ни одной истощенной, изломанной, рано растраченной вещи. Бог есть роскошь, счастье святых, но и неповторимая гениальность адских мук грешников. Он есть и яркость пламени, ярость гибели всего, предавшего жизнь, и Он же священная, рассветная тишина успокоившейся за ночь души, согласившейся наконец, что любовь есть совершенная радость. И только одна нищета казалась ему нерелигиозной, небожественной, постыдной. Нищета здоровья и темперамента — немощность сексуальной растраченности. Нищета ленивого ума. Нищета холодной недоброй крови. «У тех, у кого ничего нет, отнимается и то, что есть», — любил он цитировать Павла... Если бы

революция не случилась, ты был бы сейчас в тридцать один год старый, растраченный, излюбившийся, испившийся человек и ничего не было бы в тебе напряженного, аскетического, электрического, угодного Богу. Дух, как электрическая туча, вечно не реял бы над твоею пустыней, над твоей берлогой в пустыне, где кости отделились от тела. Ободришь, лохматый матерый лев... Они расплатятся, твои враги, вся эта сухая немочь декадентская, за свое презрение к ослепительно-тревожной буре духа, которая так быстро пронеслась мимо них, как близко к бесплодному пустырю пронесли другие бури, — Леон Блуа, Эрнест Хелло, Шарль Пеги. Так, так надо, и ты из их числа, из числа заживо замурованных. С разных сторон неба две звезды горят над твоей одиночной камерой: звезда самоубийства и звезда подвижничества, и эта твоя дорога, дорога сильнейших, храбрейших мужей, Эпиктета, Рамона Люля, Мартинец де Паскали, всех этих ослепительных неподкупных девственников... Постепенно Олег, переволновавшись, начал уставать, мысли его начали путаться, приобретая все более мифологические облачные очертания; тяжело подперши подбородок сильной рукой, он все смотрел на проносящиеся автомобили, мало что различая перед собою, и вдруг знакомый, почти ненавистный, но такой прекрасно-спокойный голос Безобразова спросил его:

— Ну, как удалось путешествие домой с небес?

— Нет, не удалось, Аполлон... Земля не приняла меня.

— Ну, так, значит, обратно на небо.

— Нет, Аполлон, ни неба, ни земли, а есть великая нищета, полная тишина абсолютной ночи... Помнишь St. Jean de la Croix: «Темною ночью, о счастье, о радость, никем не замеченная душа вышла из дому, о счастье, о радость, навстречу своему жениху, когда дом мой был погружен в сон».

— Ну, ладно, ладно... но значит опять друзья...

— Да, Аполлон, снова в раю друзей...

Примечания

¹ «Последние новости» — русская ежедневная газета, издававшаяся в Париже с 1920 г. Первым редактором был М. Голдштейн, а с 1 марта 1921 г. газета выходила под редакцией П. Милюкова. Последний номер вышел 12 июня 1940 г.

² Роман «Домой с небес», по утверждению многих современников Б. Поплавского, был в большой степени автобиографическим. К примеру, инцидент с неким цыганом был описан в очерке Ю. Терапиано (см. «Литературная жизнь русского Парижа за полвека». Изд. «Альбатрос» — «Третья волна», Париж — Нью-Йорк, 1986, стр. 137).

³ «Ротонда» — кафе в Париже на бульваре Монпарнас, где собирались литераторы.

⁴ ...с пороком сердца и порочным сердцем... — см. стихотворение в сборнике «Дирижабль неизвестного направления», Париж, 1965. Книга издана Н. Татищевым к 30-летию со дня смерти Поплавского.

Публикация и примечания
В. КРЕЙДА и И. САВЕЛЬЕВА

ПОПРАВКА

В № 8 нашего журнала, на странице 6, допущена непростительная ошибка. Годы жизни Георгия Петровича Федотова — 1886—1951. Звонки и письма читателей, поправивших нас, видимо, означают, что уже не нужно представлять подобные имена — даже так кратко, как это сделали мы.

¹ В четыре часа летним утром
Любовный сон еще длится,
Заря в рощах доносит
Запах отпразднованного вечера.

Юрий БЕЛИКОВ НЕ ПОДНИМАЙ ГОЛОВУ, КОГДА СВИСТЯТ ПТИЦЫ



Объявивший себя в этих заметках армянским боевиком, наш автор, по собственному признанию, мог бы стать и азербайджанским партизаном, когда в дни путча муталибовский ОМОН начал избивать и арестовывать лидеров Народного Фронта Азербайджана. Дело не в национальной принадлежности, а в степени отзывчивости на боль униженных и оскорбленных. Публикуемый материал был написан за месяц до путча и сейчас, в кривом зеркале происшедшего, прочитывается с полным осознанием того, что происходит с людьми, если в политические игры ввергнута армия. Не случайно на вопрос: «Чей приказ вы выполняете?» солдат, бесчинствующий в приграничной армянской деревне, назовет и имя одного из будущих глашатаев «ГКЧП».

Фото представлено агентством «Арменпресс»

...И ступил я в рембрандтовский сумрак. Золотисто-коричневый, напряженно-спокойный, весь прошитый трещинками неуловимого свечения: это, наверное, от единственного на всю деревню прощально-желтого квадрата окна, освещающего, как фонарь, настороженно-замедленные фигуры мужчин, обреченно выходящих на звук и на ходу врастающих в сумрак. Или оттого, что здесь расшифровывается формула инобытия — в любую минуту может всосать воронка разорвавшегося снаряда. Я вижу себя как бы со стороны, в тусклой раме еще не погасшего горизонта, как видят себя отстраненно во сне. По темным улочкам этого сбывшегося сновидения я бреду с Рубеном Ресбеляном, хранителем собственного дома-музея; стреляли из БТРа, пуля вырвала щепу над посапывающим ребенком, взвизгнула над спящей женщиной и, сбив позвонок в металлической спинке кровати, чиркнула в пол. Ошарашенная ладонь Рубена сдавливает слиток: «С такой пулей и на кабана не пойдешь».

Каждый уезжающий отсюда иноземец увозит музейный экспонат: осколки от снарядов, пущенных из-за азербайджанского бугра по охолостевшей и полуобесточенной армянской деревне Нижний Хндзореск. Я опаздывающий русский, и потому не мне достается подорожавших осколков, даже тех «патефонных» иголочек, которыми скребут пространство градобойные снаряды, смиренно предназначенные облакам.

Я ищу армянских боевиков. Я их должен найти во что бы то ни стало, потому что резанул: «Уезжаю к армянским боевикам». «Глупости», — ответила она. Она права: армянские боевики — это глупости. Но сейчас я твержу забытого Луконина: «Когда на войну уходят безнадежно влюбленные, назад приходят любимыми».

Ереванский поэт Овик Овсепян, отыскавшийся по телефону, сразу разочаровывает: «Да нет их, армянских боевиков!» «Как нет?! — волнуясь я. — В прессе-то пишут». «А мы ее давно не читаем».

Встревоженные друзья начинают отговаривать. «Папа! Купи мне два мешка пуль!» — кричит четырехлетний сын моего московского кореша. «Ты что, армянский боевик?» — «Да». — «Может, Юре никуда не ездить, а взять у тебя интервью?» Тут же рассказывается история про нашего журналиста, щелкавшего «Кодаком» для парижской прессы и схваченного азербайджанским ОМОНОм. Этого совместного русского, не знающего себе истинную цену, более всего поразил не факт своего пленения, а 40 тысяч рублей — назначенный ему выкуп. «Чего?» — изумился кавказский пленник и дал деру, получив в задницу россыпь дробы в одном из азербайджанских сел.

Но я уже заворачиваю в тряпицу кусок уральской земли. «Совсем как Байрон — осталось только ножку перебить», — ставит на мне крест университетский приятель, намекая на мое чайльд-гарольдовское обличье и на то, что сей английский лорд закончил жизнь в Греции.

«Не поднимай голову, когда свистят птицы», — последнее, что я слышу перед тем, как ступить в рембрандтовский сумрак.

...Фары погашены, крадущийся быстрой ощупью «уазик» неукротимо сдавливает приграничную сутемь, нарезанная размытыми делениями фонарных столбов с выколотыми очами. Стоит включить свет, и нашу машину может постичь участь вчерашней: вывернувший из сумерек БТР захлестнул тросом совхозную «тачку» и нагло потянул в поля через заброшенные виноградники за азербайджанский склон. Мужчины Нижнего Хндзореска дали залп из охотничьих ружей. Отпустил, уполз в темноту. Означает ли это, что я видел настоящих фидаинов? При чем видел, быть может, одним из последних: через сутки в Ереван придет информация, что в деревню вошел азербайджанский ОМОН. Истово, как полоумный ученик Рембрандта, разглядывал я в их чертах те резкие штрихи, из которых строится привнесенное в мой мозг представление об армянских боевиках. Бородатые? Да, кое-кто зарос щетиной. Но до бритья ли, когда жены и дети — в соседнем селе, а в мужчине-армянине как бы отражается древнее женское уязвление: не можете защитить — вот и оставайтесь здесь? Увешаны свеженьким импортным оружием? Я гляжу в мутный бинокль давно не чищенной двухстволки. Агрессивные? О, эту славную агрессию я ощутил на себе, когда произнес два уже навязших на зубах слова. «Армянские боевики?» — переспросил в Хндзореске подлежавший ко мне Самвел. Что тут началось! Такая жестикуляция, как если бы передо мною тасовал колоду карт вконец обобранный игрок, бросивший на кон последнюю рубашку.

Самвел, чуть не двинув мне в морду, подскочил закрученным футбольным мячом, спружинил оземь и покатился по улице, увлекая за собой десятки ног и рук. Моему провожатому, поэту Армену Асрияну, потребовалось надсадных полчаса, чтобы перевести на раскаленный армянский, что означает «армянские боевики» в соседстве с другими произнесенными мною словами. Оказывается, не оружие, а именно два этих слова имели для Самвела, да и не только для него, тот самый импортный и контрабандный смысл, благодаря которому армянская граница вот уже несколько месяцев неверяще извивалась, будто пробитый железной пикою уж, принятый за гадюку.

Из дневника Вардгеса Одабашяна, подозреваемого в том, что он боевик

В этом году я должен был учиться в университете. Но существует закон: если студент соглашается работать в деревне, он имеет право не делать диплом, а сдавать только госэкзамен. Я выбрал деревню. Когда приехал в Хндзореск, обстановка была — ничего особенного. Азербайджанцы приходили, постреливали и уходили. Но уже к зиме случилось одно происшествие. Убили четырех пастухов. На их теле — следы пыток. Сам видел. Отрезали все, что можно отрезать у мужчины. После этого случая сюда прибыли части союзного МВД. С ними мы ладили прекрасно. Сельсовет организовал патрулирование. Стояли на постах с охотничьими ружьями. Дежурство — через каждые десять дней.

13 января уже подтаял снег. По этому подтаявшему снегу с азербайджанской стороны показались БТРы. Первый раз — за день до того — БТР пересек границу и приблизился к будке сторожа. Пострелял, сломал два осветительных столба и уехал. Теперь приехали сразу три. У одного слетела цепь. Примерно метрах в двухстах от Нижнего Хндзореска. Целую ночь там шла перестрелка. Мы дали залп из охотничьих ружей. БТРы, принадлежащие внутренним войскам и защищавшие нашу территорию, тоже стреляли. К утру выяснилось, что те, пришлые, — самые настоящие русские военные. Сказали, что ищут как раз тот БТР, который день назад приехал пострелять.

Где-то с середины апреля вэвэшники покинули нашу деревню. И пошло-поехало. 24-го числа, в день траура армянского народа, военные напали на Нижний Хндзореск. Завязался большой бой между нашими милиционерами и ими. А 2 мая — облавы и аресты в других деревнях. В нашу приехали только однажды: оцепили, проверяли проезжающие машины. Отобрали одно охотничье ружье. Избили хозяина. В деревне Шурнух испортили телевышку. До сих пор мы не можем поймать передачи из Москвы и Еревана. Ловим только Бакинское телевидение. Оно вещает, что армянские боевики нападают, убивают азербайджанцев. Вчера показали целый склад оружия, который будто бы найден в Карабахе. Если бы у нас было столько оружия, омовцы вообще бы сюда не сунулись. Они не рискуют встречаться в открытом бою, даже если вооружены автоматами, а мы — охотничьими ружьями. Чаще всего прячутся за спины русских солдат или приходят ночью, чтобы убить простых людей и увести скот. Их главная цель — скот.

В нашу деревню приехали беженцы из Карабаха. К ним подошел азербайджанский омовец, сказал: «Передайте Самвелу (он родственник убитых пастухов и руководит отрядом милиции), где бы он ни был, найдем и прирежем его и всю его семью». Им даже известно, где живет Самвел. Откуда? У меня такое предположение — а здесь стояли внутренние войска и солдаты знали нас по именам, — что эти сведения перекочевали к азербайджанскому ОМОНу.

Было ли мне страшно? Да. Особенно позавчера, когда пули свистели над головой. Мы находились в двухэтажном здании — итальянские тележурналисты поставили там видеокамеру. К их везению, в ночь с 5 на 6 июня приехали два «ГАЗ-66», полные солдат. Солдаты открыли стрельбу. На дороге стояла деревенская машина. В ней — ящик пива. Они распивали наше пиво прямо у нас на глазах. Потом зацепили тросом автомобиль и пытались утащить. К тому времени из Гориса прибыл отряд милиции. Увидели, что солдаты занимаются разбоем — увозят совхозную технику. Милиция открыла стрельбу. Солдаты быстро оставили машину и умчались в Азербайджан. Итальянцы сказали, что пережили худшую ночь в своей жизни, зато все засняли на видеопленку.

Прогноз только один: если Армения подпишет Союзный договор, прекратится разбой солдат, но, по всей видимости, будут продолжаться нападения азербайджанских омовцев.

Если не подпишет — все будет длиться в таком же духе вплоть до полной независимости Армении. Не знаю, рискнут ли советские войска ступить на территорию независимой страны?

Пассионарное горло

Песчинкой в горлышке песочных часов скользнула наша легковушка в проем обрывающейся в пропасть скалы, сквозь которую пролегла дорога. Армения — не что иное, как то самое горлышко песочных часов, стремительно ссыпавшее этносы. Эту библейскую гортань царапали ассирийцы и римляне, персы и византийцы, арабы и турки, монголо-татары и крестоносцы. Не единожды гортань забивало, и поперхнувшийся песок истории как бы замирал во времени. И тогда Плутарх затевал летопись про Тиграна Второго, потому что «четыре царя исполняли должность его телохранителей, и, когда армянский Сезострис садился на лошадь, они шли около него; когда он восседал на троне или собирался дать какой-нибудь приказ, они стояли перед ним, скрестив руки». Но скопившийся песок тяжелеет и шелестел хохочущим шелком то в Европу, то в Азию, унося в инородной массе с армянских нагорий золотые частички, чтобы они в полете обросли невероятным жемчугом, как это случилось, скажем, с юным карабахцем Иоахимом Мюратом — первым маршалом Наполеона.

Исторический диагноз армянской государственности — это фолликулярная ангина, с болью проглатываемая независимость, хронически пылающее горло. Странно, в голове моей вспыхивает фонетическое замыкание, сделанное Кимом Цыйраняном, карабахским беженцем. Говоря об азербайджанских омовцах, обирающе сгонявших его односельчан из Гадрута, Ким назвал их оманцами. Сработал компьютер генетической памяти: потеряв при начислении столетий выпучую «с», он соединил омовцев и османцев!

«Почему, — вопрошает Армен Асриян, — мне всегда было легко общаться с грузинами, греками, болгарам, израильскими евреями, сербами и финикийцами? Потому что у нас у всех в мозгу — одна и та же картина: пограничная крепость, брошенная на произвол судьбы».

Однако этнос не может оставаться длительное время сиротской крепостью. В нем что-то начинает перекраиваться и замещаться, просачивается старение, и вынужденная многовековая воинственность, растворенная в мускулах народа, сменяется размягченным, всепрощающим уходом в сферу духовно-тонкой материи. Вспомним гумилевскую теорию этногенеза. Армянский этнос пассионарен певчим горлом. Саддам Хусейн пассионарен другим. Месячная сводка МВД СССР — приложение к теории Гумилева. «Убито: армян — 5, азербайджанцев — 1. Ранено: армян — 6, азербайджанцев — 0. Угнано крупного рогатого скота: у армян — 825, у азербайджанцев — 0. Обстрел населенных пунктов: армянских — 6, азербайджанских — 1».

После 17-го года горлышко в песочных часах стало щербато сужаться: уже отсекло долину Аракса с ветхозаветным Араратом в обмен на неслучившуюся стамбульскую революцию, Нахичевань и Карабах отнесло к Азербайджану, турки выторговали у Ирана небольшой аппендикс, соединяющий их с Нахичеванской областью. Но что, если песок вновь поперхнется и замрет в часах, как при Тигране Втором? И тогда Плутарх наших дней напишет: «В то время армянский парламент объявил борьбу в Нагорном Карабахе национально-освободительной. И те, кто не был боевиком, но носил это прозвище насильно, те стали ими. И те, кого омовцы заставляли ругать крест, надели этот крест на шею».

Беглый взгляд на карту армянского парламентария Сурена Золяна

То, что происходит сейчас на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, вполне предсказуемо. После депортации людей из Геташена и Мартунашена на очереди были Шаумяновский и Гадрутский районы — самые доступные для агрессии и запугивания населения как в Карабахе, так и в самой Армении. Посмотрите, куда направлены удары! По территориальным выступам. И далее — по Зангезурскому клину, который отделяет Нахичевань от Азербайджана и соответственно перерезает связь между Арменией и этими выступами. Беглый взгляд на карту показывает, что эта операция, четко спланированная военными, достигает нескольких целей: во-первых, еще больше отдалить Карабах от Армении, во-вторых, возникает требование, что Зангезур —

азербайджанская территория, которую почему-то Сталин и Нариманов отняли у Азербайджана.

Теперь обратимся к карте самого Карабаха. Каковы последствия депортации? От Карабаха остается вот такой малюсенький кусочек. Три анклава, перерезанные автодорогами и не представляющие какого-то географического и демографического единства. Анклавы, которые могут существовать непродолжительное время, поскольку у них нет ни перспективы, ни возможностей для жизнеобеспечения. Население их оказывается в роли заложников. И — послушная республика Армения, потому что на каждый ее шаг возможно уничтожение одного из анклавов.

Голубые очи на зеленом

...Я пью водку с армянскими милиционерами. Пишу об этом не без вызова — хочу, чтобы уличили в том, что в Армении меня пойли. Да еще менты. Это в России — менты. Помню, как в Москве на аэровокзале они шерстили багаж чеканно-черных, разгоряченных человечков: на Ереван — не более 35 килограммов; как подчеркнуто-развязно отвечали на вопрос о времени вылета: «Аллах его знает!»; как с оскорбленным притворством упреждали нас с Мишей Сарычем, моим напарником из «Вестей христианской демократии», берущим часть чужого багажа на себя: «Когда вас будут в Армении резать, милицию на помощь не зовите».

Нет, я пью не оттого, что меня поят. Пью потому, что мне надо. Нужно проглотить ком, перегородивший горло. Мужик не должен плакать. Но я вижу, как смахивает вскипевшие слезы старший лейтенант милиции Самвел Арстамян: «Мы же нарочно не взяли оружия, чтобы не стрелять в русских!» Неужоженной виноградной лозой вьется песня, которую затевает жена Самвела. Ко мне прикасается плечом Игнат Бегларян: «Я думал, уже никогда не смогу с русскими выпить». Три дня назад они вернулись из азербайджанской тюрьмы, взятые заложниками в армянской деревне Шурнух. Я только что вернулся из Шурнуха.

...Сейчас на взорванном всмятку «Запорожце» приграничный ветер играет, как на гармошке. А тогда, 7 мая, ранним утром в деревню ворвались солдаты. Лица были измазаны зеленой и сажей. Бледные. Выделялись угарные голубые очи. Солдаты как заведенные водили направо — налево маятниками автоматов. Жена Славика Аратюняна подумала: «Или фильм снимают, или больные». Заложили мину в бесколесный «Запорожец», стоящий во дворе.

Но когда изрешетили на горе школу, взорвали дом, начали бить стекла, выламывать двери, переворачивать матрасы, стрелять в холодильники, сгонять прикладами на улицу мужчин, она подумала: «Не фильм». Закричала: «Что вы творите?! Я, между прочим, русская».

«Русские живут в России!» — прохрипел бритоголовый.

«Какая разница, где жить?! Чей приказ вы выполняете?»

«Президента СССР и министра обороны Язова».

Заместитель начальника Гориского отдела милиции Игнат Бегларян выехал на место происшествия. Сообщили, что по дороге в Шурнух солдаты обстреляли автомашину. Подчиненным Игнат приказал: никаких табельных пистолетов. Предчувствовал. Увидел девушку в крови, бредущую по дороге. Услышал разрывы: вокруг шурнухской телевышки взвилось пламя. В деревне профессиональная память запечатлела единственное: 7207 и 7211. Номера машин, в которых прибыли военные. «Урал» и «ГАЗ-66». Дальше — долгая шахта провала. Очнулся в кузове. Лицо — в липкой жиже. Понял, что лежит в третьем — верхнем — слое заложников, придавленный ликующей солдатской задницей.

9 мая возле взорванного деревенского дома опустился вертолет. Военные разложат оружие всяческих образцов и марок. Майор язовской армии расскажет корреспонденту кравченковского телевидения о том, что эти стволы изъяты у армянских боевиков. 14 мая отснятый сюжет прокрутят на всю страну.

...Сегодня праздник — матах. Режут овцу. Благодарят Господа за дарованную свободу. «Передай Горбачеву, что я Камо», — шепчет мне на ухо один из гостей Игната. Я ничего не отвечаю.

Молча пью водку.

Исповедь шурнухского заложника Славика Аратюняна

Поднялся я чуть свет — корова у меня. Вдруг солдаты бегут. Поставили нас к стенке. В одно мгновение — взрыв! Прямо под ногами. И что-то мне в глаз ударило.

Погрузили в машину «Урал» — лицом вниз, а там — тросы, проволока разная. Солдаты по нам ходят. Чуть шевельнешься — бьют прикладом: «Вот твоя независимость. На, возьми». Ребро мне сломали. Срослось неправильно. До ущелья какого-то довели, высадили: Солдат одному парню в рот гранату сует: «Сейчас чеку сниму!» Объявили: «Каждого пятого будем расстреливать!». Поставили куклу позади и стали избивать. Но люди-то не знают, что это кукла. Слышат истошный крик. Офицер говорит: «Снимите два оставшихся ногтя». Так бакинского беженца заставляли подписать документ, что его, мол, здесь, в Шурнухе, притесняют. Не подписал.

Снова — в машину. Привезли в Шушинскую тюрьму. В Шуше я пробыл 29 суток. Вызывают на допрос: «Кто там верховодил вами? Кто оружие дает?» Отвечаю, что никогда не водился с оружием. Избивают. «Скажи правду. Где скрываются остальные боевики? Ты их провожал, показывал наши села». Откуда я знаю, где их села находятся?!

Говорят, что они стрельбой не занимаются. Это делает армянская сторона. Однако почему мой дом был обстрелян, моя жена была обстреляна, когда белье вешала? «Не твое собачье дело. Мы вопросы задаем, а не ты».

В камерах было набито народу так, что на одной ноге стояли. Душно. Дали охраннику четвертной — за бутылку воды. Он деньги взял, а бутылку сует горлышком сквозь решетку: по два глотка. Охранник — сму, может, восемнадцать всего — оскорбляет на чем свет стоит. Я говорю: «Сынок, ты помоложе моего сына, что ты меня так оскорбляешь?» — «Заткнись, армянская тварь!»

У нас старик был — шестьдесят четыре года. Жена умерла, дал слово не бриться. Так его за бороду таскали пацанята эти. Старика — за бороду! Другому старику, из Бертадзора, плоскогубцами бороду вырывали. Поиздевались над нами — наверное, фашисты над нашими отцами так не издевались. У меня отец — инвалид войны. То, что он рассказывал, и то, что я могу рассказать, — небо и земля.

Допросы вели азербайджанцы. Были они в гражданском. Я спросил одного: «Как ваша фамилия?» Назвать фамилию он отказался. Я, допустим, ничего против азербайджанцев не имею. Но как это — одну сторону отдать на растерзание другой? Кто имеет право поймать азербайджанца и привести его ко мне: вот тебе, Славик, азербайджанец. Что хочешь с ним, то и делай. Это абсурд. Я был готов к смерти, но не к такому унижению. Они пинали меня — один к другому, как футбольный мяч.

Когда освобождали из тюрьмы, приказали: «Напиши, что ты никакой жалобы не имеешь». Я могу сказать единственное: родиться армянином — это несчастье.

Почему янтарный цвет у чая?

...А птицы свистели! И было их видимо-невидимо. Видимо потому, что слышен кружевной звук. Невидимо потому, что птицы как бы подразумевались, а их самих растворил воздух. И был этот воздух другим, чем, скажем, за десять верст. Весенним. А там, за гранью армянской Сибири — свистящего Сисиана, — его обрамляли пропыленные стекла летнего воздуха. Колесо нашей машины проколола весна. Я сел на сглаженный ледником валун. Его окаймляли новобранские стебли травы, подрагивающей от напористо-мятного ветра. Почему мне нужно всего этого сторониться? Травы, воздуха, птичьего безумства? Кто приучает не замечать того, что человеку замечать свойственно? Отчего, услышав посвист птиц, я должен втянуть голову в плечи и не расслабляться? А если свистят пули — можно ходить с поднятой головой?

Я гляжу, как водитель по-конски косится в сторону и нажимает на газ, когда дорога юркой петлею захлестывает азербайджанскую землю. Поймал себя на мысли, что в чай, который подносит нам хозяйка дома, можно сыпануть все что угодно. И само гостеприимство незнакомого человека начинает казаться странным. Смещаются общечеловеческие оси. Да и как им не смещаться, если то, что я узнал за время пребывания на армяно-азербайджанской границе, что записал на диктофонную кассету, я не в силах теперь прокрутить вновь? Услышать — значит, подхлестнуть открывшуюся болезнь смещения.

Как мне не втягивать осторожными ноздрями запах темно-янтарного чая, если слышал, что в Шушинской тюрьме заложникам вводили под кожу керосин, заставляли есть сигареты и лизать надзирателям ботинки? А в Гадруте азербайджанские омовцы подбрасывали патроны в карманы армянских мужчин и уличали их в том, что они боевики. Изнасиловали столетнюю старуху и пятнадцатилетнюю де-

вочку. Я могу рассказать, как один из наших генералов (при необходимости назову фамилию) спускался на вертолете со своей командой в армянское село, хватал мужчин и сдавал их за деньги азербайджанским покупателям. Униженные мужчины мочились под себя. А в Геташене девяностолетнего старика зарубили в постели топором, снимали скальпы, убитых давили танками, не разрешали хоронить на кладбище, и родственники рыли им могилы во дворах.

Хватит?

«По-разному можно убивать, но так, как это делалось в Карабахе и на границе... Не только люди такими не бывают, предки у людей не бывают такими. Это намного поколений вперед».

Произнес Армен Асриян. Пожалуй, он — единственный, с кем приходилось мне встречаться в Армении, сказавший без обиняков, что русофильство армян всегда было неумеренным, и пока они не начнут стрелять в лоб выполняющих приказ «несчастных» русских парней, до той поры матери будут провожать детей в армию, не ведая, каких головорезов могут вылепить из них.

Да, так мог сказать армянский боевик. Однако и эта мысль не лишена пусть жестокого, но здравого смысла.

Признание Юрия Беликова, армянского боевика

Объявляю себя армянским боевиком. Понимаю, как погайдаровски звучит эта фраза, и тем не менее я, искавший армянских боевиков, начиная с московского аэровокзала, продолжая ереванским Звартноцем и заканчивая селами приграничья, нахожу их в самом себе. Я не стал любимым, согласно лукоинской формуле, потому что не проник в стан кровожадных фидайнов. Не гоюсь я в ученики Рембрандта, поскольку не написал задуманную картину, хотя ступил в ее светящийся сумрак. Однако сумрак этот оказался такого свойства, что ступивший в него сам становится сумраком. Я знаю, что меня будут упрекать в проармянстве, в глухоте на одно ухо, ибо выслушал я только одну сторону. Я выслушал бы и противоположную, когда бы не знал: «Дневник армянского боевика» не может быть написан потому, что ежели бы он был написан, то оказался бы слишком выдуманным, равно как и «Дневник азербайджанского омовца», не состоявшийся по той причине, что ежели бы он состоялся, то был бы слишком невыдуманным.

Прощаясь с Игнатом Бегларяном и с Самвелом Арстамяном, я сказал: «Если вам, не дай Боже, придется туго, помните — я с вами». И это не было бредом выпившего человека. Существует логика империи, и когда внутри нее возникает конфликт двух покоренных народов, сколь умен или глуп ни был бы правитель, он сразу и безоговорочно становится на сторону униженного. Надежнее. Но параллельно логике империи движется логика отдельной личности, которая, как отдельная личность, не может не испытывать унижений и обид и потому — тоже безоговорочно — становится на сторону униженного.

Скажите, если бы карабахские беженки, облаченные в единственную их одежду — больничные халаты, выданные по случаю, просили вас в один голос с еле сдерживаемыми рыданиями сделать все возможное, чтобы узнать о судьбе их взятых в заложники сыновей, а вы бы лишь сочувственно кивали головою, понимая всю степень собственного бессилия, — вы что, объявили бы себя азербайджанским омовцем?

Поэтому я объявляю себя армянским боевиком.

Нет, не картина увиденного стоит у меня перед глазами, а я стою в этой, не отпускающей мой дух картине. Я как бы из нее не выходил, хотя физически перенесся в пространстве. Но такова сила удаленной от меня картины, что не она живет во мне, а я живу в ней. Я не могу уже ступить из нее ни шагу, картина увеличивается на глазах, и я с ужасом думаю: если ее не обречь, она разрастется до невероятных размеров, застилая собою Божий свет.

Армяно-азербайджанская граница.
Лето 1991 года.

Летопись смутного времени

КРИЗИС ВЛАСТИ



С доктором философских наук Анатолием АНТОНОВЫМ, руководителем независимого Центра социально-стратегических исследований, мы беседовали в середине лета. Центр заканчивал специальную работу «Кризис власти», и не ведали мы, как в конце августа этот кризис вздернет Россию на дыбы, и гусеницы танков распахнутся на московских мостовых, подтверждая выводы моего собеседника. Кратократия, о которой говорил Антонов, пыталась дать реформам решительный бой. Последний ли? Путч побежден, но кризис скорее жив, чем мертв.

К. МИХАЙЛОВ

— Анатолий Николаевич, кризис власти — это...?

— Страна одновременно вошла в целую систему кризисов, и невозможно выйти из какого-то одного, не затронув другие. Например, кризис экономический нельзя преодолеть с помощью только экономических мер. Кризис власти — один из множества взаимосвязанных кризисов. Суть его в том, что нынешняя власть, как она сегодня устроена, не способна решать проблемы, стоящие перед страной. Какие проблемы?

В первую очередь вхождение страны в мировое сообщество, в складывающуюся суперцивилизацию. Как войти? В каком качестве? Парадоксальная вещь: если раньше мы сидели за железным забором, считая, что нам никто не нужен и мы сами со всем справимся — сегодня мы, по сути, стоим на коленях с протянутой рукой. Это так же недопустимо, как и прежняя ситуация. Но нет сколько-нибудь осмысленной стратегии включения в мировое сообщество; расчета стратегических целей страны в ходе этого процесса; цены, которую мы должны заплатить за это; определения этапов, последовательности шагов и т. д. Недаром сейчас наши нарождающиеся предприниматели так встревожены, что могут оказаться неконкурентоспособными мощным экономическим структурам Запада. Поэтому и нужна стратегия — с учетом интересов национальной экономики. Ведь наша страна при всех ее недостатках обладает колоссальными сырьевыми ресурсами, уникальным интеллектуальным потенциалом, что подчеркивают многие западные эксперты, — здесь просто живут очень умные люди! СССР — уникальное явление, и должны быть определены позиции, по которым мы можем конкурировать в мировом масштабе. А осмысленной работы нет — наша власть, да и все мы привыкли то руководствоваться «здравым смыслом», то кидаться на экзотические новинки. А ведь скоропалительные решения могут, провалившись, скомпрометировать саму идею включения в мировое сообщество.

— Наверное, интереснее поговорить о кризисе власти во внутренних делах...

— Второй класс проблем, которые центральная власть демонстрирует неспособность решить: сохранения или трансформации государства. Речь идет о кризисе империи — Российской и Советской, — мы сейчас живем в период распада нашей тысячелетней государственности. Исчерпаны многие ресурсы, с помощью которых сохранялось хотя бы внешнее единство множества народов. Распад тоталитарного государства привел к новой ситуации — существованию нескольких центров власти. Власть центральная в демократическом государстве должна согласовывать их интересы. Отсюда идея «круглого стола». Формула «9+1» — попытка ее реализации. Политика, по большому счету, — политический рынок, согласование интересов. Лидер, если он желает им оставаться,

должен согласовывать интересы различных политических сил, социальных слоев, партий. Именно в этом качестве он и нужен. Многие ошибки М. С. Горбачева с тем и связаны, что он «общается» не со всеми политическими силами. Может быть, он еще не ощущает их как политические силы? Но забастовочное движение уже слишком серьезно.

— Он, видимо, видит свою миссию в том, чтобы проводить свою линию, а не согласовывать чьи-то интересы.

— Дело все в том, что свою линию нельзя проводить, не согласуясь с другими, без помощи других. Он же не Господь Бог, он же не может все создать, все построить и решить все проблемы. Его миссия — уметь организовать различные силы на решение этих проблем.

— Часто проблему паралича власти связывают у нас с теневой экономикой или даже теневой политикой.

— Теневые структуры всегда сопутствовали нашей жизни. Очень часто совершавшееся в стране было и процессом, и результатом согласования интересов властей и теневых лидеров. Что происходит в некоторых наших республиках? Там русских до сих пор воспринимали и воспринимают как завоевателей, принесших чуждую идеологию. Но было взаимодействие: мы вас признаем в качестве пришедшей власти, а вы нам позволяете делать то, что мы хотим.

— И теперь там хотят по-прежнему жить по-своему, а «пришельцев» за власть уже не признают...

— Там разные тенденции есть; безусловно, и эта. Негласный и гласный («старший брат») шовинизм сейчас нам во всем «аукается».

— Может быть, главное противостояние — не «центр — регионы», а «правительство — народ»?

— Это разные грани одной проблемы. Ведь центральное правительство демонстрирует неспособность решать проблемы каждой группы населения. Налицо неэффективность всей системы хозяйствования: вроде производится много, но на этапе перераспределения все уходит неизвестно куда. То есть мы догадываемся куда — ВПК, «интернациональная» помощь и т. д. Республики вынуждены «огораживаться», война законов — не следствие амбиций местных лидеров, а объективное отражение попыток защитить регионы и решить их проблемы, так как в центре они не решаются или решаются медленно.

— Можете ли вы указать на конкретные проявления кризиса власти?

— Все основные демократические цели ясны, но как их достичь — никто не знает. Отсюда сиюминутные решения и меры. Их потом начинают отменять, как пятипроцентный налог, все это роняет авторитет власти. Ведь даже застойные доклады генсеков долго готовились, писались целыми институтами. Создавался величественный имидж лидера. Сейчас он не существует — это еще один аспект кризиса власти.

Смотрите, простая вещь. Вот нам говорят: переходим к рыночной экономике. И тут же появляется программа стабилизации экономики — акцент на сохранение старых экономических связей. (Якобы стало плохо жить из-за их нарушения.) Но это подмена одних стратегических целей другими, попытка склеить полураспавшуюся систему.

— Что такое политический рынок, о котором вы упоминали?

— Это политика в демократически устроенном государстве. Система отношений, где каждый субъект политики имеет свой вес, как и на экономическом рынке. Авторитет, притяжение сторонников переменны, в зависимости от действий. Так, наказания от ЦК КПСС в наших условиях делают авторитет политику, яркий пример тому — путь Ельцина.

— То есть ушло время, когда люди искали руководящей идеи и бросались ее исполнять, теперь каждый выбирает на политическом рынке то, что ему нравится?

— Конечно. Ведь в прошлом не было политики как сферы жизни. Не было разнообразных конкурирующих или сотрудничающих ее субъектов. Политический рынок был сужен, народ не был его агентом; все решалось в высших сферах, пусть там и были некие течения, «фракции» — часто они строились по земляческому принципу. Ставропольская группа, например, уральская, северная — советологи это прослеживали. Конечно, это гипотезы, исследования жизни политической элиты у нас только начинаются.

Кризис власти во многом связан еще и с тем, что на политическую арену выходит кратократия — группировка, которая открыто правит ради власти. В отличие от партотократии — та все же опирается на партийные, идеологические догмы и принципы. Вот, например, муссируется сейчас тезис о сохранении государственности любой ценой. Она выставля-

ется как общественный интерес. Чей он на самом деле — это требует анализа. Обнаруживается, что это попытка укрепления позиций тех, кто сейчас у власти...

— Вот меняются сейчас общественные ценности: коммунизм отрицается. Как должна меняться власть? Переписать программу — ведь этого мало?

— У нас изменилась система власти, что и позволяет переписать программу. В КПСС есть уже все — от монархистов до анархистов. Но новая система не достроена, что и порождает кризис.

— Что же тогда делать нашей власти?

— Строить стратегии развития страны. Выход из кризиса власти — это нормальная работа власти. Люди должны верить ее программам.

— Что есть стратегия власти?

— Известны три типа стратегий: явные, неявные и скрытые. Явные — когда публично заявляются конкретные цели, пути их достижения, оценки последствий реализации стратегии. Неявные — когда движение в определенную сторону вроде бы идет, но пути, ошибки, последствия и т. п. четко и гласно не зафиксированы. Скрытые — когда, как на войне, открыто декларируются одни цели, а достигаются на деле — другие.

— Многие думают, что и нынешняя власть так действует...

— Это требует особого анализа, ведь власть объединяет множество группировок, и у всех свои стратегии. Особенности ситуации такова, что многим выгодно именно то, что мы сейчас имеем. Политическая и экономическая нестабильность позволяет им решать свои задачи. Почему нравилась программа «500 дней»? В ней были четкие повременные этапы и шаги, что в программе правительства отсутствовало. А это — условие для реализации скрытых стратегий, ведь ничего невозможно проверить.

— Готово ли, на ваш взгляд, к стратегиям, к политическому рынку нынешнее поколение наших политиков?

— По-моему, пока плохо. Но жизнь научит, хотя кто-то сейчас учится, а кто-то нет. Вот Н. И. Рыжков на летних выборах Президента России. Зачем было его выдвигать? Ему — выдвигаться?

— Будет ли кризис власти углубляться, есть ли прогноз?

— Тенденция его развития, с нашей точки зрения, такова: будет продолжаться строительство нового типа властных отношений, в основе которого будет лежать политический рынок. Та стратегия, что реализуется сегодня Центром, имеет много интерпретаций. Одна из них — это стратегия затягивания времени. Эта гипотеза хорошо объясняет многие, казалось бы, противоречивые действия власти. Паллиативность реформ, кадровые перетасовки одних и тех же лиц... Вроде бы изменения есть, на самом деле меняются вывески. Но для серьезных и глубоких реформ это ведь тоже необходимо. Не нужно забывать важнейшее условие мирного характера преобразований — учет интересов и тех сил, которые уходят с политической арены. Этим оправдываются многие действия Горбачева и Центра. Но действуют и другие стратегии — реальность складывается из их столкновения и взаимодействия.

— В чем цель этой стратегии затягивания?

— Подольше посидеть на своих местах. Помните, кратократия — власть ради власти... Но, кроме того, и выигрыш времени для перестройки, для поиска ниш.

— Может быть, это не затягивание времени, но контрреформа?

— Сама перестройка-85, по-видимому, имела целью реформировать существовавшее тогда общество. Но когда выяснилось, что оно так просто не поддается, а радикальные реформы ставят вопрос о пребывании у власти самих реформаторов, начались попытки контрреформ под девизом «В новые мехи — старое вино!». Вот в Белоруссии сейчас открывается биржа (то есть место, где свободно определяется цена товара). А цены там заранее фиксированы! Что это — реформа? Да. И контрреформа одновременно. Это как бы маленькая модель нашей нынешней общественной жизни. Но все дело в том, что сегодня уже нет ресурсов для осуществления приемлемых (для многих) контрреформ. Лучшее будущее неизбежно. Я, оптимист, верю — и это показывают исследования нашего Центра, — что страну можно вывести на принципиально иной уровень развития. Нужны осмысленные, грамотные стратегии реформ.



«ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЙ: О ЖИЗНИ И О СЕБЕ»

Дорогой читатель!

Редакция **ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС**, и конкурс необычный: на **лучшее письмо** — под девизом «Исповедь поколений: о жизни и о себе».

Мы предлагаем нашим молодым читателям, а также их родителям, бабушкам и дедушкам: **ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО!**

Поговорим о том, как живет сегодня молодежь и чем она живет. Не будем лукавить, нам особенно дороги письма молодых, ведь наш журнал — для них. Напишите нам, как отражается на ваших судьбах, судьбах ваших друзей, сверстников, вашей семьи все, что происходит в стране, как воспринимаете вы эти процессы. Мы надеемся на ваш отклик, но не хотим использовать для этого обычную анкету, как делали это регулярно. Таких анкет сейчас публикуется предостаточно. Думаем, что и вам, и нам интереснее свободная форма общения, позволяющая выразить себя более полно, высказать и свои представления о жизни, и свою радость, и боль, тем более что среди наших читателей немало людей творческих, испытывающих тягу к литературному творчеству. Ждем от вас сочинений «на вольную тему». Помните, как мы писали их в школе? Но чтобы ваши письма могли вступить в диалог, чтобы разные мнения и позиции объединялись общим предметом разговора, мы предусмотрели следующую процедуру **конкурса**.

Конкурс будет продолжаться шесть месяцев. И каждый месяц мы будем предлагать вам для обсуждения в письмах одну какую-либо проблему и несколько вопросов, раскрывающих, конкретизирующих ее, как бы подсказывающих, о чем может идти речь. И каждый месяц будем подводить итоги, выбирать самые искренние, откровенные, волнующие отклики. И разумеется, публиковать их. Конечно, если вы хотите участвовать в конкурсе, сообщите нам свою фамилию и адрес. Но в принципе для публикации писем это необязательно, и если у вас есть желание высказаться о том, что наболело, откровенно, не называя себя, пожалуйста, предоставляем вам и такую возможность. И будем публиковать все самое интересное независимо от наличия подписи.

Как видите, никаких особых условий, ограничений в конкурсе писем нет. Лишь сделайте пометку на конверте «На конкурс писем».

А в конце полугодия на основе ваших писем мы

постараемся «нарисовать» с помощью социологов обобщенный портрет наших читателей-корреспондентов.

Для решения этой задачи редакция журнала обратилась к независимой Службе изучения общественного мнения «Vox populi» (VP, руководитель — проф. Б. А. Грушин), которая любезно согласилась подготовить вопросы к нашим читателям по нескольким темам и принять участие в анализе поступившей почты.

Вы можете помочь социологам, если, размышляя на ту или иную тему, укажете в письме номер того вопроса, на который вы, по сути, отвечаете. Пожалуйста, не забудьте об этом, отправляя письма.

А теперь — о призах, что тоже, наверное, немало важно.

Три первых приза — за самые, самые, самые... письма — годовая подписка на наш журнал.

Два вторых и два третьих приза — книги известных писателей, публиковавшихся в «Юности», с автографами авторов.

И конечно, как поощрительный приз можно рассматривать и сам факт публикации вашего письма на страницах «Юности».

Сегодня мы предлагаем для обсуждения первую проблему, которую мы назвали условно «**Точка опоры**» — о том, каким способом утвердиться, обрести и сохранить себя в разных обстоятельствах в нашем обновляющемся мире.

Итак, за перо, друзья!

1. Наше общество можно сравнить с тяжелобольным человеком, которому прописали лекарство, но оно оказалось горьким... Все кругом говорят о кризисе, однако ощущают его по-разному. Одни переживают его очень остро, другие, напротив, видят возможности для взлета и процветания, третьи, похоже, вовсе не реагируют на происходящее.

Интересно, ощущаете ли этот кризис вы лично? Если да, то как он отражается на вас, вашей судьбе, судьбе ваших друзей, близких?

2. Известно, что каждому человеку не однажды в жизни приходилось попадать в трудные ситуации, переживать критические, переломные моменты. Случалось ли такое у вас? С чем это было связано, в чем выражалось?

3. Стремительно изменяющийся мир поставил многих из нас, особенно молодежь, перед необходимостью выбора. В ситуации, когда ценности, еще вчера бывшие бесспорными, доказали свою несостоятельность, а иные еще не укоренились, приходится решать: в чем и где найти точку опоры, как сегодня сохранить и проявить себя?

Волнуют ли вас эти проблемы? Если да, то как вы собираетесь их решать? Что подсказывают вам предшествующий опыт, ваши жизненные наблюдения?

И в заключение — некоторые сведения о себе.

4. Сколько вам лет?

5. Ваше образование?

6. Если вы учитесь, то где? Если работаете, то кем?

7. Где вы живете (город, поселок, село)?

Заранее благодарим за ваши ответы!

ВАША «ЮНОСТЬ»

ОПАСНОСТЬ НОВОЙ ЗАКРЫТОСТИ

В дни переворота народный депутат России секретарь Конституционной комиссии РСФСР Олег РУМЯНЦЕВ был одним из активнейших участников защиты «Белого дома». Но путч кончился — и порожденные им проблемы добавились к прежним. «Легко ли быть победителем?» — думал корреспондент «Юности» Константин ПУШИЛОВ, входя в румянцевский кабинет в «Белом доме».

— Олег Германович, то чувство эйфории после победы, о котором так много писали, вас посещало?

— Был момент, когда казалось, что сам союзный центр — этот умирающий большевистский клуб — решил за демократов задачу овладения этим самым центром. Ведь мы через реформы в республиках так и не добились преобразования союзной власти — Съезда, Верховного Совета, правительства. Казалось, что пресловутый «+1» сам себя уничтожил, подорвал последние остатки доверия к себе, поставил себя вне закона. Казалось, что с реорганизацией КГБ, приостановлением деятельности КПСС демократические власти республик могут создать новый, приемлемый союзный центр. Это «казалось» длилось, может быть, пару дней, а потом стало ясно, что нашей победе угрожают две вещи. Настолько совковые, настолько классические, что даже обидно — как мы их раньше проглядели. Первая — поиски внутреннего врага, а именно демократов, которые обижают честных коммунистов, инакомыслящих, ветеранов и т. д. Вторая — поиски внутреннего врага республиками — «москалей». Вот не было, например, на Украине путча, не удалось рухвцам сплотиться, с повязками постоять, оружие поносить. А усиление антимосковских, антироссийских настроений — для этого прекрасный повод. Эти две страшные тенденции сегодня практически ставят крест на нашей победе. То, что делают сейчас республики, — кинжал в спину российской демократии.

— Вы разделяете мысль Собчака о том, что под лозунгом национальной независимости в некоторых республиках пытаются уберечь коммунистические структуры?

— И разделяю, и говорю все время об этом. И слышу в ответ, что это имперские амбиции... Мы сами виноваты, мы не были в тесном контакте с демократами республик и добились того, что там существуют сейчас две силы: национал-радикалы и национал-коммунисты. Сегодня они смыкаются — это показала позиция республик в дни переворота: главное — наш суверенитет, а в Москве — пусть хоть ГКЧП правит, лишь бы нас не трогали. Это был серьезнейший сигнал, который мы в дни сплочения ради победы, в дни эйфории не заметили. И сегодня мы находимся в печальном состоянии распада.

— Есть у вас ощущение, что шаткое равновесие, которое было до путча, утрачено навсегда?

— Оглядываясь назад, видишь стратегическую ошибку, сделанную в том числе и российским руководством. Горизонтальные связи между республиками, конфедеративное содружество суверенных государств — мы это закладывали еще в проект Конституции, в концепцию Декларации о суверенитете. Но некоторые сверхдипломатичные российские руководители начали с центром зангровывать, искать с ним альянса. Когда альянс стал стратегическим и Россия согласилась на формулу «9+1», гнилой «+1» рассыпался и стало ясно, что «9» не сумели создать свой клуб республик через горизонтальные связи. И остается, что называется, гневно пожалеть о том, как еще в марте мы собирали подписи под формулировкой рабочей группы нашей Конституционной комиссии для референдума: считаете ли вы нужным преобразование СССР в содружество суверенных государств на основе прямых межгосударственных договоров, заключаемых РСФСР с другими суверенными республиками? И вдруг Р. И. Хасбулатов запрещает рассылку этих наших правительственных телеграмм, даже резолюция была: «Румянцева строго предупредить». А если бы подписи нам дали собрать, то на рефе-

рендум была бы вынесена эта формула и мы имели бы основания для заключения вот такого Союзного договора, а не «9+1». Конечно, Хасбулатов замечательно проявил себя в дни путча, но тогда... Вот это и привело к тому, что мы не получили альтернативного вопроса на референдуме, не получили альтернативного пути к Союзу. А сегодня уже и конфедерации не получается. Доигрались... Пусть как угодно судят мои слова, но, например, Крым, в XVIII веке отвоеванный у турок российской армией, — в далеком тумане, яицкое казачество — там же и т. д.

— Вы как думаете, то, что республики одна за другой стали объявлять о независимости, — это результат путча или той «политики победителей», которая претворялась в жизнь в первые после него дни?

— Это результат того, что, пытаясь обойти коммунистический центр, маневрируя со стороны республик, мы — то есть сами республики — не сумели договориться друг с другом помимо этого центра. Наши прямые связи — политические, общественные, — ведь ни одной партии нет на союзном уровне, кроме КПСС и ЛДП! Нет сейчас таких политических, экономических межреспубликанских связей, что могли бы противостоять распаду страны. Политика же российского руководства после путча, я считаю, была совершенно верной, потому что находящемуся в прострации Президенту СССР нужна была крепкая подпорка. Другое дело, что действиями Силаева, Ельцина, Руцкого очень ловко воспользовались оппоненты, уведя многих демократов в лоно экзальтированного национального чувства.

— Может быть, здесь сказалось общее слабое место российских демократов, до недавнего времени не задумывавшихся всерьез о государственной идее?

— Да. Мы занимались разгосударствлением, созданием гражданского общества, религиозными движениями, правами человека, созданием партий и т. д. И совершенно упустили из виду проблемы существования современного демократического ГОСУДАРСТВА. И теперь приходим к абсурду. Я не понимаю: в чем демократизм идеи о том, что каждая — и самая маленькая — нация должна иметь свое государство? Мы, демократы, боролись за то, чтобы границы были легкопроходимы, открыты, чтобы общества были открытыми. В итоге мы получаем множество маленьких этнократических государств-квартирок, со всей национальной атрибутикой, этнической прежде всего, — опять-таки закрытых. Опасность новой закрытости! Вот что тревожит, а не мифические имперские амбиции. Новая ксенофобия, новый национализм — это серьезнейшая проблема для всей нашей либеральной политики.

— Россия может сейчас в какой-то степени заменить исчезнувший Центр?

— Сейчас уже нет, потому что республики против. Ельцин, Силаев пытались взять на себя часть полномочий, но удивительнейшим образом антимосковские настроения — вызванные, кстати, имперской политикой прежнего Кремля — торпедировали этот процесс. Нынешние подозрения, недоверие к российским демократам просто оскорбляют. Демократов России сплотила борьба с переворотом, а национал-демократов сплотила борьба с Москвой. Таков трагический итог августовских событий.

— Вам не кажется, что тот тип политика, который сейчас жизненно необходим, — это демократ, воспринявший государственную идею?

— Глубоко в этом убежден. Исповедовать сегодня идеи сепаратизма и дезинтеграции очень легко. А подумать о нашей общей труднейшей истории, которая, кстати, отсюда пошла, из Киева, об идее российской государственности, строившейся вековыми стараниями предков, труднее. На высоте, кстати, оказались российские автономии, заявившие, что они остаются в единой и неделимой Российской Федерации. Все, кроме Татарстана.

— Татарстан — особый случай, он и ГКЧП поддержал...

— Да, особый. Впрочем, он идет тем же путем, что и Азербайджан с Украиной. Смычка национал-радикалов и национал-коммунистов.

— Есть у вас прогноз на ближайшие два-три месяца (беседа происходит в последний день августа. — К. П.)? Что ждет Союз?

— Надо как можно скорее заключать экономические союзы, создавать свой «Общий рынок», а он неизбежно потребует своего «Европарламента» — некий координирующий орган. В той или иной форме Союз будет существовать.

ПЕРЕВОРОТ ИЗ ПАРИЖА

Забыв побриться, позавтракать и почистить зубы, с включенным радио я летел в редакцию «Курье интернациональ». Там все были в сборе, будто давно ждали танков на Арбате.

— Садись, звони в «Литературную газету», — Жак Росселен был уверен в себе и непоколебим. — Вам теперь конец: как пить дать, газету запретят. Пока не отрезали телефон, пусть ваши передадут нам по факсу свои материалы — выпустим «Литературку» в изгнании. Из Парижа!

Два часа накручиваю телефон под тревожные сообщения канала новостей парижского радио, говорящего в эти часы только о Москве. Когда диск, казалось бы, раскалился добела, среди писка и треска слышу в трубке слабый голос редакции:

— У нас пока все тихо. Танков вроде бы не видно... «Литературка» в эмиграции? Давайте пока что с этим подождем. Тем паче что главного редактора нет, он на каникулах... Оставайтесь в корпункте, мы вас вызовем. Вот только обстановка прояснится...

Возвращаюсь в корпункт, но оставаться один не могу. Отправляюсь в посольство. Где, как не в посольстве СССР, узнать последние вести с родины! Во дворе бункера на парижском бульваре Лан меня встречает гнетущая тишина. Захожу в один кабинет, в другой. Дипломаты скорбно вздыхают, отводят глаза. И вдруг:

— Не надо паники, товарищ корреспондент! Ничего особенного не произошло. Просто приняты меры по стабилизации положения в стране, ее экономики. Так и разъясняйте французам! Кстати, письмо товарища Янаева президенту Миттерану с разъяснением новой советской политики уже передано в Елисейский дворец.

Теперь выходит, будто бы молчание советских должностных лиц в Париже по поводу поправок демократии в Москве — это красноречивый знак их несогласия с мятежниками. Теперь выходит, что из знака согласия молчание превратилось в знак несогласия. Переворот!

19 августа Франсуа Миттеран, подвижимый благородными гуманистическими принципами, призывал «новое советское руководство» гарантировать жизнь Горбачеву, а заодно и Ельцину, а в среду уже заявлял, что всегда верил в поражение заговорщиков. Может, так оно и было на самом деле? Верил!

Все годы моей работы во Франции в качестве корреспондента сначала «Комсомольской правды», а потом «Литературной газеты» я вел записки о том, что — увы! — сближает москвичей и парижан вне зависимости от разницы в уровне жизни. Такие бытовые наблюдения за бюрократией и номенклатурой, политическими структурами и сферой обслуживания, доношением и формализмом, демагогическими «ценностями» и практикой блага... Сатирическое сопоставление тех сторон жизни французов и советских, «благодаря» которым никто из них не чувствует себя обделенным родными реалиями. Об одном, правда, не написал, о чем теперь жалею: о международном виде спорта, который французы называют «выворачиванием наизнанку пиджаков».

...Не успел президент Миттеран завершить свое выступление по телевидению, во время которого зачитал письмо Янаева к нему, как началось соревнование политиков в оценке как шансов Ельцина на победу, так и прозорливости хозяина Елисейского дворца. Каждый из государственных мужей Пятой республики стремился набрать себе впрок — к будущим выборам — как можно больше очков. Значит: на первых порах затаиться, по возможности ограничиваясь объективными, пустыми комментариями, а затем вовремя выбрать сторону победителей, активно откровенничая при этом от побежденных.

Кажется, Юрий Тынянов в «Смерти Вазир-Мухтара» назвал 14 декабря 1825 года «днем, когда пытали время». Таким же днем-оселком стал для нас и понедельник четвертой недели августа. Он расставил людей по принадлежащим им местам. «На Западе в роковые минуты истории люди соединяются и действуют. В России (не потому ли, что компромисс обидное слово, а терпимость как-то связывается с домами терпимости?) люди разъединяются и бездействуют», — пишет Нина Берберова. Может, так оно и было раньше, но сейчас — иначе.

...Ночью с 19 на 20 августа я писал заметку в «Литературку». Утром продиктовал ее стенографистке, загробным голосом сообщившей, что газеты больше не существует и что напротив типографии на Цветном бульваре стоит танк.

Что было потом? Два дня как в отчаянном, густом сне. Выступления по французскому радио, беготня по парижским редакциям, митингование по французским и эмигрантским квартирам с бесконечными здравицами за Ельцина и Собчака, первое собрание по учреждению так и не успевшего родиться Российско-французского комитета в защиту перестройки, на которое тайком явились два сотрудника Советского посольства, звонки со всех концов света с проклятиями в адрес партии убийц и путчистов... И наконец — победа!

— Ур-р-ра! — рычал в телефонную трубку раскатыстым эльзасским «р» Жан-Мари Каро, депутат Национального собрания от социал-демократов. — Теперь, после отваги и принципиальности Ельцина и юных защитников российского «Белого дома», каждый честный человек в мире может с гордостью сказать: «Я — русский!»

Как за это не выпить! И тут я вспомнил, что не отоварил свой законный талон на бутылку водки, полагающуюся мне в посольском кооперативе. Бросок — и я во дворе посольства. От первого же встречного слышу — не без издевки, с подспудным вызовом:

— Ну что, выиграли твои рокеры?!

Кирилл ПРИВАЛОВ

Париж.

НЕУЖЕЛИ ЭТО ОН?

27 августа 1944 года, когда под станцией Хотунок, севернее Новочеркасска, нашему батальону выдали новую амуницию для отправки на фронт (я двадцать пятого года рождения и к тому времени уже провел полтора года в комсомольском подполье, а после освобождения Таганрога ушел на фронт, где получил две контузии) и я возвращался лесопосадкой в расположение части, человек с автоматом и в красных погонах потребовал предъявить документы. Они были у меня в полном порядке, включая пропуск как комсору батальона на право хождения вне части. Тем не менее я был жестоко избит и брошен в подвал СМЕРШа в Новочеркасске.

В моей камере было более тридцати солдат, уроженцев Западной Украины (бригада, в которую мы входили, была укомплектована свежими призывниками из Тернопольской и Львовской областей). После ночных побоев следователями СМЕРШа я забился в угол. Никто друг с другом не разговаривал, опасаясь лишних ушей. И вот действительно ко мне подполз — якобы после пыток не мог ходить — человек городского вида, лет на пятнадцать старше нас всех и чисто говоривший по-русски, и стал достаточно громко ругать Сталина, называя его палачом. Я был совершенно согласен с ним, ибо от отца — офицера царской армии, а затем командира полка в Красной Армии, арестованного в 38-м году и расстрелянного, — был достаточно наслышан о нашем «вожде и учителе». Но молчал, находясь как бы в бессознательном состоянии. Западноукраинцы, когда он взывал к ним, отворачивались и тоже молчали. Всем было ясно, что этот человек — подсадная утка СМЕРШа...

Сутки спустя меня вызвали во двор и отправили на машине в Ростов. В пути все четверо конвоиров месили меня ногами, так что в окружной СМЕРШ я уже был доставлен отбивной котлетой, с отеком мозга. Я оказался теперь в камере, где было всего пять человек. Днем нам не полагалось ни сидеть, ни тем более лежать, а если присядешь на пол, тотчас врывался надзиратель, старшина Караханов, и бил в грудь, в живот, в голову. Из четырех сокамерников двое были разговорчивыми. Один назвался Владимиром Домбровским из Лемберга (то есть Львова), охотно рассказывал, что он — один из лидеров УНДО (Украинского национал-демократического объединения), штаб которого якобы находился в Лондоне. Смершевцы лишь ему разрешили иметь табачок, бумагу и кресало, он все время курил и делился охариками с остальными тремя, ибо я отказывался (никогда не курил).

Еще более разговорчивым был другой старожил камеры, называвший ее «камерой смертников», что подтверждал и Домбровский. Этот, второй, назвался Иваном Подлясовым, уроженцем Сталинградской области, 1924 года рождения. Иван охотно рассказывал, что в 1942 году был призван в Красную Армию, попал в плен, окончил школу абвера и был сброшен на парашюте на Кубани, имея задание взорвать железнодорожный мост, когда по нему будет проходить воинский эшелон.

Эти откровения длились не один день, мы трое все более слабели от побоев и сплошных ночных допросов, а Домбровский и Подлясов хорошо и на ногах стояли, и сидели на корточках, что было остальным не под силу. И мы, не сговариваясь, пришли к выводу, что Домбровский и Подлясов — подсадные утки. И оставались молчунами.

Я запомнил этих говорунов очень хорошо. И красавца шатена из Лемберга, стройного и высокого, и одутловатого и подслеповатого «волжанина» — с колючим взглядом, никогда не улыбавшегося...

Потом мне и чахоточному западноукраинцу Сергею Бондарчуку имитировали расстрел во дворе окружного СМЕРШа СКВО и отправили в спецлагерь 048/05, что находился у террикона шахты «Южная» западнее города Шахты. Там Сергей умер, а я в конце концов был освобожден инвалидом первой группы.

И вот уже в наши перестроечные годы, когда новым главой чекистов стал Владимир Александрович Крючков, я, увидев в газетах его портрет, обомлел. У меня патологически острая зрительная память. Тот же марийский антропологический тип (в 1957 году я, закончив в Институте этнографии АН СССР аспирантуру, стал там научным сотрудником и создавал для себя фотоколлекцию народов Советского Союза), тот же острый взгляд подслеповатых глаз на по-прежнему одутловатом лице. Я стал тщательно присматриваться к нему на телеэкране на всех сессиях Верховного Совета СССР, изучать опубликованные справки о его жизненном пути. Да, Крючков, как и Иван Подлясов, — уроженец Сталинградской области, 1924 года рождения. На фронте не был, ибо имел бронь. После войны получил специальную подготовку, освоил венгерский язык, родственный марийскому, и в период первой венгерской весны был советским чекистом в Будапеште — подчинялся там советскому послу Андропову. Именно из Венгрии Крючков последовал за Андроповым в Москву, занимая при нем, когда тот возглавил КГБ, все более высокие должности.

В феврале 89-го года, проходя медицинскую комиссию в ревматологическом центре на Ленинском проспекте и ожидая вызова на ВТЭК, я познакомился с некоей словоохотливой женщиной, которая похвасталась даже, что является двоюродной сестрой Владимира Александровича Крюčkова. И когда я спросил, не мариец ли ее двоюродный брат, женщина это подтвердила.

Неужели в камере смертников СМЕРШа в сентябре 1944 года в качестве подсадной утки пребывал со мной будущий член ГКЧП Владимир Крючков?

Генрих АНОХИН

☆☆☆

*У красной стены кирпичной,
под синевой лета,
под белыми облаками
кому-то беззвучно плакать.
Трое ребят навеки
лежат под трехцветным небом.
Вечная память!*

*Несут их к «Белому дому»,
их фото под черным крепом.
Боже, спаси Россию!
Бал сатане не править.
Три молодые жизни
лежат под трехцветным небом.
Вечная память!*

*Надежду, Любовь и Веру
нам батюшка пел и ребе.
Кому еще за свободу
придется от пули падать?
Трое мужчин навеки
остались в трехцветном небе.
Вечная память!*



*Фото Леонида Шимановича
Олега Кокина
Владимира Сварцевича*



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

**ЖУРНАЛИСТИКА БЕЗ ЦЕНЗУРЫ!
ОПЕРАТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ!
ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ВЗВЕШЕННОСТЬ!**

5 раз в неделю на 8 полосах большого формата
не гласность, а свобода слова
наиболее полная информация о жизни суверенных республик
продажа в киосках в 1992 году будет ограничена
принимается реклама (тел. 925-17-40)

ОБЪЯВЛЕНА ПОДПИСКА

наш индекс 50089

Подписная цена: на 12 месяцев — 89 руб., на 6 месяцев — 52 руб.,
на 3 месяца — 27 руб., на 1 месяц — 9 руб. 50 коп.

ТЕЛЕФОНЫ: 924-47-06, 925-31-80.

*читайте первую в СССР "толстую"
политическую газету!*

СОЦИУМ

Самые большие объемы информации. Самое высокое качество и достоверность. Самые низкие цены — это...

Базы данных серии «ПАРТНЕР»

ПАРТНЕР-1.1	160 000 предприятий	наименования, адреса, виды деятельности
ПАРТНЕР-1.2	200 000 предприятий	та же информация
ПАРТНЕР-2	20 000 предприятий — участников внешнеэкономических связей	наименования, адреса, телефоны, отрасли, ФИО руководителей, предлагаемые товары, услуги, типы собственности
ПАРТНЕР-2.1	1 500 СП	та же информация
ПАРТНЕР-3	2 000 предприятий-рекламодателей: (ежемесячник)	полные тексты рекламных объявлений месяца, наименования, адреса, телефоны, отрасли предприятий-рекламодателей

«ПАРТНЕР» обеспечивает вам автоматический поиск и распечатку информации списком и «на конверт» на IBM PC совместимых компьютерах по территориям (все республики, 132 области, 137 городов), по видам деятельности (более 100 видов), по наименованиям предприятий и, ГЛАВНОЕ, по свободно заданным вами наименованиям товаров и услуг.

ИнфоЦентр СОЦИУМА, располагающий информацией о 300 000 предприятий СССР, предоставляет также информационные услуги по индивидуальным заказам и принимает заявки на реализацию отраслевых справочников.

Телефон для справок: 928-24-70. Факс: 230-28-19.

Телекс: 112658 Устав. Адрес: 103031, Москва, а/я 76, ВНПО «Социум».

Приходите на демонстрацию систем по адресу: 103626, Москва, Б. Черкасский пер., 15, комн. 402.

Системы с инструкциями по эксплуатации на гибких дискетах передаются заказчикам либо высылаются бандеролью в 3-дневный срок после получения ИнфоЦентром копии платежного поручения и адреса получателя.

Наш расчетный счет: 460158 в Коопбанке Центросоюза СССР, к/с 161406, ЦОУ при Госбанке СССР МФО 299112.

Цены: Партнер-1.1 — 3990 рублей+5% Партнер-2 — 2890 рублей+5%
Партнер-1.2 — 4990 рублей+5% Партнер-2.1 — 900 рублей+5%
Партнер-3 — 1900 рублей+5% (годовая подписка 12 выпусков)

АБСОЛЮТНО НАДЕЖНЫЙ «ПАРТНЕР»!



24 октября — 80 лет со дня рождения Аркадия Райкина. Сейчас в издательстве «Искусство» готовится к печати сборник воспоминаний о выдающемся эстрадном артисте. «Зеленый портфель» знакомит читателей с одним из материалов книги.

**Михаил
ЖВАНЕЦКИЙ**

ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ...

(Выступление на юбилейном вечере 25 декабря 1989 года)

Пятьдесят лет Театру миниатюр.
Два года без Райкина.
36 лет без Сталина.
25 лет без Хрущева.
Семь лет без Брежнева.
Четыре года без Черненко.
Эх, Аркадий Исаакович!

Пятьдесят лет Театру миниатюр.
А. И. Р., как всегда, все доделал до конца. Все пристроены. Одним дал театр, другим дал работу, третьим дал пищу для воспоминаний. Мне дал квартиру, рекомендацию в Союз писателей и имя, к нему вопросов нет.

Единственное: не нужно было вызывать к себе любовь, как вообще не нужно вызывать ни в ком любовь, чтоб потом не было слез.

Держаться нужно независимо и строго, что невозможно, особенно к нему.

Влюбляешься и ходишь так: значит, слезы рядом, ты уже содрогался ночами, сморкаешься в кружевной платок, любимые духи отброшены, не следишь за собой, появляешься перед ним в синих кругах вокруг глаз, дышишь рядом. Все время дышишь рядом, пока директор театра Чобур тебе не скажет: «Миша, Аркадий Исаакович решил с тобой расстаться».

— Как, — не веришь ты, — он же только что меня обнимал рукой...

— Миша, — говорит он, — Миша...

— Да, да, да...

И ты к последней миниатюре подстегиваешь последний листок, где написано: «Прошу меня по моему собственному желанию...»

А. Аркадий Исаакович, прочитав и отхохотав все до последнего, начинает пудриться. Он всегда пудрится, когда ему нужно решить.

А ты стоишь, ты всегда стоишь, когда решается твоя судьба, и не веришь... нет, нет...

— Да, — говорит А. И. Р. тихо. Он всегда говорит тихо. — Ну, что ж, — говорит он, — ты правильно решил.

Как будто это ты решил, и ты киваешь, чтоб его не расстраивать.

— Да, я так решил.

И вы расходитесь.

Он идет в свет, в прожектора, в аплодисменты, а ты идешь впереди лица. Вот как оно дернется, так ты идешь туда, куда идут все брошенные жены, дети, девушки, мужья, актеры, пенсионеры. К матери, бабушке, чертям, вы сами выбираете маршрут и начинаете пить, спиваться сухим вином, какой-то ерундой и лежите в носках, размышляя...

Через три часа и три дня появляется театральный автобус и тебя просят обратно в театр.

Ты, падая и не попадая носками в ботинки, с заплаканными ресницами и тушью на лице оказываешься в зале «Первой советской пятилетки», и он снова рукой обнимает тебя...

— Как же ты мог, как же ты мог?

— Да, я... мне сказал Чобур, увольняйся. Я уволился, но если вы скажете одно слово...

— Я не об этом...

— А о чем?

— Как ты мог оставить театр без программы?

— Как? Вы же меня уволили.

— Ну и что. Моральный долг у тебя есть?

— Есть.

— Иди, возьми толстую тетрадь и пиши.

Вы идете, берете толстую тетрадь и пишете, пишете, пишете... Только почему-то у вас уже не получается...

Потом вдруг через пять-шесть лет звонит ваш лучший друг Слава и говорит:

— А. И. Р. хочет, чтобы вы все трое поехали с нами в Венгрию!

И вы уговариваете своих друзей и садитесь на поезд, и приезжаете в Ленинград, и появляетесь, допустим, в ДК Горького, и он опять пудрится, а вы опять стоите, и он спрашивает:

— Зачем ты приехал?

— Как? Мне сказали...

— Кто тебе сказал?

— Ну, тут... Как, вот говорили...

— Кто говорил, кто?

— Ну как же, специально звонили...

— Ну кто, кто? Ты только скажи, кто?

— Как — кто? Не помню...

— Ну уж ладно, коль ты здесь, приезжай ко мне вечером, почитай, что ты привез.

И вы читаете, и он смеется, ибо,

когда он слушает, вы пишете и читаете в десять раз лучше, чем можете. И он спрашивает:

— Кто нас поссорил? Где этот негодяй? Что тогда произошло? Мы должны быть вместе.

— Да, конечно.

— Оставь все, что ты привез. Здесь пять произведений. Мы берем все. Иди и вспомни, кто нас поссорил.

И вы приезжаете в Москву. И вам звонит ваш друг Слава и говорит: «Из всех понравилась одна, и театр готов ее приобрести. Но неужели нельзя было оставить все на столе, неужели надо было все с собой забирать, чтоб потом с трудом переправлять?»

И вы звоните прямо А. И. Р.

— Аркадий Исаакович, мне сказали, что вы не можете найти, они на столе.

— Конечно, на столе. А кто тебе сказал?

— Как — кто, просто сказали.

— Кто, кто, кто этот мерзавец?

— Ну как — кто, мне позвонили, что вы не можете найти...

— Как — не могу. Вот же они. Кто тебе сказал?

— Но вы берете одну?

— Как — одну? Все.

— Спасибо.

Вы перезваниваете:

— Слава, он нашел. Он берет все.

— Нет, Миша, он берет одну, но еще не решил.

И проходит еще один год, и звонит директор Дома актера Эскин.

— А. И. Р. просит тебя что-то написать к юбилею Утесова. Звони ему, он ждет твоего звонка. Только сейчас же.

— Да, да... Алло! Аркадий Исаакович, это я. Вы просили меня позвонить.

— Кто тебе сказал?

— Тут сказали, на юбилей Утесова...

— Кто сказал? Что происходит?

— Нет, если не нужно...

— Ну если ты сам хочешь, приезжай.

И вы приезжаете и немножко ждете, пока закончится ужин, и немножко понимаете, что нитки, которые стягивают вас, уже сгнили, уже совсем.

— Так что ты хотел?

— К юбилею Утесова.

— Нет, писать не нужно. У меня есть монолог, может, ты его просто перепишешь?

— Мой, что ли?

— Нет.

— А этот автор где?

— Он здесь, в Москве.

— Жив-здоров?

— Да, жив-здоров.

— Я подумаю.

— Подумай, подумай, и не пропадай.

— Не пропаду.

— Не пропадай.

— Не пропаду.

С тех пор это стало главным.

Мой сложный и любимый Райкин.

Владимир
ВИШНЕВСКИЙ

Акт-заявление

Не вернула
три книги с журналом
В Нерушимую нашу Читальню.
Две подушки
с цветным покрывалом,
кипятильник
межконтинентальный.
А еще — волейбольную сетку,
баллистическую ракетку,
наш застольно-престольный
теннис,
пару вафельных полотенец.
Задолжала Магнитке две домины,
задолжала Донбассу три тонны.
Заносила Она, ё моё,
стратегическое
белье.
Тренировочные штаны
не вернула в Каптерку страны.
Мы поэтому всею страной
Не поднимем
Литве
обходной!..

Из Гете, из меня, из жизни
Сегодня вся страна — ВДНХ.
...Где не меня ль цитировал
мужчина:
«Теория, мужик, она суха,
Лишь не смолкает жизни
матерщина».
Где я ему ответил наповал,
И был ответ, увы, себе больнее:
«Советский рубль не роза,
но — увял,
И только доллар вечно зеленеет!..»

Телеинструктаж
Добрый вечер, Москва жива?..
Продолжаем программу «SOS».
Захотите качать права —
Раздобудьте ножной насос.
А метро под землей, с шести.
Но при входе возьмите редут.
Всех желающих приобрести
Безналично приобретут.
Кто, смотрите, пришел?.. Каюк.
Молоток затрубил отбой.
Если будете ехать на юг —
Не купальник берите с собой.
Где за свет выдается газ —
Не испытывайте судьбу.

Да, и где-то я видел вас...
А, ну да, я вас видел в гробу.
Что имели на черный день,
Из кубышек извлечь пора.
СССР — экспортер людей.
И — последний вопрос: «Ура?..».
Все поехало вилоть до крыш.
Все, как могут, несут урон.
Если будете ехать в Париж,
То садитесь в первый вагон.

К законопроекту № ...
У Секса глаза велики.
И ноги у Секса от шен.
С какой бы ни встал он ноги —
Он сам от себя хорошеет.
Он молодость мира, он — риск,
Он дарит букеты последствий.
Но славится Секс, а не сыск!..
И песня акына — о Сексе.
О Сексе поют соловьи.
Его не убьешь, не задушишь.
И что-то в нем есть от любви!..
Но есть и немало от дружбы.
Его принимали в штыки,
Ему создавали ухабы.
Но любят его мужики,
Но ценят окрестные дамы!..
Пробил в СССР его час.

ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ»?
Посмотрите нашу программу и сделайте выбор. Но точно знаем:
без нашего журнала вам будет жить скучно!

Уважаемый читатель!
Как известно, с начала 1990 года
была поднята розничная цена на-
шего журнала. Мы предвидели,
что потеряем часть тиража, что
многие давние почитатели и друзья
не смогут подписаться на журнал,
ибо для них это стало слишком
дорого. Об этом рассказали ваши
многочисленные письма в редак-
цию.
В нынешнем и следующем году
нас ждут новые трудности — гря-
дет повышение цен на бумагу, удо-
рожание доставки и типографских
расходов. А это все должно вновь
повлечь повышение розничной
цены. Уже сейчас многие редакции
вынуждены увеличить стоимость
своих изданий.
И мы решили рискнуть —
ОСТАВИТЬ ПРЕЖНЮЮ ПОД-
ПИСНУЮ ЦЕНУ НА ЖУРНАЛ.
Чтобы дать возможность больше-
му числу наших читателей выпи-
сать «Юность» на 1992 год.
Мы надеемся на вашу поддерж-
ку. Только вместе с вами, уважае-
мые читатели, мы сможем выжить
и сохранить «Юность». Заранее
благодарны всем, кто нас поддер-
жит. Ждем ваших писем.
Ваша «Юность»

Заполнив квитанцию, вы смо-
жете оформить подписку на
«Юность» с 1 августа с. г.
в любом отделении связи.
Стоимость подписки
на три месяца —
5 руб. 25 коп.,
на шесть месяцев —
10 руб. 50 коп.,
на год — 21 руб.

Ф. СП-1
Министерство связи СССР
«Союзпечать»
71120
АБОНЕМЕНТ на журнал (индекс издания)
«ЮНОСТЬ»
Количество комплектов:
на 1992 год по месяцам:
Куда (почтовый индекс) (адрес)
Кому (фамилия, инициалы)
ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
71120
на журнал (индекс издания)
«ЮНОСТЬ»
(наименование издания)
Стоимость подписки руб. коп.
переплат руб. коп.
Количество комплектов:
на 1992 год по месяцам:
Куда (почтовый индекс) (адрес)
Кому (фамилия, инициалы)

Клеймили его, а сегодня —
Как все с опозданием у нас —
По всей территории вводят.
Он в гуще событий, с людьми
(Опять в аппарате проснали!..),
И хлебом его не корми,
И в рот не клади ему палец.
Луч света в Империи Тьмы,
Он выведет к высшей взаимности...
(Покончим, родная, и мы
С Берлинской стеною невинности!..)

Теплее, теплей... Горячо!..
Студенты запишут в тетрадку,
Что социализм — не учет,
А секс, возведенный в нехватку.

...Идет позитивный процесс.
Да, в мире взаимозависимом
И мы за него, но — за секс
Безъядерный и ненасильственный!..

Живой, он зеленой тоски
Сильнее, как Девушка — Смерти.
Небратские эти стихи
От чистого секса, поверьте.
И планов Его — громадьё.
И пивы его не обшаришь.
Ну вот, Он опять за свое...
Товарищ... ТОВАРИЩ!..
ТОВАРИЩ!!!

Сдержанный оптимизм
Я — оптимист. Почти вполне.
Готов к борьбе за дело Вкуса.
Не пой, красавица, при мне
Ты Гимн Советского Союза!..

**Стихи на знойной почве,
обнародованные в зной 90-го г.**

Когда не сон кошмар,
реальна лишь угроза,
когда любой товар
повышенного спроса,
когда увял венок
и невозвратна стая,
уходит из-под ног
Земли одна шестая
и все с приставкой «экс»,
любовь нелюбопытна,
и маломальский секс,
как пир во время СПИДа, —
чего желаю сверх
мгновенного финала?..
А вот чего: чтоб всех
приятно обдувало.
Кто чинит свой доспех,
кто четвертует сало,
кто празднует успех
под флагом одеяла.

А я хочу, чтоб всех
приятно обдувало.
Я вот чего застал,
как зайцевскую моду, —
явление Христа
советскому народу.
Но поздно. Не аншлаг.
Окрепни, как на ринге,
в борьбе за Дело Швах.
Но в кратере, парилке,
где лишь сквозь слезы смех,
где стало неповадно, —
хочу, хочу, чтоб всех,
чтоб всех, но чтоб — приятно.
И автора помех,
и межрегионала,
Чтоб всех вас тут, чтоб всех!..
Приятно обдувало.
В родимой стороне
и левый я, и правый.
Не угрожайте мне
физической расправой.
Всем миром — на горшок —
не мой почин великий.
Я выдвинул стишок
как раз для Красной книги.
...И этих двух зануд,
и вон меня, с усами, —
хочу, чтоб всех нас тут...
Ну, в общем, дальше сами.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Союзпечати».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года
и в первой половине
1992 года вы прочтете
в нашем журнале:

- «Затеси» Виктора АСТАФЬЕВА,
— роман Василия АКСЕНОВА
«Московская сага»
(вторая книга),
- роман Владимира ВОЙНОВИЧА
«Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана
Чонкина» (третья книга),
— новые повести
Геннадия ГОЛОВИНА,
Сергея ДЫШЕВА,
Валерии НАРБИКОВОЙ,
Юрия ПОЛЯКОВА,
Александра СКОРОБОГАТОВА,
— повесть Льва КОПЕЛЕВА
«Святой доктор Федор Петрович»,
— боевик Эльдара РЯЗАНОВА
«Предсказание»,
- авантюрный исторический роман
князя М. М. Волконского
«Мальтийская цепь»,
— роман Бориса ЗАЙЦЕВА
«Жуковский».
- рассказы Владимира НАБОКОВА
(перевод с англ.),
— роман Ирвинга СТОУНА
«Страсти души»
(о Зигмунде Фрейде),
- повесть Виктора НЕКРАСОВА
«По обе стороны стены»,
— исследование Николая
ТОЛСТОГО
«Толстые:
24 поколения в русской
истории. 1353 — 1983»,
- повесть Виктора СОСНОРЫ
«Летучий голландец»,
— Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
«От Сен-Поля до Сен-
Дени» (французские встречи),
- статью Станислава ШАТАЛИНА
«Как хоронили 500 дней»,
— монолог Григория
ЯВЛИНСКОГО «Отцы и дети»,
- рассказы Михаила ЖВАНЕЦКОГО,
Аркадия АРКАНОВА,
Григория ГОРИНА,
Михаила МИШИНА.

ВОШ ИЗ МОСКВЫ! КОМНАТА



Журнал в журнале
№ 6 (45)

Зачем нас туда понесло

Рыбинск! Столица Верхней Волги. Уголок Петербурга. Эпицентр торговли, судоходства и рыбной ловли. Все это в прошлом. В настоящем — скромный районный город в Ярославской области, и только имя Гаванской улицы напоминает о былом. За годы советской власти проходил под кличками «Щербаков» и «Андропов». Потерял половину церквей. Заменял патриархальные слободки поселками при оборонных предприятиях. Порочащие связи: в 1918-м подхватил (правда, ненадолго) знамя ярославского антикоммунистического мятежа. Особые приметы: см. ниже.

Кто думает, что Судьба, История и Политика совершаются в столице и высших сферах, тот заблуждается. В столицах говорят речи и пишут законы, провинция читает, слушает и живет. Отними у провинции Москву — и она выживет, и, подумав, выберет в столицы Орел или Кострому. Отними у Москвы провинцию — и столица умрет, ибо для чего она тогда? Понять, чем живет глубинка, — и можно судить о стране. Но что знаем мы о глубинке? Что там негде развлечься и нет колбасы? Смешно.

**ВОШ
из
МОСКВЫ!**

Прошу читателя не понимать
Пошехонья буквально.
Щедрин

Ночь на пошехонской границе

— Женщину нужно? — спрашивает женщина, входя в освещенный прожектором круг мрачных зеков. Дело происходит под мачтой с поднятым на ней только что российским триколором.

— Кому ж не нужно? — отвечает один зек, кажется, Юрий Ушаков,

в дневное время депутат горсовета «от комсомола», с крестиком поверх майки и судейским свистком поверх крестика.

Аплодисменты поляны.

На ночном ристалище рыбинских команд КВН представляются фарварды. Команду зеков сменяет команда хоккеистов (на коньках: благо луг топкий), но вообще сравнивать команды невозможно: темы нужной женщины и нужной выпивки объединяют лидеров с аутсайдерами, а тех и других — со зрителями в единой симфонии раблезианского, может быть, юмора. Образ нужной женщины рождается облачением женщины обычной (или чуть лучше обычной) в удлиненную тельняшку, заменяющую остальной туалет; образ веселого (не в смысле находчивости) мужчины — средствами скорее внутреннего, артистического свойства.

Дни молодежи — ежегодный палаточный уик-энд на сыром берегу Ухры, на рыбинско-пошехонской границе, — ведут свою родословную с предреволюционного еще времени, то есть времени, когда Рыбинск носил историческое имя Андропов. Живое творчество масс помешало Дням угаснуть с переходом застоя в кризис.

Действительно, никого сюда не гонят. (Только автобусы подадут с вечера пятницы к горкому комсомола.)

И ничего здесь уже идеологического, кроме торжественного парада команд, принимаемого двумя комсекретарями верхом на двух комработниках. («Здравствуйте, товарищи!» «Тамбовский волк тебе товарищ! Ура! Ура!») Народу в лагере тысячи три, и кажется, что все они хоть по разу, но проползли доброхотно, в трусах или купальнике, под рядом низких деревянных перекладин, которые нужно не сшибить, чтобы не лишиться следующей радости — бежать кросс. И сами «комвожди» так искренни в своем судействе, так непосредственны в болевании за извивающихся на грязной спортгрядке девушек...

Слова диск-жокея доносятся к костру:

«Сережа, под эту музыку мы провозжали тебя служить и под эту же встречали. Все это помнят».

На рассвете дискотека захлебывается на потасовочной ноте и рассасывается. Программа ночи исчерпана. Ночь продолжается. Глубже в лес, к невидимому «морю», проникают костры.

Разговор перед отходом ко сну (экспресс-пьеса)

Сцена: ночь, лес, костер, дощатый стол, лавка с беседующими время от времени падает.

Действующие лица:

— Лена Абрамкина, выпускница педучилища;

— Андрей Краснов, работник малого предприятия;

— Олег Дурнов, работник Рыбинского авиатехнологического института;

— Алексей Папичев, механик кабельного завода;

— Лев Шишов, студент 5-го курса РАТИ.

— «20-я комната».

«20-я комната». В маленьком городе идешь по проспекту Ленина — с тобой поздороваются раз 15—20, или просто кивнут, или заметят — это плюс?

О. Д. Это палка о двух концах. Действительно, придешь на дискотеку, скажем, на «утильку» (это у нас центровая) — можно даже руку не опускать, а вот так идти, как по волне. Но ежели в чем-то «проколешься» — резонанс будет мощнейший.

«20-я комната». Ну, а жить-то после этого можно нормально?

О. Д. В принципе можно.

«20-я комната». Молодежь Москвы и Питера эмигрирует на Запад, а для провинции, вероятно, эмиграция в Москву или Питер?

Л. Ш. Это, видимо, в крови. Но с годами понимаешь: где родился, там и пригодился.

А. К. Ехать — не ехать?.. Народ у нас не совсем провинциальный. Ночь до Москвы. И многие живут теми же столичными проблемами. У нас та же мода, музыка, даже цены...

А. П. А что в Москве? Развлечений больше, есть на что посмотреть? Ну, красиво там.

«20-я комната». А в Рыбинске — красиво?

А. К. Могло бы быть.

О. Д. Загажено все.

Л. Ш. Старина нам осталась красивой...

А. К. Рыбинск действительно особенный. Ведь это был очень богатый город. Здесь хлеб был. А хлеб — золото. Миллионеров было полно. И потому строили добротно, красиво, основательно. А вот что осталось — сами видите... Однако мне хотелось бы вернуться к тому, что «все всех знают», — можно? Мне кажется, мы не договорили... У нас в принципе не может быть таких феноменов, как, скажем, неизвестные политические лидеры. Как Жириновский, к примеру. Все знают — этот болтун, а этот лезет, где потеплее.

Л. А. Но такая замкнутая атмосфера и очищает. Все поступки ты совершаешь с оглядкой на то, как это отразится и оценится.

А. К. С одной стороны — очищает, с другой — наверх вылезает определенная группа и уже намертво держит свое. Ведь поначалу народ очень круто был настроен. Провалили на выборах секретаря горкома, мэра бывшего. Но все потом пролезли. Где-то дровишки в деревню завезли, где-то дефицитик...

«20-я комната». А если привезли дровишки и люди голосуют «за», они достойны других вождей?

А. П. Вот у нас на заводе рабочие пообедают в столовой и говорят: «Какую дрянь нам привезли. И не платят ничего, и...» И пошло-поехало. Я не призываю собирать винтовки, но пока нас хватает только на треп в курилке, пока мы молчим, ничего не делаем, значит, достойны такой жизни. Вон в другом цехе отказались работать, без всякого оргкомитета, хотя сейчас, сами знаете, строго, закон есть, и — им пошли навстречу.

«20-я комната». Скажите — в житейском смысле — как здесь?

А. К. Как честно прожить, я не представляю. Женился, скажем, — кольца-фигольца, квартира — за однокомнатную «хрущевку» у нас в Рыбинске сейчас просят 25 тысяч. Родители сейчас в трубу вылетают со своими жизненными принципами.

Л. Ш. Одни мои знакомые живут в ожидании счастливого лотерейного билета, другие — верят в светлое будущее, не в коммунистическое, конечно, но все равно — в светлое. Но сами и пальцем не шевельнут, просто ждут.

А. П. Оклад у меня 335. Естественно, подрабатываю. 50—70 рублей, плюс разовые премии рублей 50 в месяц. Жена учится, родители немного помогают. Хочется машину, видик — а на какие, пардон, шиши? Думаю, с эстрадным театром миниатюр у меня что-нибудь получится, затеваю сейчас это дело, команду сколачиваю. Может, тогда «кривая вывезет», а пока...

«20-я комната». Рыбинск — город «оборонки», интеллигенция в основном «технарская». Отсутствие гуманитарного круга людей, интересов, мест сказывается, чувствуется?

О. Д. Не с чем, честно говоря, сравнивать.

А. К. Может быть, круг людей, которые хотели бы что-то иметь — в духовном смысле — в нашем городе такой же, как и в более крупных городах, но мы, безусловно, имеем меньше. Если к нам приезжают с гастролями, то, как говорится, второй или третий состав.

О. Д. Да, был у нас Театр песни Аллы Пугачевой, конечно, без самой Аллы. Обидно...

Р. С. С некоторыми из ночных собеседников мы еще встретимся. Они пока сказали не все.

МДГ

Нужна ли политика малому городу? Лидер рыбинских «демороссов», и республиканцев в частности, экс-коммунист и экс-аппаратчик Юрий Игоревич Белецкий, мягкий человек лет сорока, объясняет, зачем она. Она нужна, когда референдум, потому что нельзя выбирать из неозвученных или хотя бы необсужденных мнений. Она нужна для обсуждения чисто земских вопросов — в партийных структурах рождается новая школа хозяйствования, школа капитализма. В Рыбинске она нужна особенно — городу технической интеллигенции и образованнейших рабочих (операторов с высшим образованием) состязание идеологий дает пусть одностороннюю, но гуманитарную прививку. Наконец, она не только нужна, но и вынуждена на выборах, когда в дефицит попадают честные приемы борьбы.

Но как бы то ни было, политика в городе есть. Причем со странностями.

Нет, коммунистическое большинство и демократическое меньшинство горсовета — «Единство» и «Обновление» — на своих местах.

Странно, что почвеннический «Союз возрождения России» коллективно — 11 человек, фракцией, — подается в западническую Республиканскую партию. Странны и слова Белецкого в объяснение намечающегося альянса: человеческие отношения важнее политических программ, да и пора же закончить гражданскую войну. Странно, что республиканцы — первые по численности в городе, т. е. 30 человек, но что же здесь странного, говорит он, ведь КПСС не партия, а госструктура. Странно (для нас, напуганных в колыбели гласности аббревиатурой ВПК), что на фирмах «оборонки» вполнину поредел «контингент» коммунистов, зато естественно то, что половина оставшихся пенсионеры. Странно, что эти последние тянутся к «демороссам», во всяком случае, их немало среди сочувствующих новым рыбинским партиям: ветеранам ведь главное — высказаться и быть выслушанными, вот и названивают они, кто не ходит, ему, Белецкому. Странно, что лидер демократов вообще говорит о терапии ветеранских душевных травм. Странно далее, что предсовета — экс-директор и выдвиженец коммунистов — рыночник и по сути (по Бе-

лецкому) эсдек, да еще и не советует-ся с горкомом. Странно, что капита-ны «оборонки», засевшие во фракции большинства, охотно голосуют как бы против себя — за введение позе-мельной платы в пользу города. И странно еще, конечно, что, хотя наш гид и называет горсовет парла-ментом, но парламентские игры по-чти кончились. Словом, все в горо-де — «наши», не наших нет.

И все-таки странности, перечис-ленные выше, конечно, объяснимы. Следующая странность фантастична.

На прошлогодних выборах в Ры-бинске победила, по сути, третья сила, сила невиданная, победила не числом — от четверти до пятой депу-татского собрания, — а выбором ме-ста, стратегически сильного, как Фермопильский проход: в политиче-ском центре «парламента». От нее теперь зависит исход всякого колеба-ния политических весов. Называется эта сила — МДГ.

Короче, ядром политической си-стемы здешнего общества является... комсомол, точнее — проведенная им в Совет Молодежная депутатская группа, тридцать молодцов до три-дцати трех лет, бывших и настоящих комработников да примкнувших к ним деятелей. Лозунги победителей были чисто прагматические: все для молодежи — жилье, возможности бизнеса и социальная защита; эмпи-ричен и стиль работы МДГ. За са-мую конструктивную силу в городе почитает ее и Белецкий. Сам он за-в. орготделом горсовета, выше демо-краты поста не добыли; а вот выдви-женец МДГ Александр Смирнов — «Альбертыч», как зовут его комсо-мольцы, — однажды утром пошел на сессию, вернулся домой вторым че-ловеком в городе.

Смирнов — 1957 года. Кандидат наук. Преподавал в РАТИ (един-ственный вуз города). Зампредом Со-вета избран спонтанно. Вид при встрече имел спонтанно-отпускной. «Я знаю в городе все. Но не всегда знаю — как».

Мы стали говорить о делах — об общегородской программе, о стяжа-нии муниципальной и земельной соб-ственности, о плате за землю — глав-ном успехе Совета, о контрактных кадрах исполкома (Смирнов: «Я знаю, где и что не пойдет — некем взять»), о соучредительстве рыноч-ных структур... Земская активность поколения, к которому и мы принадле-жим и которому общественное мнение отказывало в гражданских достоинствах, — это такая бочка меда, которую критикой не изгор-чить, елеем не пересластить, в кото-рой — надежда.

В городе Рыбинске жив комсомол

Жив — вопреки гуляющим по стране волнам антикоммунизма. Жив — вопреки тому, что политика стала уделом Советов. Жив — хотя «комсомольская экономика», расцве-тавшая несколько лет назад, задуще-на налогами. Жив — хотя монополии на «работу с молодежью» у него

в Рыбинске нет — в горисполкоме летом 1990-го создан молодежный от-дел во главе, конечно, с бывшим комсомольцем Сергеем Лобастовым. Жив — хотя с 1989 года в комсомол перестали вступать, только в этом году несколько десятков школьников создали Союз учащейся молодежи под эгидой горкома, но — без поли-тической программы.

— У комсомола отняли все?

— Нет, — отвечает первый секре-тарь Рыбинского горкома ВЛКСМ Олег Васильев (26 лет, нечлен КПСС, на посту с февраля 1991-го). — Осталось самое ценное: структура, организация. Мы можем координировать на уровне города все молодежные дела. Вот ты спрашива-ешь — почему из комсомола не ушел. Не нужно от него бежать, как от чумы, нужно работать. Те же го-родские дни молодежи — кому орга-низовывать, как не нам?

— А деньги есть у комсомола?

— Аппарату их хватит еще на год, от ЦК ВЛКСМ имеем 40-тысячную дотацию. Крутимся, зарабатываем. Придумываем сами себе дела. Комсо-мол держится, потому что держится. А если завтра Ельцин скажет, что за департизацией должна пойти деком-сомализация? Ну, выгонят нас с предприятий, отнимут помещение у горкома, и что? И городская моло-дежь поймет, что ей все равно нужна массовая организация, ведь комсо-мольцев в Рыбинске 17 с половиной тысяч. И создаст ее снова, но 2—3 года будут потеряны.

— Комсомольская экономика Ры-бинска — комсомольская по назва-нию?

— Не совсем. Есть 7 молодежных центров при горкоме (досуг, строи-тельство, компьютеры). Вот мы вло-жили деньги в школу молодых ком-мерсантов — есть здесь и идеологи-ческий момент: хотим, чтобы она го-товила кадры для городской комсо-мольской экономики. Некоторые комсомольские секретари переводят средства в новые некомсомольские предприятия — я считаю, это амор-ально. Нельзя строить будущее на костях своей организации.

— Если государственные структу-ры по делам молодежи заработают как следует — зачем тогда комсо-мол?

— Тогда и можно будет всерьез заняться идеологией.

Сергей Лобастов, «сдернутый» в горисполком с завода, был краток:

— Горсовет утвердил специальную молодежную программу, очень обте-каемую по формулировкам. Проек-тов много, финансов мало. Из гор-бюджета выделили на год 45 тысяч, в городе создан Молодежный фонд, куда предприятия при нашем отделе перечисляют налоги (надеемся в этом году тысяч на сто) — вместо бюдже-та. Мы начали комплексные социо-логические исследования среди моло-дежи, чего никогда в Рыбинске не было. Уже видим, что срочно надо создавать медико-психологический центр «Человек», работает «телефон доверия». Создали филиал россий-ского центра «Молодые таланты», в планах — лицей: надо с детства

растить рыбинскую интеллигенцию.

— Ваши действия по проблеме «Безработица и молодежь»?

— Молодых безработных, по прог-нозам, будет к концу года в Рыбинске три тысячи. Причем везде рабочие руки требуются, но по специальности могут устроиться не все. В гориспол-комовскую программу было заложено, что четыреста молодых людей работы так и не найдут. Наше требо-вание было трудоустроить всех, и по-бедило (пока на бумаге) оно.

Куда уходят неформалы?

Андрей Краснов, 25-летний работ-ник малого предприятия «Светлана», известен тем, что в 1989 году пытался создать в Рыбинске Союз демократи-ческой молодежи.

— Что это был за Союз?

— Не было его по большому сче-ту. Программа — обычный демокра-тический джентльменский набор. По-литика оказалась никому, кроме 10—12 человек, не нужной. Да и как в нашем городе заниматься всерьез политикой? Выборы пройдут — и что?

— Ты, говорят, побыл и комсо-мольским секретарем?

— Да, на предприятии, когда рабо-тал в Ярославле по распределению. Ну что... приходили ко мне люди за рекомендациями в партию. Я спра-шивал: «Что ты делаешь, зачем ты идешь в эту партию?» Мне потом «наверху» выговаривали. Уволив-шись, ушел я и из комсомола.

— Политикой, ты считаешь, зани-маться сейчас незачем... Чем то-гда — экономикой, бизнесом?

— Естественно. Да не в политике, не в экономике дело — в самоутвер-ждении. Вот я читаю, как какой-ни-будь наш эмигрант гуляет по Брай-тон-бич. Он богаче меня. Но я не завидую. Я ощущаю себя лучше. В городе знают меня, знают, что я сделаю, чего не сделаю, — это цен-нее. Что касается экономики... Ты знаешь, молодому человеку сейчас невозможно жить честно, на зарпла-ту — надо крутиться.

— Ты хочешь сказать, что живешь нечестно?

— Не знаю. Вот известны мне цены в магазинах — здесь и в Мо-скве, Ленинграде. Куплю здесь, отве-зу продать в Москву — это честно? А если я, хорошо зная английский, подойду к иностранцу и что-нибудь ему предложу, — это честно или нет?

— Будь твоя воля, что бы ты устроил в Рыбинске?

— Что-нибудь вроде культурно-развлекательного центра. И еще — разрешил бы всем открыто спекули-ровать, но чтобы город от этого имел доход.

Карьера

(лирическое отступление)

Евгения Балагурова знал в Рыбин-ске чуть ли не каждый — задолго до выборов, департизаций, приватиза-ций. Балагуров имел счастье — или

несчастье — полюбить Рыбинск и отстаивать мозаичные кусочки его прошлого ото всех, кто покушался на старый дом или исторический вид. Покушались все — от горисполкома до «оборонки», КГБ. В 1989 году он устроил на центральной улице Рыбинска одновременно демонстрацию, сбор подписей и выставку в защиту двух сносимых домов. Дома снесли; Балагуров тогда работал в горисполкоме инспектором по охране памятников — и на том окончился первый тур романа провинциального российского интеллигента и власти. Второй тур не заставил себя ждать: Балагурова избрали в горсовет, конечно же, он вошел во фракцию «Обновление».

Историческим памятникам Рыбинска перестройка не помогла. Можно видеть целые улицы из одних фундаментов. «Предприятиям выгодно, — объяснял Балагуров, — не разбрасывать свое жилье по городу, а застроить компактный участок». Конечно, с предприятиями союзного значения маленькому городу спорить трудно. Да и желает ли он спорить? «Плач над руинами», — скажет зампред горсовета А. Смирнов об усилиях «охранщиков». Балагуров-депутат вносит на сессию запросы, Балагуров-общественник собирает подписи, ищет в Москве управы на своих выборных же депутатских начальников. Урицкого, 30; Ленина, 52 и 56; Ломоносова, 25 и 35; Радищева, 20 и 22; Дзержинского, 35, — как боевую сводку, диктует он мне адреса разрушенных домов. И, закончив, бросает:

— Я хоть завтра готов сдать депутатский мандат.

Боже, помилуй, вот и снова развод с властью. Ну отчего же, ведь и партия не давит, секретари горкома всерьез призывают в плюралистических «Рыбинских известиях» созывать чрезвычайный съезд КПСС, не сохранять «мнимого членства» и принимать новую программу (нам бы, Евгений Петрович, их заботы) — так зачем же уходите?

И вы говорите мне, что не только в памятниках дело, что ни один выносимый на сессию вопрос не проработан до конца, что люди терпят нужду, а начальники въезжают в хоромы, а народный контроль, отвоеванный демократами при дележе портфелей, вскоре был упразднен по всей России.

Что я все о Балагурове? Свет ли на нем сошелся клином? Нет, просто мне жаль. Жаль власть, которая теряет искренних, горячих и далеко не железных людей.

Жданов

Итак, «плач над руинами». Один из отцов программы «Исторический город», поддержанный на выборах Обществом охраны памятников, Смирнов, не знает сегодня, что делать во спасение руин, только плакать — отказывается.

С ним легко опускаться на грешную землю; да и вообще вниз — легче:

— Город исторический должен жить вливаниями рублей и валюты — это раз. На сотню строитель-

ных кооперативов Рыбинска — ни одной реставрационной марки, а государственных мастерских ближе Ярославля нет. Нет вообще специалистов проекта или исполнения. Надо отдавать строение городское иностранным, да совместным, да малым — отдаем. Вот три года назад отдали 45 домов — и только три стали с иголочки.

На Гаванской улице, на стрелке Волги и Черемухи, пахнувшей экокатастрофой речки, вокруг Казанской церкви лежат кварталы несбывшейся рыбинской мечты. Мечты о живом заповеднике старины. Две стройплощадки МЖК на Гаванской — осколки той мечты, некогда вызвавшей к жизни целое объединение МЖК «Стрелка» и молодежно-производственный центр «Итиль». Всякое было, а старина осталась дичать: заводам города вдвое-втрое дешевле выходит новый дом отстроить, а городской бюджет — долго ли протянет с МЖКовцами?

На Гаванской, 16, они снесли дом и такой же выстроили. К нему присовокуплен через общий холл странный корпус с полукруглыми остекленными балконами-эркерами, творение бывшего главного архитектора Лосева. Процентами за финансирование исполком забрал одну квартиру, а семь достались МЖКовцам за их пот и за веру. Ибо что нужно, чтобы стать жильцом вот этих двухэтажных квартир, вот этих треугольных комнат, этих эркеров?

— Да только вера. — Художник Андрей Калачев приглашает нас в свои трапезиовидные апартаменты. — Вера, осмеянная курилками нашего КБ. Нет, еще 6—7 тысяч кровных, доплаченных за то за се, за шифер. Так что приватизация — придет же время! — окуплена вполне. Но МЖК, соединяющие жилищные нужды молодежи с нуждой спасения центра, — метод утопический. Никаких денег не хватит для этого бедному городу, а малые вложения — уже намеки на желательность новодела.

Каких бы «усилий» ни стоило снести, чтобы вновь построить, очередные проблемы счастливиц тяжелее: коммуникации, санитария, стоки...

Да, а что же за имя — Жданов?

Александр Михайлович, типичный белесый волжанин средних лет, принимает нас в гостиной с трех окон на два ветра, с выходом в башню-балкон, со стеной, вбирающей в потолок — как бы вливая смежную комнату, с не выложенным еще камином, с советской еще мебелью. Мастерская, детская, комната для гостей, холл, два... — слово «санузел» здесь не пристало — 40 метров жилой да 50 на разбег площади — все пять этажей многолюдной квартиры (строго два плюс погреб, мансарда и шатер башни), соединенные кручеными лестницами, — уже нами осмотрены. Дом на Пушкинской, 52, теперь усилиями Жданова бетонный (хотя бетон фигурный), обшит доской, с навешенной декорацией. Декорация повторяет погибший подлинник с точностью астрономической, поскольку прототип — богатейший,

но ветшавший купеческий особняк стоял почти до конца новостройки. Иначе Жданов отказывался брать за дубликат.

Мы говорим с хозяином о малом предприятии «Дом», где Жданов капитан, а десять соседей и соратников по МЖК — члены команды. Когда членов будет на порядок больше, десятеро будут бригадирами, и десять будет объектов. Все они — художники, а Сам — «интерьерщик», дитя Строгановки в Москве.

«Дом» проектирует, реставрирует, строит для частных — читай: «конкретных» — лиц. Сам за архитектора, друзья, живущие за стенкой, — за мебельщиков, лепщиков, резчиков, ковщиков, всяческих декораторов. Уездный архитектор со своей школой-артелью — вот что такое Жданов. В артели еще дилетанты, но работников «сизжу — куру» Жданов не примет.

Речь его торопится с предмета на предмет. Он не хочет запихивать фантазию в коробки не им построенных домов. Он будет строить дома-растения, дома-организмы, дома-изсебя, дома «с кишочками». Он не делатель ночлежек для 16 бедных студентов, он закройщик и портной персональных костюмчиков. Он не возьмет спонсорских манн, а начинает с собственных уставных копеек — малых заначек независимости. Вам полагается 30 метров? Хотите, он раскидает их на пять уровней, от флюгера до грунта, и вы только самую малость устанете от винтовой закрутки вашего домашнего существования? Зато у вас будут свои пять метров кровли, за протечку которых отвечаете только вы, конкретный буржуй. И отвечаете, собственно, перед собой. Жданову заказаны и строятся: дома на 8 и на 3 квартиры, офис, мастерские... Жданов уже не остановится.

С помощью Жданова легко отрываться от земли.

Тургеневская девушка Лена А.

— Ты все больше молчала при общем разговоре...

— Когда я раньше мечтала уехать в Питер, прежде всего думала о будущих детях. Если я никогда не имела возможности сходить в Большой театр, на приличную выставку, то пусть хоть они, как говорится. Но мечты остались мечтами.

— Ты давно замужем?

— Не замужем я... Нам сейчас расписаться — значит основательно сесть на шею родителям. Если от них отделиться, то уровень жизни станет настолько низким... Вот так и живем: я у родителей, он рядом квартиру снимает.

— Чем твое свободное время занято?

— Если бы у нас в доме не шили, если бы я сама не шила, вероятно, были бы проблемы, где и как одеться. А так мы всю жизнь с этим связаны, с модой, журналами.

— Возможно ли, чтобы ты когда-

нибудь открыла частную мастерскую?

— Ну, для этого надо уметь очень хорошо шить.

— А мужчины в Рыбинске — джентльмены?

— Джентльмены?.. Не знаю, у меня жизнь очень замкнутая, мы никуда не ходим, никуда абсолютно. Если какие-то «мероприятия» случаются, то они только разочаровывают.

— Твои школьные подруги остались в Рыбинске или разъехались?

— После школы прошло четыре года, я училась в РАТИ, потом бросила, закончила педучилище... У меня и подруг-то не было. Я только знаю, что многие мечтали, очень мечтали. Потом у кого-то получилось, у кого-то нет. Хотя неизвестно, кому больше повезло. Ведь так вот живешь в здешнем мирке, потом как-то вырываешься — и чувствуешь такую жестокость вокруг... Если бы я была одинокой, я бы не выдержала.

— Как ты дальше представляешь свою жизнь?

— Планы?.. Училище я окончила из-за диплома, откровенно говорю. Но работать я по этой специальности, конечно, не пойду. Что у нас делается в дошкольных детских учреждениях, известно. Мне страшно становилось, когда у нас практика была.

— Ну а, может, ты что-то сможешь там изменить?

— Сама, одна?.. Нет, я не борец.

— Тогда где ты будешь работать?

— Работать? Буду дома сидеть пока. Чтобы стаж шел, положу куда-нибудь трудовую книжку. Подрабатывать буду, у меня машина вязальная, буду вязать, шить... Языком займусь.

— Медленный темп жизни в провинции тебя устраивает?

— Иногда даже думаешь: лучше уехать куда-нибудь в глушь, в деревню... Я мечтаю иметь свой дом, большой, основательный, обязательно деревенский такой, бревенчатый. Иметь много детей. Но для всего этого нужно экономическое основание крепкое. Нужно что-то делать, вот именно ускорять темп жизни. Но посмотришь по сторонам: когда люди начинают что-то делать — зубами вгрызаются. Боюсь в этой гонке что-нибудь растерять...

Военный коммунизм

Вы ни за что не догадаетесь, где в Рыбинске можно купить персональный компьютер или свинины на обед. Погуляйте по рыбинским магазинам, где случаются драки в хлебных очередях, а за молоком занимают с трех часов ночи, — и вы не поверите, что в городе есть такое место.

Попал я туда совершенно случайно и совершенно инкогнито. Серый забор на главной улице, солдаты на проходной. Штаб воинской части. В столовой я не удержался, скользнул взглядом по разложенному на буфетном прилавке мясу и съел обед из четырех блюд, стоивший мне два с половиной рубля. (Для сравнения: поджарка в гостиничном буфете —

почти пять рублей, тарелкапельменей в городском общепите — три рубля без каких-то копеек.) Ладно, это военные, успокаивал я себя. У них свое снабжение и свои цены, имеют право. Но почему так много «гражданских лиц»? Жены командиров? Сколько же тут командиров? А эти? Сыновья полка? Великоваты.

— Пускают сюда с разрешения командира части, — объяснили мне перед тем, как показать еще одну «сокровищницу».

«Сокровищницей» оказался магазин, где стоял на полке дешевый персональный компьютер, где желающим предлагали купить мебель, где полки и вешалки скрывались под слоем игрушек, курток, шмоток... В продовольственном отделе лежали икра, масло, гречка; правда, таблички предупреждали, что отовариваются здесь по специальным спискам. И не только армейцы. Уверяют, что и офицеры КГБ сюда входят. Это был, по рыбинским меркам, почти коммунизм. Военный, спрятанный за забором.

На следующий день я постучался в ворота части, вытащив удостоверение. Был препровожден к начальнику военно-политического отдела подполковнику Рослякову. Виктор Васильевич сказал мне, что цены в столовой ниже городских, может быть, на несколько копеек, а в магазине, кроме военнослужащих, никто ничего купить не может. Офицеры госбезопасности, по его словам, были к магазину прикреплены до начала 1991 года, а теперь переведены на «довольствие» в магазин гарнизонный.

Мне, честно говоря, не очень-то верилось — мешало все увиденное накануне и тот факт, что, не будучи военным, в магазине я был. Да и машины к проходной подъезжают отнюдь не только армейские...

Уезжая из Рыбинска, я спросил знакомого депутата горсовета: как это все ему нравится? «Я об этом даже ничего не знаю», — было мне ответом.

Борьба за социальную справедливость идет в Рыбинске с переменным успехом. Успех одной стороны — например, квартира улучшенной планировки, успех другой — разоблачительная публикация в газете. Не стану пересказывать длинного списка взятых на прицел депутатской комиссией, контролировавшей распределение рыбинского жилья. Скажу лишь, что в общей городской очереди на жилье — 2232 человека, в льготноветеранской — 296, в «многодетной» — 129. Квартиры же в новых домах с улучшенной планировкой получают (в крайнем случае претендуют на них), как водится, секретарь Рыбинского райкома КПСС А. А. Ильвес, директора предприятий, работники горисполкома, первый секретарь горкома КПСС А. А. Кудряков. Очередники же въезжают в их старые квартиры — «с барского плеча».

Честно говоря, Рыбинск, похоже, так отвык от нормальной жизни, что и перед неожиданными подарками судьбы просто пасует. В июне Москва вдруг отвалила рыбинцам

огромную порцию мяса — выяснилось, что в городе его негде хранить, а магазины просто отказывались его принимать.

Тройка, трость и котелок

В Рыбинске издается первый в Ярославской области частный журнал. Название не без претензий — «Русский голос». Учредитель и главный редактор Лукичев Михаил Александрович — выделено крупно.

Бывший корреспондент «Верхневолжской правды» (ныне «Рыбинские известия»), 24-летний Михаил Лукичев тянет на себе все издание — «от корки до корки» — и Дело, которое, в свою очередь, вытянул журнал. «Русский голос» — это теперь и малое предприятие, занятое посреднической деятельностью, издательскими услугами и даже строительными работами.

Внешний вид Михаила Александровича весьма благообразен. Аккуратная прическа, окладистая рыжая борода, очки. Я мысленно примерил к нему ладно сшитый костюм-тройку, трость, котелок: вылитый дореволюционный издатель-редактор из учебника по истории журналистики.

Внутренний мир Лукичева также строен и благообразен. «Православие — наша духовная основа», — заявляет № 1 во вступительном слове к читателям «от редакции», то есть от самого Лукичева, поскольку вся редакция — он один.

В нашей беседе Миша обозначил свои взгляды как правоцентристские; ему близки, в частности, идеи Солженицына. В возрождении русского национального самосознания, духовности и нравственности, в продолжении традиций русской культуры видит учредитель и редактор основные задачи «Русского голоса».

В политическом же смысле журнал не намерен ограничивать ни себя, ни авторов. В первом номере член «Демплатформы» депутат Рыбинского горсовета Владимир Смирнов без обиняков чеховит КПСС, местных партийных лидеров и советскую власть вообще. Во втором — еще «левее» и радикальнее выступает председатель оргкомитета Рыбинского союза рабочих Леонид Губанов. В третьем же номере — позиция крайне правого ярославского монархиста Козельского. Было предложено выступить и первым коммунистам города, но вот что-то они не спешат...

Свою независимость, кстати говоря, Лукичев продемонстрировал еще в то время, когда искал бумагу, переходя из одного высокого кабинета в другой. Сразу не отказывали, и то приятно. Но живо интересовались, о чем будет писать. В этом вопросе сквозило не праздное любопытство, а начальственное стремление к цензуре. На фабрике «Маяк» долго спорил с пожилым директором Диевым: что нужно печатать в прессе, что не нужно. Бумаги Диев так и не дал, но нашлись все же люди, разделившие цели и задачи «Русского голоса».



1. Молога. Вид с реки.
2. Воскресенский (Старый) собор.
3. Перед затоплением. Взорванный Воскресенский собор растаскивают бригады з/к.
4. Югская Дорофеева пустынь близ Мологи.
5. Затопленный Борисоглеб — усадьба Мусиных-Пушкиных.

А нынче и вообще «малина». По лимитам от российского министерства печати, куда обращался Лукичев и где за его журнал хлопотали несколько народных депутатов РСФСР, и в частности архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, на издание «Русского голоса» выделено аж 4 тонны бумаги, и не какой-нибудь газетной, на которой, кстати говоря, пятитысячным тиражом и печатались (и скверно, надо сказать) первые номера «Русского голоса», а «типографской № 2».

Журнал Михаилу убытков не приносит, хотя стоит всего рубль, а плата за типографские услуги, как известно, растет не по дням, а по часам. Но и прибыль невелика — что-то около тысячи с каждого номера. Тираж первого — через «Союзпечать», мальчиков на улице, через проводников в поездах разошелся быстро и почти полностью — на 90 процентов. Второго — пока процентов на 85.

Материалов, как уверяет Лукичев, на десять выпусков вперед. Есть письма, около 80 в месяц. «Русский голос», как стало недавно известно, попал даже в Библиотеку конгресса США.

Первый! Частный!.. Когда-то в маленьких российских городах выходило в свет до сотни печатных изданий. Традиция, как известно, была насильственно прервана. Михаил Лукичев — один из первых реставраторов той незабываемой забытой старины. Осталось только приобрести тройку, трость и котелок?

58°13' северной широты; 56°7' восточной долготы

(В альбом «Русской экспедиции»)

Мы будем писать о Мологе кратко, ибо писать пространно — растревать ненужную боль. Мы не станем описывать исчезнувшие храмы и монастыри, усадьбы и села — вы их рассмотрите на фотографиях.

У Рыбинска есть призрак: Советский Китеж, советская Атлантида — уездный город Молога, поглощенный водами Рыбинского водохранилища. Китежа, конечно, под водой нет. Груды кирпичей на месте разобранных зеками соборов, мощные улицы под слоем ила, кладбище с покосившимися оградками — вот что осталось на дне. В засушливые лета мертвый город может вынырнуть из воды, и лодка доставит вас в этот потусторонний град (координаты в заголовке; здесь когда-то была самая северная точка Волги).

Молога-призрак напоминает Рыбинску о миновавшей его злой судьбе. Построили бы ГЭС ниже по реке (ведь проектировали и у Ярославля) — и мог бы он кануть. Но Сталин, оценив гигантский размах проекта, начертал: «Я за», на докладной записке инженера Федора Логинова, сторонника строительства ГЭС выше Рыбинска. Так решилась судьба мологской страны.

Конечно, город можно было спасти, хотя бы оградив дамбой. Но Сталин не дал указаний о Мологе. Во-

дохранилище разлилось окончательно к 1947 году, заняв 8 процентов территории Ярославской области. Город скрылся под водой в 1951-м.

В сентябре 1936-го мологжан соизволили предупредить о переносе города. Дали срок два месяца, пока не замерзнет Волга. Чиновники быстро «обследовали» все дома частного сектора и треть из них признали к переносу негодными. Их жителей просто выкинули на улицу и приказали в течение месяца покинуть Мологу. Остальным выдали нищенскую компенсацию на перевоз домов. (Это жильцы, конечно, должны были проделать самостоятельно. «Волгострою» НКВД было не до того.) И начались, и растянулись на несколько лет мологские страдания. Плыли по Волге плоты с наспех уложенным скарбом, престарелых и одиноких собирали в инвалидные дома, с муками устраивались переселенцы в «Новой Мологе» — на болотистом берегу напротив Рыбинска.

Нет, не обошла Рыбинск стороной эта беда. Вот же, живут они в нем — люди, у которых электрификация плюс советская власть в прямом смысле слова отняли родину, в чьих паспортах означено мистическое место рождения, которого нет на карте.

И еще в 1970-е годы мологжане стали собираться — вспоминать и поминать Мологу. И вот уже ежегодны эти встречи, и со всех концов страны съезжаются в Рыбинск люди, возлагают венки на воду, собирают старые фотоснимки, пишут воспоминания. И город отдал часовню мологского Афанасьевского монастыря — в ней будет музей Мологи.

И от проклятий в адрес «рукотворного моря» один шаг до идеи — спустить водохранилище, возродить город! Сыплются аргументы — Рыбинская ГЭС по нынешним временам маломощна, водохранилище подтопляет окрестные земли, огромная его часть — безрыбное мелководье (треть моря — глубины меньше 2 метров), где летом гниют водоросли, а корабли все равно ходят над руслами затопленных рек.

Энергетики возражают. Г. М. Даниярова, главный инженер Управления эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ, говорила в апреле 1991 года на «Днях памяти Мологи», что Рыбинское водохранилище — часть Волжского каскада, что защищает оно от паводков Рыбинск, Ярославль и Тутаев... И главное — что плодородные почвы на дне уцелели лишь местами, что дно рукотворного моря — это ил да полусгнивший лес. Спусти воду — и откроется в центре России пустыня в 5,5 тысячи квадратных километров.

Да, в 1930-е годы умели «преобразовывать природу» так, что попробуй теперь исправь. Кто станет возрождать мологскую пустыню, если и незатопленные-то земли в запустении?

Есть и план компромиссный — понизить уровень Рыбинского моря, что, по уверениям специалистов, создаст трудности судоходству.

Дебаты продолжаются, из воды по-прежнему торчат кое-где церкви, а под ней покоятся 663 деревни и Мо-

лога. Не одинока она в ряду советских Китежей — Весьегонск и Ставрополь-на-Волге, Калязин и Корчева... А китежане поневоле ждут лета, чтобы снова вернуться хоть на миг в свою мологскую юность.

О тех, кто не спит

Имя Н. К. Крупской навеки вписано в историю Рыбинска, даже если площадь переименуют. «Крупа» — так зовется место молодежной тусовки. Часов в 10—11 вечера «на Крупе» еще толпятся, курят, негромко разговаривают. К часу ночи площадь пуста. Жизнь перемещается во дворы.

Хотя Рыбинск и тих, но редкая ночь обходится без крови, а иногда и постреливают.

Ночные сцены в дежурной части городского УВД. Не находит себе места в ожидании «скорой» 25-летний парень с ножевой дыркой в боку; материт милиционеров. «Дал бы я тебе, если бы не рана», — не выдерживает старшина. «Ну дай, что же ты...» Юноша, задержанный нетрезвым на улице, взывает к дежурному: «Я только вчера из армии! Вы в Азербайджане были? Смерть видели? Я видел! Три раза! Вы в армии что — никогда не пили?!» — «Пил, но не попадался».

Третий час ночи. Езжу по городу на патрульной машине. По тихой улице медленно движется пожилая пара. Наметанный глаз сержанта различает в кромешной темноте — мужик сильно побит. Точно — весь в крови. Кто бил? Всхлипывая и матерясь, женщина объясняет, что побитый — ее муж, а обидчик — ее 28-летний сын, Вадик. Бьет их — «то вместе, то поврозь, а то попеременно» — уже полтора года. Сержант думает, где искать, пробегает по соседним дворам, потом машина трогается с места под плач и матерщину, кружит вокруг Соборной площади и дожидается идущего по ночному проспекту нетвердой походкой человека. Сержант приоткрывает дверцу и зовет почти ласково: «Вадик, иди сюда».

...Всю дорогу до управления Вадик надрыгается из зарешеченного убежища: «Ну, мать, удружила! Ну, ты даешь! Погоди, вспомнится тебе», — а мама отвечает скорее своему внутреннему голосу: «Посажу наконец, натерпелась!» Продираясь сквозь мат, сержант ведет беседу с главой семьи, который грозит отомстить: «Как?» — «Что, у меня друзей нет?! Ты меня в какую камеру?» — «Сидели у нас?» — «Да». — «За что?» — «Убийство...»

Циники (не по Мариенгофу)

Рыбинск до начала 1991 года редко вспоминал своих граждан, стоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Пока трое из них не стали убийцами.

Вот первый, Станислав Белов, 17 лет, ранее судимый и сидевший, выходит из дому 1 января 1991 года, сталки-

вается в своем подъезде с человеком и бьет его несколько раз ножом по лицу и в живот. Через три дня тот умирает в больнице. На следующий день Белов встречает около полуночи возле бани в пригородном поселке свою знакомую и ровесницу Наташу. Что-то у них не заладилось, Наташа получила два удара ножом в шею, один — в пах и скончалась на месте. Нашли ее утром на снегу, совершенно голую и зверски изрезанную.

Второй: Володя Ш. (следствие еще не закончено), 15-летний мальчик, в ночь на 24 января 1991-го убил во дворе собственного дома, в сарае, 16-летнюю девушку. Сначала он душил ее, затем повалил и наступил на горло ногой, потом задушил снятыми с нее же колготками. В сарае и оставил, нашли девушку лишь через некоторое время, опять-таки совершенно голую.

Наконец, Анатолий Г., уже в мае, помог некоему (взрослому) В. Н. Альцеву убить его 78-летнюю бабушку — прямо в доме, где она, должно быть, нянчила в свое время внука. Толик три раза ударил старушку ножом в живот, семь раз — в грудь, а потом перерезал ей горло. Взяли они у бабушки (в этом была цель) — прописью: двести семьдесят шесть рублей.

Переписать всю эту «чернуху» из милицеских протоколов просто. Сложнее хотя бы попытаться объяснить себе: как существа, сохраняющие полное и правдоподобное сходство с людьми, могут так действовать? Не сочинять юным возлюбленным сонеты, а раздевать их догола на морозе и резать ножом? О почтительности к бабушкам как-то смешно и вспоминать.

Разговор с начальником «отделения по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» Рыбинского ГУВД Владимиром Тихоновым и начальником инспекции по их делам Валентиной Пономаревой вертит в кругу обычных причин: пьянство, неблагополучные семьи, жестокость, насилие. Тихонов роняет, что инспектора просят разрешения иметь баллончики с «Черемухой» для встреч с подопечными. Пономарева удивляется, что подростки на вопрос: «Можешь ли ты убить?» — отвечают: «А что особенного?».

А я вспоминаю беседу с Ларисой Беловой, ответственным секретарем горисполкомовской комиссии по делам несовершеннолетних: Толю вообще хотели снимать с учета, Володя за полгода до убийства «дрожал перед комиссией, как осиновый листочек», чтобы очередное его «мелкое» дело не пошло в суд... Они казались — да что там! — просто детьми. А оказались — кем?

Парадоксально, но в нашу эпоху оплевывания социализма и коммунизма эти трое из «молодой смены» города Рыбинска — представители типа «гомо советикус» в полном его развитии. Скорее «гомо коммунизм». Они уверены, что имеют право — по потребностям. С каждого. А зона — «чего особенного», просто меньше размером.

...Станиславу Белову не хотелось снова в тюрьму (он вышел на свободу

летом 1990-го, а на учете стоял с 8 лет, так и вырос под милицеским присмотром). Через несколько дней после ареста он дождался ночи, написал на папиросной пачке «Х... вам, ментам, а не Белов», сплел веревку из распушенного матраса, зацепил за решетку — и повесился в камере изолятора временного содержания, что размещен в Рыбинске в давно закрытом Софийском монастыре.

Владимир Тихонов на прощание рассказал мне, что в марте на совещании в Ярославле он слушал социолога, который уверял, что молодежный Рыбинск ждет в недалеком будущем судьба Казани с ее «командами». «Не верится», — повторял он.

В погоне за «Белой лошадью»

Рыбинский музей, конечно, не Третьяковка, но закрылся недавно на ремонт по-солидному — лет на шесть. В стенах трещины, в подвалах стоит вода...

К этим бедам добавилась в июле еще одна — ограбление. Из музея украли картину Верещагина «Белая лошадь».

— Кто украл — заезжий, местный, хранитель ли — не знаем, — скажет замначальника РУВД Александр Киселев. — Когда украл, тоже не знаем. Это ведь сейчас, в июле, ее только хватились, нашли под лестницей у выхода пустую рамку. Саму «Белую лошадь» последний раз видели в мае. Как удалось украсть? В музее ремонт, картины сняли со стен, сложили в одном из крыльев. Открой замочек, заходи и бери.

— Надежды на успех следствия?

— Может быть, «Белая лошадь» уже в Бонне. Или в Бресте. Мы сообщили в Москву, но на таможенную надежды слабые.

Рыбинск, по уверениям его милицеских начальников, не входит в зоны влияния «больших мафий». Разве что кто-нибудь приедет «отлежаться». Но вывоз антиквариата «поставлен» профессионально — иконы, бывало, за несколько часов проделывали путь до границы.

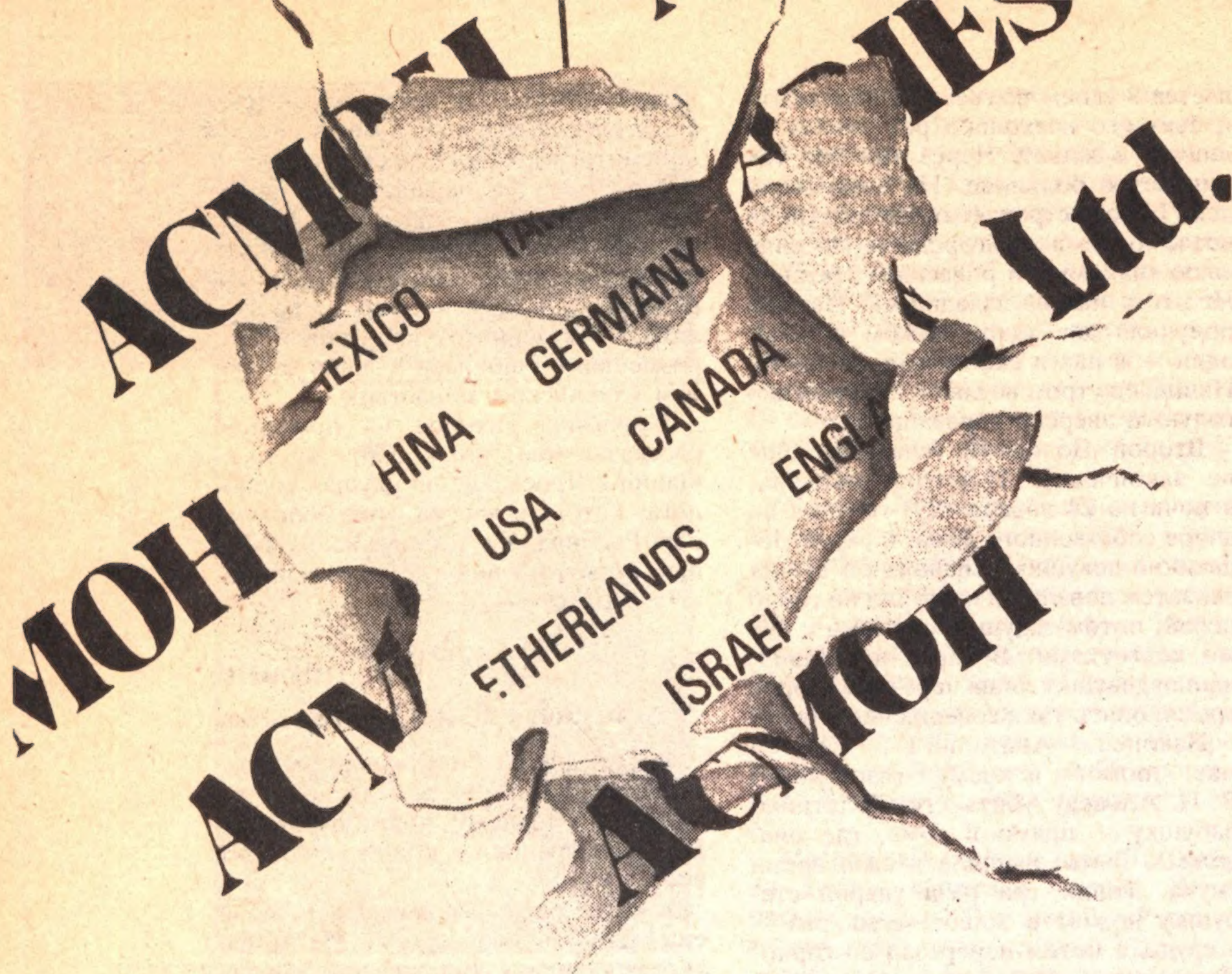
— Церкви не трогают — они прикрыты сигнализацией, — рассказывает Александр Киселев, — а в частные квартиры врываются нагло, с оружием. Раньше хоть выжидали, пока уйдут хозяева, теперь просто запирают их в ванной. Недавно вынуждены были задержать группу 14-летних подростков, делавших бизнес на продаже икон. «Легкие деньги, легкая работа», — вздыхает Киселев.

На этой ноте обрывается рыбинская «симфония».

Александр МАЛЮГИН
Константин МИХАЙЛОВ
Рустам РАХМАТУЛЛИН

Рыбинск.
Июль 1991 г.

Р. С. от 21 августа. 19-го, в первый день, президиум Рыбинского горсовета заявил о следовании Конституции и поддержке правительства России. Картина Верещагина тем временем нашлась.



УЧЕБА, РАБОТА И РЕКЛАМА В США И КАНАДЕ

Ассоциация Содействия Международному
Образованию и Науке
«АСМОН/ARIES», Ltd.
предлагает:

●РЕГИСТРАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: информационный буклет, регистрационно-вступительные формы в любые 3 североамериканских университета, каталог фондов финансовой поддержки (около 100) для учащихся и научных работников — 135 руб.

●РАЗЛИЧНЫЕ ПОСОБИЯ для подготовки к экзаменам TOEFL, GRE и т. д.

●ПРОВЕРОЧНЫЕ TOEFL — ТЕСТЫ. Регистрационный взнос — 50 руб.

●ИНФОРМАЦИЮ ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ: США (более 600 университетов, их адреса и характеристики) — 119 руб.; других стран (Израиль, Англия, Германия и др.; 24 университета, полная информация, технический профиль) — 17 руб.

●РЕГИСТРАЦИЮ КАНДИДАТОМ на соискание контрактного (6 месяцев — 3 года) места ассистента лаборанта, техника для работы в университетах США (вышлите краткую автобиографию на английском языке). Регистрационный взнос — 38 руб. (+ 5% от суммы контракта).

●РЕКЛАМУ научно-технических разработок в США и КАНАДЕ, содействие в заключении контрактов на выгодных условиях — 620 руб. (+ 3% от суммы контракта).

●ПОЛНЫЙ ПАКЕТ документации для получения финансовой поддержки ваших исследований из крупнейшего научного фонда мира — NSF (научные проекты в более чем 35 областях науки и техники, финансирование конференций, стажировок, заключение контрактов) — 1000 руб.

Все высылается наложенным платежом.

НАШ АДРЕС: 115304, Москва, ул. Медиков, 20, а/я 731.

Если у вас есть вопросы, укажите в письме свой номер телефона.

МЫ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВИМ ВАМ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, НО И ПОМОЖЕМ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ!

В НОМЕРЕ:

Проза

Василий АКСЕНОВ. Московская сага. Роман. Продолжение (23)

Наследие

А.СКАЛДИН. Странствия и приключения Никодима Старшего. Роман. Продолжение (34)

Борис ПОПЛАВСКИЙ. Домой с небес. Роман (56)

Вернисаж поэта

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Рензю. Хроника из жизни крестиков и ноликов (10)

Джон РАССЕЛ. Русский поэт открывает новый вид поэзии (32)

Поэзия

Ханс Бернхард НОРДХОФФ (33), Елена ШВАРЦ (47), Юрий АРАБОВ (54).

Публицистика

Последний вздох сатаны? Хроника путча (2,83,84)

Юрий БЕЛИКОВ. Не поднимай голову, когда свистят птицы (76)

Кризис власти. Беседа Константина МИХАЙЛОВА с доктором философских наук Анатолием АНТОНОВЫМ (79)

Опасность новой закрытости. Беседа Константина ПУШИЛОВА с секретарем Конституционной комиссии РСФСР Олегом РУМЯНЦЕВЫМ (82)
20-я комната. Журнал в журнале. Выпуск № 6/45 (89)

Культура и искусство

Михаил ЛЕВИТИН. Книга, написанная второпях (48)

Почта «Юности» (81)

Зеленый портфель

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ. Любовь еще быть может... (86)

Владимир ВИШНЕВСКИЙ. Иронические стихи (87)

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи и не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Технический редактор Ольга Трепенко
Художественный редактор Юрий Петелин
Оформление рекламы Вадима и Владислава Игониных.

Сдано в набор 04.08.91. Подп. к печ. 09.09.91
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 999 000 экз. Заказ № 784.
Цена 1р. 75к.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. Горького, 32/1.
Телефон для справок: 251-31-22.
Отдел рекламы: 251-14-21.

Типография издательства «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Игорь МОХОВ г. Симферополь.

Взгляд свысока на микроорганизмы может оказаться опасным заблуждением. А вдруг те самые лишайники и мхи, которые мы попираем ногами, и есть как раз высшие, космические формы жизни и в них концентрируются инопланетные сущности? Способен ли хотя бы один человек к фотосинтезу, иными словами, может ли он брать энергию прямо из света, минуя омерзительные насилия и убийства других существ? С другой стороны, практически никто не может устоять против вируса гриппа, и этот, с позволения сказать, простейший организм побеждает, укладывает на обе лопатки миллионы людей. Те самые духи, таинственные и могущественные, о которых твердили все религии древности, невидимые и грозные, занесены учеными в разряд «простейших». Ничего себе простейшие!

Почти на всех полотнах Игоря Мохова кипит мелюзга из закорючек, жгутиков, ложноножек, митохондрий, а над ними парят — уже в космическом масштабе — те же митохондрии и хлорофиллы. А человек — посредине, он лишь грань, граница между макро- и микромиром, как между молотом и наковальней... Но люди, лица редко встречаются на полотнах Мохова — ему интересней космические птицы, энергетические структуры, в которых непонятным для жителя Земли образом в гармонию вступают звезды.

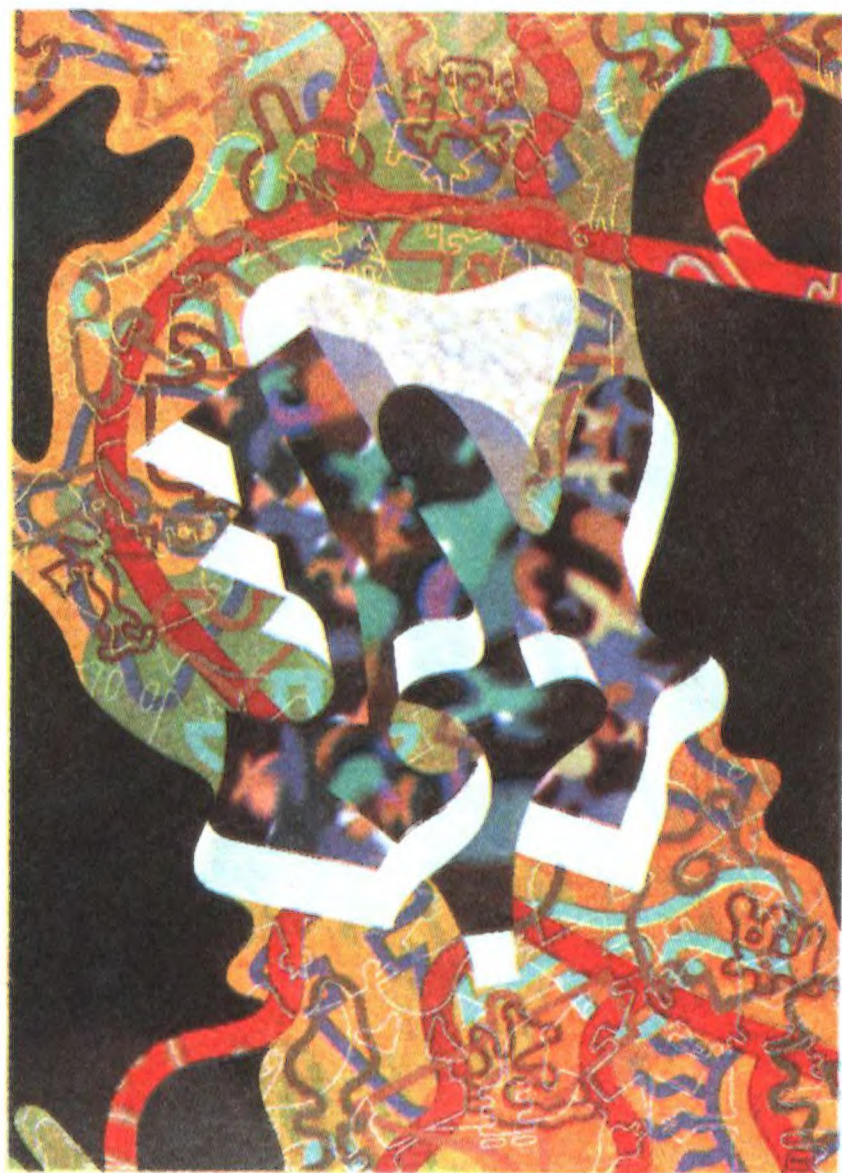
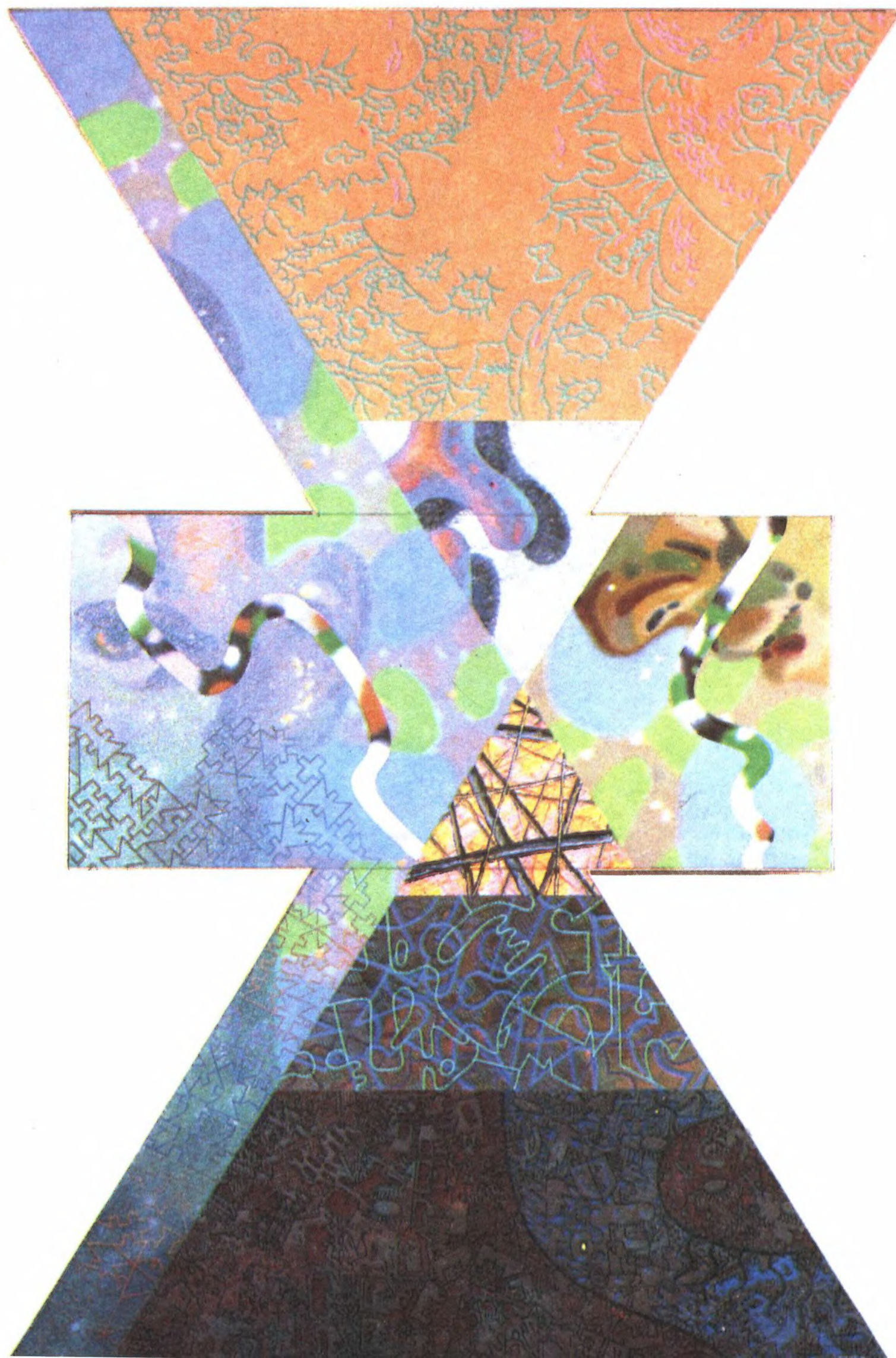
Игорь Мохов делает своими картинами то же, что делали до него книгами Роберт Шекли, Стивен Кинг, Урсула Ле Гуин и другие писатели-фантасты. Не плоские битвы между треугольниками и квадратами, а проломы в другие измерения, в другие пространства, осознание свободы и духовности как главных ценностей — в этом пафос работ Игоря Мохова.

Юрий НЕЧИПОРЕНКО



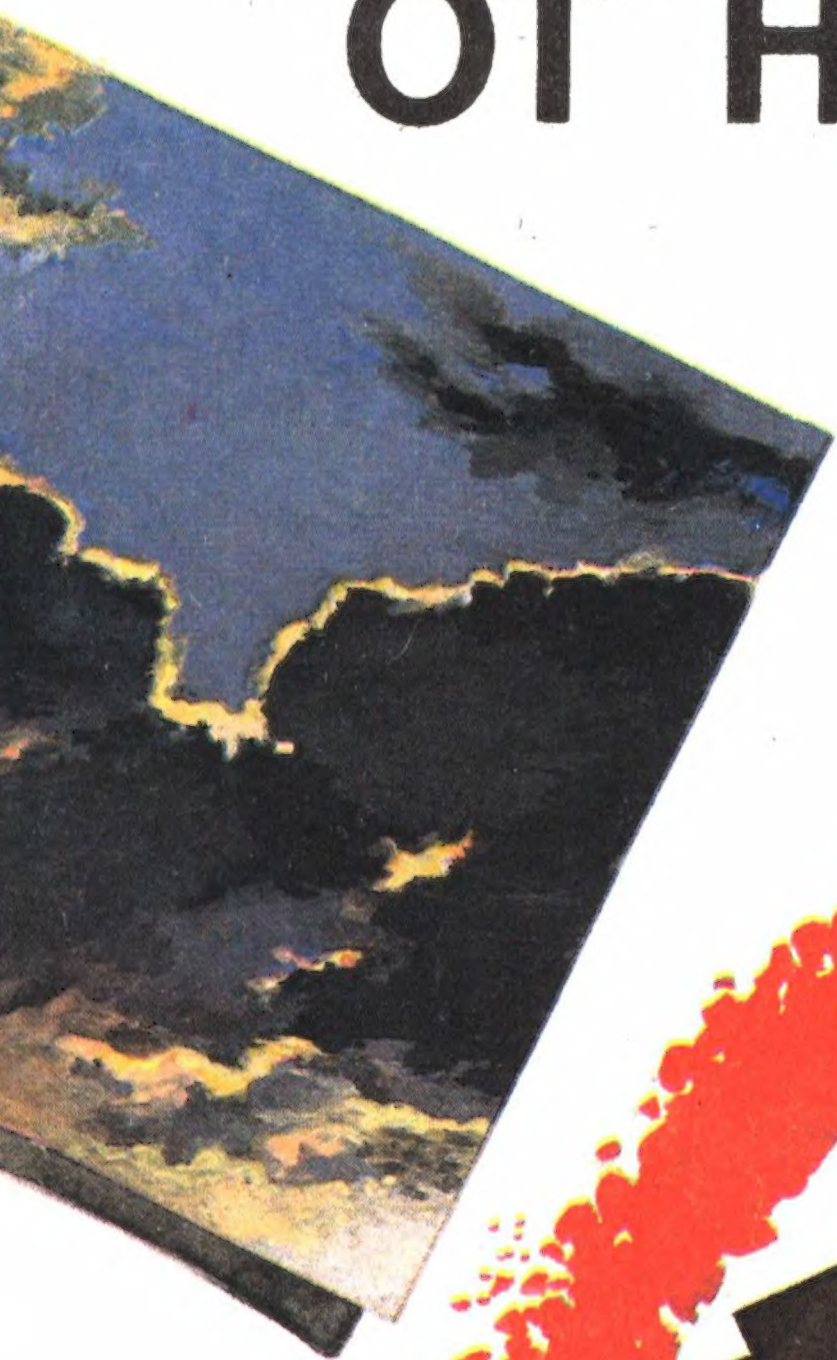
«Поцелуй».

«Знак».

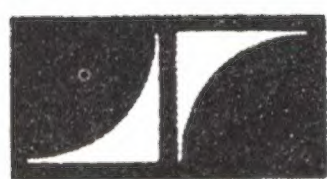


«Троица».

73
**МЫ ОГРАДИМ ВАС
ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.**



'МИР
КОММЕРЧЕСКОГО
РАСЧЕТА'



МИКОРА

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

109004 МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 5/9, ТЕЛ. 290-58-79, ФАКС (095)2782009.